ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ (СБОРНИК)

Федор Михайлович Достоевский
Записки из подполья (сборник)
Серия «Русская классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24398969
Достоевский, Федор Михайлович Записки из подполья : [сборник]: АСТ; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-078663-3

Аннотация

Произведения малой прозы великого Достоевского, очень разные по стилю и манере – забавные и трагические, сатирические и лиричные. «Записки из подполья» – одна из гениальнейших повестей Достоевского, в которой он вновь обращается к проблеме «маленького человека», раздавленного каменными громадами Петербурга, но изображает это уже не в лирической форме, а с беспощадной сатирой. Удивительный по глубине и психологизму рассказ «Кроткая» и печальный, пронзительный «Мальчик у Христа на елке». Остроумный, язвительный «Крокодил» и ироничный «Вечный муж». Достоевский не щадил современной ему действительности, – он выносил ей безжалостный приговор, используя для этого все многочисленные грани своего литературного таланта.

Содержание

Записки из подполья 8
I 8
I 8
II 12
III 16
IV 22
V 24
VI 27
VII 29
VIII 37
IX 44
X 49
XI 51
II 57
I 57
II 74
III 80
IV 92
V 106
VI 112
VII 127
VIII 136
IX 150

X 159
Рассказы 167
Петербургские сновидения в стихах и прозе 168
Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в пассаже 204
I 204
II 218
III 229
IV 245
Вечный муж 258
I 258
II 268
III 283
IV 296
V 306
VI 321
VII 330
VIII 344
IX 352
X 362
XI 372
XII 385
XIII 412
XIV 422
XV 433
XVI 445

XVII 456
Бобок. Записки одного лица 469
Два самоубийства 493
Кроткая 498
От автора 498
Глава первая 500
I 500
II 508
III 513
IV 517
V 521
VI 528
Глава вторая 532
I 532
II 539
III 546
IV 551
Мужик Марей 557
Мальчик у Христа на елке 565
I 565
II 567
Сон смешного человека 573
I 573
II 579
III 583
IV 590

V 595
Домовой 603
Столетняя 608

Федор Михайлович Достоевский
Записки из подполья (сборник)

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Записки из подполья

I
Подполье[1]

I

Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности; ну, хоть настолько, чтоб уважать медицину. (Я достаточно образован, чтоб не быть суеверным, но я суеверен.)

---

[1] И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это – один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке, озаглавленном «Подполье», это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие «записки» этого лица о некоторых событиях его жизни. *Федор Достоевский.*

Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот вы этого, наверно, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью; я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу «нагадить» тем, что у них не лечусь; я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе повредит и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит!

Я уже давно так живу – лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. (Плохая острота; но я ее не вычеркну. Я ее написал, думая, что выйдет очень остро; а теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, – нарочно не вычеркну!) Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, – я зубами на них скрежетал и чувствовал неутолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большею частию все был народ робкий; известно – просители. Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я, наконец, одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей зло-

сти? Да в том-то и состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь. Даже душой умилюсь, хоть уж наверно потом буду сам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай.

Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда; до конвульсий меня доводили и – надоели мне наконец, как надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощенья прошу?.. Я уверен, что вам это кажется… А впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется…

Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем,

ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, – существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет – это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока лет, – отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым и благоухающим старцам! Всему свету в глаза скажу! Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу! До восьмидесяти лет проживу!.. Постойте! дайте дух перевести…

Наверно, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу? Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется или как вам, может быть, кажется; впрочем, если вы, раздраженные всей этой болтовней (а я уже чувствую, что вы раздражены), вздумаете спросить меня: кто ж я таков именно? – то я вам отвечу: я один коллежский асессор. Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого), и когда прошлого года один из отдаленных моих род-

ственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя – деревенская баба, старая, злая от глупости, и от нее к тому же всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я все это знаю, лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга! Я потому не выеду… Эх! да ведь это совершенно все равно – выеду я иль не выеду.

А впрочем: о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?

Ответ: о себе.

Ну так и я буду говорить о себе.

II

Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать – это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного челове-

ческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные.) Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу все это из форсу, чтоб поострить насчет деятелей, да еще из форсу дурного тона гремлю саблей, как мой офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да еще ими форсить?

Впрочем, что ж я? – все это делают; болезнями-то и тщеславятся, а я, пожалуй, и больше всех. Не будем спорить; мое возражение нелепо. Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости «всего прекрасного и высокого», как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деянья, такие, которые… ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем

больше я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть. Как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча, так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил (а может, и в самом деле поверил), что это, пожалуй, и есть нормальное мое состояние. А сперва-то, вначале-то, сколько я муки вытерпел в этой борьбе! Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился (даже, может быть, и теперь стыжусь); до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренне, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость и, наконец, – в решительное, серьезное наслаждение! Да, в наслаждение, в наслаждение! Я стою на том. Я потому и заговорил, что мне все хочется наверно узнать: бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню: наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж сам чувствуешь, что до последней стены до-

шел; что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось еще время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то наверно сам бы не захотел переделываться; а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то, может быть, не во что. А главное и конец концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов, а следственно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания: прав, что подлец, как будто это подлецу утешение, коль он уже сам ощущает, что он действительно подлец. Но довольно… Эх, нагородил-то, а что объяснил?.. Чем объясняется тут наслаждение? Но я объяснюсь! Я-таки доведу до конца! я и перо затем в руки взял…

Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик, но, право, бывали со мною такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад. Говорю серьезно, наверно, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение, разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. А тут при пощечине-то – да тут так и придавит сознание о том, в какую мазь тебя растерли. Главное же, как ни раскидывай,

а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. (Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза.) Потому, наконец, виноват, что если б и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверно, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия: ни простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать; ни забыть, потому что хоть и законы природы, а все-таки обидно. Наконец, если б даже я захотел быть вовсе невеликодушным, а напротив, пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверно, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже и мог. Отчего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.

III

Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, – как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого

чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена – не отвод, как, например, для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое… Но об стене после.) Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать – природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в этом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека, усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а

следственно, и проч. И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь; его об этом никто не просит; а это важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l'homme de la nature et de la verite. Гадкое, низкое желаньице воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l'homme de la nature et de la verite, потому что l'homme de la nature et de la verite, по своей врожденной глупости, считает свое мщение просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит, наконец, до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастная мышь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презрения, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно

погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, навыдумает на себя небывальщины, под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На смертном одре опять-таки все припомнит, с накопившимися за все время процентами и… Но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний – и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Оно до того тонкое, до того иногда неподдающееся сознанью, что чуть-чуть ограниченные люди или даже просто люди с крепкими нервами не поймут в нем ни единой черты. «Может,

еще и те не поймут, – прибавите вы от себя, осклабляясь, – которые никогда не получали пощечин», – и таким образом вежливо намекнете мне, что я в мою жизнь, может быть, тоже испытал пощечину, а потому и говорю как знаток. Бьюсь об заклад, что вы это думаете. Но успокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно все равно, как бы вы об этом ни думали. Я, может быть, еще сам-то жалею, что в мою жизнь мало роздал пощечин. Но довольно, ни слова больше об этой чрезвычайно для вас интересной теме.

Продолжаю спокойно о людях с крепкими нервами, не понимающих известной утонченности наслаждений. Эти господа, при иных казусах, например, хотя и ревут, как быки, во все горло, хоть это, положим, и приносит им величайшую честь, но, как уже сказал я, перед невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность – значит каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что в сущности одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что в этом результате разрешатся под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни и предрассудки, так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два – математика. Попробуйте возразить.

«Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя: это два-

жды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы, или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена… и т. д. и т. д.». Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило.

Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примириться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, – неизвестно что и неизвестно кто, но, несмот-

ря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит!

IV

«Ха, ха, ха! да вы после этого и в зубной боли отыщете наслаждение!» – вскрикнете вы со смехом.

– А что ж? и в зубной боли есть наслаждение, – отвечу я. – У меня целый месяц болели зубы; я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслаждения, – он бы и стонать не стал. Это хороший пример, господа, и я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых, вся для нашего сознания унизительная бесцельность вашей боли; вся законность природы, на которую вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть; сознание, что вы, со всевозможными Вагенгеймами, вполне в рабстве у ваших зубов; что захочет кто-то, и перестанут болеть ваши зубы, а не захочет, так и еще три месяца проболят; и что, наконец, если вы все еще несогласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену, а более решительно ничего. Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-

то насмешек, неизвестно чьих, и начинается, наконец, наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия. Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, этак на второй или на третий день болезни, когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал, то есть не просто оттого, что зубы болят; не так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек «отрешившийся от почвы и народных начал», как теперь выражаются. Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так со злости, с ехидства балуется. Ну так вот в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострастие. «Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуйте же и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан[2]. Ну так пусть же! Я очень рад, что вы ме-

[2] Шенапан (*фр.* – chenapan) – негодяй.

ня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю…» Не понимаете и теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтоб понять все изгибы этого сладострастия! Вы смеетесь? Очень рад-с. Мои шутки, господа, конечно, дурного тона, неровны, сбивчивы, с самонедоверчивостью. Но ведь это оттого, что я сам себя не уважаю. Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?

V

Ну, разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? Я не от приторного какого-нибудь раскаянья так теперь говорю. Да и вообще терпеть я не мог говорить: «Простите, папаша, вперед не буду», – не потому, чтоб я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал, да еще как? Как нарочно и влопаюсь, бывало, в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гаже. При этом я опять-таки душою умилялся, раскаивался, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся. Сердце уж тут как-то гадило… Тут уж даже и законов природы нельзя было обвинить, хотя все-таки законы природы постоянно и более

всего всю жизнь меня обижали. Гадко это все вспоминать, да и тогда гадко было. Ведь через минуту какую-нибудь я уже с злобою соображаю, бывало, что все это ложь, ложь, отвратительная напускная ложь, то есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. А спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил? Ответ: затем, что скучно уж очень было сложа руки сидеть; вот и пускался на выверты. Право, так. Замечайте получше сами за собой, господа, тогда и поймете, что это так. Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить. Сколько раз мне случалось – ну, хоть, например, обижаться, так, не из-за чего, нарочно: и ведь сам знаешь, бывало, что не из-за чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец, право, и в самом деле обидишься. Меня както всю жизнь тянуло такие штуки выкидывать, так что уж я стал под конец и в себе не властен. Другой раз влюбиться насильно захотел, даже два раза. Страдал ведь, господа, уверяю вас. В глубине-то души не верится, что страдаешь, насмешка шевелится, а все-таки страдаю, да еще настоящим, заправским образом; ревную, из себя выхожу… И все от скуки, господа, все от скуки; инерция задавила. Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания – это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье. Я уж об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот как: они вслед-

ствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокоиваются; а ведь это главное. Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы. Что же, наконец, в результате? Да то же самое. Вспомните: давеча вот я говорил о мщении. (Вы, верно, не вникли.) Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно: справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы все пересилить, все мои сомнения и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины именно потому, что она не причина. Но что же делать, если у ме-

ня и злости нет (я давеча ведь с этого и начал). Злоба у меня опять-таки вследствие этих проклятых законов сознания, химическому разложению подвергается. Смотришь, – предмет улетучивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида становится не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной боли, в которой никто не виноват, а следовательно, остается опять-таки тот же самый выход – то есть стену побольнее прибить. Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя презирать начнешь за то, что самого себя зазнамо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция. О господа, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть, пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпанье из пустого в порожнее.

VI

О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть

лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лентяй; да ведь это преприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен, значит, есть что сказать обо мне. «Лентяй!» – да ведь это званье и назначенье, это карьера-с. Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба по праву и занимаюсь только тем, что беспрерывно себя уважаю. Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что с покойной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру: я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? мне это давно мерещилось. Это «прекрасное и высокое» сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда – о, тогда было бы иначе! Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, – а именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтоб сначала пролить в свой бокал слезу, а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое; в гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину Ге. Тотчас же пью за здоровье художника,

написавшего картину Ге, потому что люблю все прекрасное и высокое. Автор написал «*как кому угодно*»; тотчас же пью за здоровье «кого угодно», потому что люблю все «прекрасное и высокое». Уважения к себе за это потребую, преследовать буду того, кто не будет мне оказывать уважения. Живу спокойно, умираю торжественно, – да ведь это прелесть, целая прелесть! И такое себе отрастил бы я тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы сандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня: «Вот так плюс! вот так уж настоящее положительное!» А ведь как хотите, такие отзывы преприятно слышать в наш отрицательный век, господа.

VII

Но все это золотые мечты. О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что, если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать доб-

ро? О младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди *зазнамо*, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды… Выгода! что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая выгода *иной раз* не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды – это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так

далее и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занесть в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель… Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах: с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и – ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, – выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего… Предупрежду, что мой приятель – лицо со-

бирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, – одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.

– Ну, так все-таки выгоды же, – перебиваете вы меня. – Позвольте-с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушает и все системы, составленные любителями рода человеческого для счастья рода человеческого, постоянно разбивает. Одним словом, всему мешает. Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения человечеству настоящих, нормальных его интересов с тем, чтоб оно, необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным, – покамест, по моему мнению, одна логистика! Да-с, логистика! Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого по-

средством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же… ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следственно становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон, – и великий и теперешний. Вот вам Северная Америка – вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн… И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и… решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере от

цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже наверно хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? – сами решите. Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не *приучился* поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет *добровольно* ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет рознить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть

еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000 и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений.

Тогда-то – это всё вы говорите – настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностию, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда… Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп

феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и *положительно должно* (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они,

что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо – одного только *самостоятельного* хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает…

VIII

– Ха-ха-ха! да ведь хотенья-то в сущности, если хотите, и нет! – прерываете вы с хохотом. – Наука даже о сю пору до того успела разанатомировать человека, что уж и теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля есть не что иное, как…

– Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотенье ведь черт знает от чего зависит и что это, пожалуй, и слава Богу, да вспомнил про науку-то и… оселся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов, то есть от чего они зависят, по каким именно законам происходят, как именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то случае и проч. и проч., то есть настоящую математическую формулу, – так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть, да еще, пожалуй, и наверно перестанет. Ну что за охота хотеть по табличке? Мало того: тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того; потому, что же такое человек без

желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале? Как вы думаете? сосчитаем вероятности, – может это случиться или нет?

– Гм… – решаете вы, – наши хотенья большею частию бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим, по глупости нашей, легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Ну, а когда все это будет растолковано, расчислено на бумажке (что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает) – то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь если хотенье стакнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть собственно потому, что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, *хотеть* бессмыслицы и таким образом зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного… А так как все хотенья и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, то, стало быть, и, кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички, так что мы и действительно хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, когда-нибудь расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, так что же тогда во мне *свободного-то*

останется, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на тридцать лет рассчитать могу; одним словом, если и устроится это, так ведь нам уж нечего будет делать; все равно надо будет принять. Да и вообще мы должны, не уставая, повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах природа нас не спрашивается; что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем, и если мы действительно стремимся к табличке и к календарю, ну, и… ну хоть бы даже и к реторте, то что же делать, надо принять и реторту! не то она сама, без вас примется…

– Да-с, но вот тут-то для меня и запятая! Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался; тут сорок лет подполья! позвольте пофантазировать. Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать

(иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет. Я подозреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика. Совершенно согласен, действительно математика. Но повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб *иметь право* пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз, и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, – потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже; хотенье, конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно; это и полезно и даже иногда

похвально. Но хотенье очень часто и даже большею частию совершенно и упрямо разногласит с рассудком и … и … и знаете ли, что и это полезно и даже иногда очень похвально? Господа, положим, что человек не глуп. (Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умен?) Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен! Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека – это: существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все; это еще не главный недостаток его; главнейший недостаток его – это постоянное неблагонравие, постоянное, начиная от Всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческих. Неблагонравие, а следственно, и неблагоразумие; ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит! Недаром же г-н Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских, – уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: де-

рутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, – согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, – что благоразумно. На первом слове поперхнетесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно ведь являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее, так сказать, светить собой ближним, собственно для того, чтоб доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно и благоразумно. И что ж? Известно, многие из этих любителей, рано ли, поздно ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас спрошу: чего же можно ожидать от человека как от существа, одаренного такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, – так он вам и тут человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками

и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности; собственно чтоб настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, – выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, – так че-

ловек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что хотенье покамест еще черт знает от чего зависит…

Вы кричите мне (если только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто с меня воли не снимает; что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой.

– Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!

IX

Господа, я, конечно, шучу, и сам знаю, что неудачно шучу, но ведь и нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрыпя зубами шучу. Господа, меня мучат вопросы; разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, сообразно с требо-

ваниями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и *нужно* так переделывать? из чего вы заключаете, что хотенью человеческому так необходимо *надо* исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесет человеку выгоду? И, если уж все говорить, почему вы так *наверно* убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества? Ведь это покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечества. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен: человек есть животное, по преимуществу созидающее, присужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя *куда бы то ни было*. Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он *присужден* пробивать эту дорогу, да еще, пожалуй, потому, что как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти всегда идет *куда бы то ни было* и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтоб она только шла и чтоб благонравное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек

любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques[3], как то муравьям, баранам и проч. и проч. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое, – муравейник.

С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблаговидное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать – в самой жизни, а несобственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а на-

[3] Домашним животным (*фр.*).

чало смерти. По крайней мере человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, – ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получат, в кабачок пойдут, потом в часть попадут, – ну, вот и занятия на неделю. А человек куда пойдет? По крайней мере каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем, и это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически; во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но дважды два четыре – все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре – ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять премилая иногда вещица.

И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, – одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему ровно на-

столько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я… за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усомниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание – да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это – заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет. Хоть и ретроград-

но, а все же лучше, чем ничего.

X

Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить.

Вот видите ли: если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы – все равно. Да, – отвечаю я, – если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться.

Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого и что если уж жить, так уж жить в хоромах. Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А покамест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некото-

рых старинных, нерациональных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается. Не все ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться; я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу; все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует *действительно*. Я не приму за венец желаний моих – капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться; но в таком случае ведь и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье.

А покамест я еще живу и желаю, – да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу! Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих

пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами. Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю.

А, впрочем, знаете что: я убежден, что нашего брата подпольного нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит…

XI

Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть (хотя все-таки не перестану ему завидовать. Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее!). Там по крайней мере можно… Эх! да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!

Даже вот что тут было бы лучше: это – если б я верил сам

хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настрочил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник.

– Так для чего же писали все это? – говорите вы мне.

– А вот посадил бы я вас лет на сорок безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через сорок лет, в подполье, наведаться, до чего вы дошли? Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять?

– И это не стыдно, и это не унизительно! – может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами. – Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь! Вы говорите вздор и довольны им; вы говорите дерзости, а сами беспрерывно боитесь за них и просите извинения. Вы уверяете, что ничего не боитесь, и в то же время в нашем мнении заискиваете. Вы уверяете, что скрежещете зубами, и в то же время острите, чтоб нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши неостроумны, но вы, очевидно, очень довольны их литературным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок… Вы действительно хотите что-то сказать,

но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца – полного, правильного сознания не будет. И сколько в вас назойливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляетесь! Ложь, ложь и ложь!

Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я там сорок лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал, ведь только это и выдумывалось. Не мудрено, что наизусть заучилось и литературную форму приняло…

Но неужели, неужели вы и в самом деле до того легковерны, что воображаете, будто я это все напечатаю да еще вам дам читать? И вот еще для меня задача: для чего в самом деле называю я вас «господами», для чего обращаюсь к вам, как будто и вправду к читателям? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. По крайней мере я настолько твердости в себе не имею, да и нужным не считаю иметь. Но видите ли: мне в голову пришла одна фантазия, и я во что бы ни стало ее хочу осуществить. Вот в чем дело:

Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, ко-

торые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. То есть даже так: чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть. По крайней мере я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством. Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению. Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие. Но Гейне судил о человеке, исповедовавшемся перед публикой. Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это.

Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. Порядка и системы заводить не буду. Что припомнится, то и запишу.

Ну, вот, например: могли бы придраться к слову и спросить меня: если вы действительно не рассчитываете на читателей, то для чего же вы теперь делаете с самим собой да еще на бумаге такие уговоры, то есть что порядка и системы заводить не будете, что запишете то, что припомнится, и т. д. и т. д.? К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь?

– А вот поди же, – отвечаю я.

Тут, впрочем, целая психология. Может быть, и то, что я просто трус. А может быть, и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтоб вести себя приличнее, в то время когда буду записывать. Причин может быть тысяча.

Но вот что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так мысленно все припомнить, не переводя на бумагу?

Так-с; но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть что-то внушающее, суда больше над собой будет, слогу прибавится. Кроме того: может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давнишнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни; но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Отчего ж не испробовать?

Наконец: мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. За-

писыванье же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс по крайней мере.

Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега.

II
По поводу мокрого снега

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты проклята, ломая руки,
Тебя опутавший порок;
Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,
И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена…
И т. д., и т. д., и т. д.

Из поэзии Н.А. Некрасова.

I

В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и все более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого, и я очень

хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но – все казалось мне и это – будто бы смотрели на меня с каким-то омерзением. Мне приходило в голову: отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением? У одного из наших канцелярских было отвратительное и прерябое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого вицмундир был до того заношенный, что близ него уже дурно пахло. А между тем ни один из этих господ не конфузился, – ни по поводу платья, ни по поводу лица, ни как-нибудь там нравственно. Ни тот, ни другой не воображали, что смотрят на них с омерзением; да если б и воображали, так им было бы все равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам вследствие неограниченного моего тщеславия, а стало быть, и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, а оттого, мысленно, и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, и потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородства. «Пусть уж будет и не красивое лицо, – думал я, – но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, главное *чрезвычайно* умное». Но я наверно и

страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но, что всего ужаснее, я находил его положительно глупым. А я бы вполне помирился на уме. Даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение, с тем только, чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным.

Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел, с первого до последнего, и всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось: то презираю, то ставлю выше себя.

Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но, презирая ли, ставя ли выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза. Я даже опыты делал: стерплю ли я взгляд вот хоть такого-то на себе, и всегда опускал я первый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся я быть смешным и потому рабски обожал рутину во всем, что касалось наружного; с любовию вдавался в общую колею и всей душою пугался в себе всякой эксцентричности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы и один на другого похожи, как бараны в стаде. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб; именно потому и казалось, что я был

развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле: я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это – нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не по настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если и случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается: все равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки, но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают.

Мучило меня тогда еще одно обстоятельство: именно то, что на меня никто не похож и я ни на кого не похож. «Я-то один, а они-то *все*», – думал я и – задумывался.

Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка.

Случались и противоположности. Ведь уж как иногда гадко становилось ходить в канцелярию: доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Но вдруг ни с того ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия (у меня все было полосами), и вот я же сам смеюсь над моею нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в *романтизме* упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись

по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, а была она напускная, из книжек? Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать… Но здесь позвольте мне сделать одно отступление.

У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, – они всё те же, даже для приличия не изменятся и всё будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это всё наши «положительные» тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами и сдуру приняв их за наш идеал, навыдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. (Уж позвольте мне употреблять это слово: «романтик» – словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое.) Свойства

нашего романтика – это все понимать, *все видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы*; ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать; все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично;

постоянно не терять из виду полезную, практическую цель (какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки) – усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков и в то же время «и прекрасное и высокое» по гроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже кстати вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же «прекрасного и высокого». Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том… даже по опыту. Разумеется, все это, если романтик умен. То есть что ж это я! романтик и всегда умен, я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счет и единственно потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались и, чтоб удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу, поселялись там где-нибудь, больше в Веймаре или в Шварцвальде. Я, например, искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, – заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорей сойдет с ума (что, впрочем, очень редко бывает), а плеваться не ста-

нет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и в толчки его никогда не выгонят, а разве свезут в сумасшедший дом в виде «испанского короля», да и то если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Неисчетное же число романтиков – значительные чины впоследствии происходят. Многосторонность необыкновенная! И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям! Я и тогда был этим утешен, да и теперь тех же мыслей. Оттого-то у нас так и много «широких натур», которые даже при самом последнем паденьи никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово «шельмы» я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают.

Многосторонность поистине изумительная, и бог знает во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах и что сулит нам в нашем дальнейшем? А недурен матерьял-с! Не из патриотизма какого-нибудь, смешного или

квасного, я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь. А кто знает, может быть, и обратно, то есть уверены, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и за особенное удовольствие. А отступление мое мне простите.

С товарищами моими я, разумеется, дружества не выдерживал и очень скоро расплевывался и вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один только раз и случилось. Вообще же я всегда был один.

Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня в возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, – волновало, услаждало и мучило. Но по временам наскучало ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий – не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней, болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения, идти было некуда, – то есть не было ничего, что бы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня. Накипала, сверх того, тоска; являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас столько наговорил… А впрочем, нет! соврал! Я именно себя

оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать. Слово дал.

Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам.

Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у биллиарда и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало; но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал, и до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в биллиардную: «Авось, дескать, и я подерусь, и меня тоже из окна спустят».

Я не был пьян, но что прикажете делать, – до такой ведь истерики может тоска заесть! Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел не подравшись.

Осадил меня там с первого же шагу один офицер.

Я стоял у биллиарда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти; он взял меня за плечи и молча, – не предуведомив и не объяснившись, – переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил.

Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, *литературную*! Со мной поступили, как с мухой. Был этот офицер вершков десяти росту; я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках: стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел… озлобленно стушеваться.

Вышел я из трактира смущенный и взволнованный, прямо домой, а на другой день продолжал мой развратик еще робче, забитее и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах, – а все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицера от трусости: я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле, но – подождите смеяться, на это есть объяснение; у меня на все есть объяснение, будьте уверены.

О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль! Но нет, это был именно из тех господ (увы! давно исчезнувших), которые предпочитали действовать киями или, как поручик Пирогов у Гоголя, – по начальству. На дуэль же не выходили, а с нашим братом, с штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличною, – да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков росту.

Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что

меня больно прибьют и в окно спустят; физической храбрости, право, хватило бы; но нравственной храбрости недостало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала маркера, до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивавшегося, с воротником из сала, – не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d'honneur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о «пункте чести» не упоминается. Я вполне был уверен (чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм!), «что все они просто лопнут со смеха, а офицер не просто, то есть не безобидно, прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг биллиарда, и потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет; заключаю по некоторым признакам. Но я-то, я, – смотрел на него со злобою и ненавистью, и так продолжалось… несколько лет-с! Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я, потихоньку, начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к

нему, и вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с кем-нибудь и т. д. – одним словом, все, что можно узнать от дворника. Раз поутру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в абличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обличил, даже поклеветал; фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в «Отечественные записки». Но тогда еще не было абличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец, я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться; в случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал «прекрасное и высокое», то непременно бы прибежал ко мне, чтоб броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это было хорошо! Мы бы так зажили! так зажили! Он бы защищал меня своей сановитостью; я бы облагораживал его своей развитостью, ну и… идеями, и много кой-чего бы могло быть! Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава Богу (до сих пор

благодарю Всевышнего со слезами), я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если б я послал. И вдруг… и вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом! Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи; но того-то мне, верно, и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням; я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере[4] моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука-мученская, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха, – всех умнее, всех развитее, всех благороднее, – это уж само собою, – но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку, для чего я ходил на Невский – не знаю? но меня просто *тянуло* туда при каждой возможности.

Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же исто-

[4] Мизер (*фр.* – misère) – нищета, убожество.

рии с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть: на Невском-то я его и встречал наиболее, там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особами сановитыми и тоже вилял, как вьюн, между ними, но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил; шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался моей злобой, на него глядя, и… озлобленно перед ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. «Отчего ты непременно первый сворачиваешь? – приставал я сам к себе, в бешеной истерике, проснувшись иногда часу в третьем ночи. – Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано? Ну пусть будет поровну, как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются: он уступит половину и ты половину, вы и пройдете, взаимно уважая друг друга». Но так не было, и все-таки сворачивал я, а он даже и не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. «А что, – вздумал я, – что, если встретиться с ним, и… не посторониться? Нарочно не посторониться, хоть бы даже пришлось толкнуть его: а, каково это будет?» Дерзкая мысль эта мало-помалу до того овладела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно, ужасно и нарочно чаще ходил на Невский, чтоб еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать.

Я был в восторге. Все более и более мне казалось это намерение и вероятным и возможным. «Разумеется, не совсем толкнуть, – думал я, уже заранее добрея от радости, – а так, просто не посторониться, состукнуться с ним, не так, чтобы очень больно, а так, плечо о плечо, ровно на столько, сколько определено приличием; так что на сколько он меня стукнет, на столько и я его стукну». Я решился, наконец, совершенно. Но приготовления взяли очень много времени. Первое то, что во время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. «На всякий случай, если, например, завяжется публичная история (а публика-то тут суперфлю[5]: графиня ходит, князь Д. ходит, вся литература ходит), нужно быть хорошо одетым; это внушает и прямо поставит нас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества». С этою целью я выпросил вперед жалованья и купил черные перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее и бонтоннее[6], чем лимонные, на которые я посягал сначала. «Цвет слишком резкий, слишком как будто хочет выставиться человек», и я не взял лимонных. Хорошую рубашку, с белыми костяными запонками, я уж давно приготовил; но задержала очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была недурна, грела; но она была на вате, а воротник был енотовый, что составляло уже верх лакейства. Надо было переме-

[5] Суперфлю – (*фр.* – superflu) – здесь: изысканная.

[6] Бонтоннее – (от *фр.* – bon ton) – более хорошего тона.

нить воротник во что бы ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по Гостиному двору, и, после нескольких попыток, нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала, с обновки, смотрят даже и очень прилично, а ведь мне только для одного разу и надо было. Спросил я цену: все-таки было дорого. По основательном рассуждении я решился продать мой енотовый воротник. Недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился выпросить взаймы у Антона Антоныча Сеточкина, моего столоначальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег, но которому я был когда-то, при вступлении в должность, особенно рекомендован определившим меня на службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоныча мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже две-три ночи не спал, да и вообще я тогда мало спал, был в лихорадке; сердце у меня как-то смутно замирало или вдруг начинало прыгать, прыгать, прыгать!.. Антон Антонович сначала удивился, потом поморщился, потом рассудил и всё-таки дал взаймы, взяв с меня расписку на право получения данных заимообразно денег через две недели из жалованья. Таким образом, все было, наконец, готово; красивый бобрик воцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого разу, зря; надо было это

дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться: не состукиваемся никак – да и только! Уж я ль не приготовлялся, я ль не намеревался, – кажется, вот-вот сейчас состукнемся, смотрю – и опять я уступил дорогу, а он и прошел, не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, чтоб Бог вселил в меня решимость. Один раз я было и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение, на двухвершковом каком-нибудь расстоянии, не хватило духу. Он преспокойно прошел по мне, и я, как мячик, отлетел в сторону. В эту ночь я был опять болен в лихорадке и бредил. И вдруг все закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и все оставить втуне и с этою целью в последний раз вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, – как это я оставлю всё это втуне? Вдруг, в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился, зажмурил глаза и – мы плотно стукнулись плечо о плечо! Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге! Он даже и не оглянулся и сделал вид, что не заметил; но он только вид сделал, я уверен в этом. Я до сих пор в этом уверен! Разумеется, мне досталось больше; он был сильнее, но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге. Воротился я домой совершенно отмщенный за все. Я

был в восторге. Я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, что произошло со мной через три дня; если читали мою первую главу, «Подполье», то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели; лет уже четырнадцать я его теперь не видал. Что-то он теперь, мой голубчик? Кого давит?

II

Но кончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние, я его гнал: слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однакоже, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал, то есть не то что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, все примирявший, это – спасаться во «все прекрасное и высокое», конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол, и уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который, в смятении куриного сердца, пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем. Моего десятивершкового поручика я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были мои мечты и как мог я ими довольствоваться – об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после раз-

вратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу. Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной, и, главное, *совсем готовой* (какой именно – я никогда не знал, но, главное – совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог и вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь, средины не было. Это-то меня и сгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь: обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться, следственно можно грязниться. Замечательно, что эти приливы «всего прекрасного и высокого» приходили ко мне и во время развратика, и именно тогда, когда я уже на самом дне находился, приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли, однакож, развратика своим появлением; напротив, как будто подживляли его контрастом и приходили ровно на столько, сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страдания,

из мучительного внутреннего анализа, и все эти мученья и мученьица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику, – одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный, писарский развратишко и вынести на себе всю эту грязь! Что ж бы могло тогда в ней прельстить меня и выманить ночью на улицу? Нет-с, у меня была благородная лазейка на все…

Но сколько любви, Господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих «спасеньях во все прекрасное и высокое»: хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать: излишняя б уж это роскошь была. Все, впрочем, преблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тот час же жертвую их на род человеческий и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не

просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много «прекрасного и высокого», чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня (иначе что же бы они были за болваны), а я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем. Затем играется марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию; затем бал для всей Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо, так как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в Рим; затем сцена в кустах и т. д. и т. д. – будто не знаете? Вы скажете, что пошло и подло выводить все это теперь на рынок, после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего же подло-с? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что все это было глупее хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же поверьте, что у меня кой-что было вовсе недурно составлено… Не все же происходило на озере Комо. А, впрочем, вы правы; действительно и пошло и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь: все будет одно другого подлее…

Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь, и я даже сам удивляюсь теперь

этому обстоятельству. Но и к нему я ходил разве только тогда, когда уж наступала такая полоса, а мечты мои доходили до такого счастия, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством; а для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего. К Антону Антонычу надо было, впрочем, являться по вторникам (его день), следственно и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоныч у Пяти углов, в четвертом этаже и в четырех комнатках, низеньких и мал мала меньше, имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него две дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам – одной было тринадцать, а другой четырнадцать лет, обе были курносенькие, и я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в кабинете, на кожаном диване, перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей, и все тех же самых, я никогда там не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жалованье, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравиться и проч. и проч. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать, сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть, надо мной носился паралич; но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на

некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством.

Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый, Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтоб не быть вместе с ними и разом отрезать со всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы! Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставались два-три человека, с которыми я еще кланялся встречаясь. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался, был ровен и тих, но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты, но недолго продолжались и както вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями и, кажется, все боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему, не уверенный в том наверно.

Вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества и зная, что в четверг у Антона Антоныча дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Подымаясь к нему в четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мною и что напрасно я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что

подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в двусмысленное положение, то я и вошел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова.

III

Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, повидимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не видался с ними уж годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уж очень опустился, ходил в дурном платье и проч. – что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Все это меня озадачило; я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали.

Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обеде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща, отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицером. Мосье Зверков был все время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть

с высших классов. В низших классах он был только хорошенький, резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо и чем дальше, тем хуже; однакож вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство, двести душ, а так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени, но, однакож, добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. Притом же как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, несомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык; я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо (на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое *умное*) и развязно-офицерские приемы сороковых годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами (он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эполет, и ждал их с нетерпением) и о том, как он

поминутно будет выходить на дуэли. Помню, как я, всегда молчаливый, вдруг сцепился с Зверковым, когда он, толкуя раз в свободное время с товарищами о будущей клубничке и разыгравшись, наконец, как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это – droit de seigneur[7], а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальям, вдвое наложит оброку. Наши хамы аплодировали, я же сцепился и вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявке так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, но был весел и дерзок, а потому отсмеялся, и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел: смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы, а как-то так, шутя, мимоходом, смеясь. Я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг; я не очень противился, потому что мне это польстило; но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно-поручичьих успехах, о том, как он *кутит*. Потом пошли другие слухи, – о том, как он *успевает* по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь с такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опу-

[7] Право первой ночи (*фр.*).

стился, хотя был попрежнему довольно красив и ловок; както отек, стал жиреть; видно было, что к тридцати годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то уезжавшему, наконец, Зверкову, и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все три года водились с ним, хотя сами, внутренно, не считали себя с ним на равной ноге, я уверен в этом.

Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин, из русских немцев, – маленький ростом, с обезьяньим лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще с низших классов, – подлый, дерзкий, фанфаронишка и игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодною физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственником, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что; обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно.

– Что ж, коль по семи рублей, – заговорил Трудолюбов, – нас трое, двадцать один *рупь*, – можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит.

– Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, – решил Симонов.

– Неужели ж вы думаете, – заносчиво и с пылкостию ввязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала барина, – неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато от себя *полдюжины* выставит.

– Ну, куда нам четверым полдюжины, – заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину.

– Так, трое, с Зверковым четверо, двадцать один рубль в Hôtel de Paris завтра в пять часов, – окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем.

– Как же двадцать один? – сказал я в некотором волнении, даже, повидимому, обидевшись, – если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей.

Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением.

– Разве вы тоже хотите? – с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть.

Меня взбесило, что он знает меня наизусть.

– Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли, – заклокотал было я опять.

– А где вас было искать? – грубо ввязался Ферфичкин.

– Вы всегда были не в ладах с Зверковым, – прибавил Трудолюбов нахмурившись. Но я уж ухватился и не выпускал.

– Мне кажется, об этом никто не вправе судить, – возразил я с дрожью в голосе, точно и бог знает что случилось. – Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах.

– Ну, кто вас поймет… возвышенности-то эти… – усмехнулся Трудолюбов.

– Вас запишут, – решил, обращаясь ко мне, Симонов, – завтра в пять часов, в Hôtel de Paris; не ошибитесь.

– Деньги-то! – начал было Ферфичкин вполголоса, кивая на меня Симонову, но осекся, потому что даже Симонов сконфузился.

– Довольно, – сказал Трудолюбов, вставая. – Если ему так уж очень захотелось, пусть придет.

– Да ведь у нас кружок свой, приятельский, – злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. – Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим…

Они ушли; Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился, Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал.

– Гм… да… так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтоб верно знать, – пробормотал он сконфузившись.

Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда.

– Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда… и мне очень досадно, что я забыл…

– Хорошо, хорошо, все равно. Расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только, чтоб знать… Вы, пожалуйста…

Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильнее топать.

– Я вас не задерживаю ли? – спросил я после двухминутного молчанья.

– О нет! – встрепенулся он вдруг, – то есть, по правде, – да. Видите ли, мне еще бы надо зайти… Тут недалеко… – прибавил он каким-то извиняющимся голосом и отчасти стыдясь.

– Ах, боже мой! Что же вы не ска-же-те! – вскрикнул я, схватив фуражку, с удивительно, впрочем, развязным видом, бог знает откуда налетевшим.

– Это ведь недалеко… Тут два шага… – повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел. – Так завтра в пять часов ровно! – крикнул он мне на лестницу: очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве.

– Ведь дернуло же, дернуло же выскочить! – скрежетал я зубами, шагая по улице, – и этакому подлецу, поросенку, Зверкову! Разумеется, не надо ехать; разумеется, наплевать: что я, связан, что ли? Завтра же уведомлю Симонова по городской почте…

Но потому-то я и бесился, что наверно знал, что поеду; что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду.

И даже препятствие положительное было не ехать: денег не было. Всего-навсего лежало у меня девять рублей. Но из них семь надо было отдать завтра же месячного жалованья Аполлону, моему слуге, который жил у меня за семь рублей на своих харчах.

Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой каналье, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю.

Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду.

В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Не мудрено: весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия, – сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить; я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмущала. Они цинически

смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой; а между тем какие глупые у них самих были лица! В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Чрез несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Не оскорбленное тщеславие подбивало меня к тому, и, ради бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями: «что я только мечтал, а они уж и тогда действительную жизнь понимали». Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и, клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности; разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата; но

непривлекательна была в них даже и свежесть и проявлялась в каком-то ёрничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения. Но я уже не желал их любви; напротив, я постоянно жаждал их унижения. Чтоб избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которых они не могли читать, и понимал такие вещи (не входившие в состав нашего специального курса), о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал: с летами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал было начать сближаться с иными; но всегда это сближение выходило неестественно и так само собой и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, – точно он

и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, к которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его посыпать… И черт знает, зачем после того я потащился к этому Симонову!..

Утром я рано схватился с постели, вскочил с волнением, точно все это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки, что ли, но мне всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы мельчайшем событии, все казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни. Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой двумя часами раньше, чтоб приготовиться. Главное, думал я, надо приехать не первым, а то подумают, что я уж очень обрадовался. Но таких главных вещей были тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги; Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это не порядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтоб он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что все старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Вицмундир,

пожалуй, был исправен, но не в вицмундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня девять десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. «Но теперь не до думанья; теперь наступает действительность», – думал я и падал духом. Знал я тоже отлично, тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю; но что же было делать: совладать я с собой уж не мог, и меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот «подлец» Зверков; с каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудолюбов; как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтоб подслужиться Зверкову; как отлично поймет про себя все это Симонов и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия, и, главное, – как все это будет мизерно, не *литературно*, обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать. Но это-то уж было больше всего невозможно: уж когда меня начинало тянуть, так уж я так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом: «А что, струсил, струсил *действительности*, струсил!» Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой «шушере», что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того: в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя – ну хоть «за воз-

вышенность мыслей и несомненное остроумие». Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на *ты*, но что всего было злее и обиднее для меня, это, что я тогда же знал, знал вполне и наверно, что ничего мне этого в сущности не надо, что в сущности я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать и что за весь-то результат, если б только я и достиг его, я сам, первый, гроша бы не дал. О, как я молил Бога, чтоб уж прошел поскорее этот день! В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега…

Наконец, на моих дрянных стенных часишках прошипело пять. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, – который еще с утра все ждал от меня выдачи жалованья, но по гордости своей не хотел заговорить первый, – скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к Hôtel de Paris.

IV

Я еще накануне знал, что приеду первый. Но уж дело было не в первенстве.

Их не только никого не было, но я даже едва отыскал нашу комнату. На столе было еще не совсем накрыто. Что же

это значило? После многих расспросов я добился, наконец, от слуг, что обед заказан к шести часам, а не к пяти. Это подтвердили и в буфете. Даже стыдно стало расспрашивать. Было еще только двадцать пять минут шестого. Если они переменили час, то во всяком случае должны же были известить; на то городская почта, а не подвергать меня «позору» и перед собой и… и хоть перед слугами. Я сел; слуга стал накрывать; при нем стало как-то еще обиднее. К шести часам, кроме горевших ламп, в комнату внесены были свечи. Слуга не подумал, однакож, внести их тотчас же, как я приехал. В соседней комнате обедали, на разных столах, два каких-то мрачных посетителя, сердитые с виду и молчавшие. В одной из дальних комнат было очень шумно; даже кричали; слышен был хохот целой ватаги людей; слышались какие-то скверные французские взвизги: обед был с дамами. Одним словом, было очень тошно. Редко я проводил более скверную минуту, так что, когда они, ровно в шесть часов, явились все разом, я, на первый миг, обрадовался им как каким-то освободителям и чуть не забыл, что обязан смотреть обиженным.

Зверков вошел впереди всех, видимо предводительствуя. И он и все они смеялись; но, увидя меня, Зверков приосанился, подошел неторопливо, несколько перегибаясь в талье, точно кокетничая, и подал мне руку, ласково, но не очень, с какой-то осторожной, чуть не генеральской вежливостию, точно, подавая руку, оберегал себя от чего-то. Я воображал,

напротив, что он, тотчас же как войдет, захохочет своим прежним хохотом, тоненьким и со взвизгами, и с первых же слов пойдут плоские его шутки и остроты. К ним-то я и готовился еще с вечера, но никак уж не ожидал я такого свысока, такой превосходительной ласки. Стало быть, он уж вполне считал себя теперь неизмеримо выше меня во всех отношениях? Если б он только обидеть меня хотел этим генеральством, то ничего еще, думал я; я бы как-нибудь там отплевался. Но что если и в самом деле, без всякого желанья обидеть, в его баранью башку серьезно заползла идейка, что он неизмеримо выше меня и может на меня смотреть не иначе, как только с покровительством? От одного этого предположения я уже стал задыхаться.

– Я с удивлением узнал о вашем желании участвовать с нами, – начал он, сюсюкивая и пришепетывая, и растягивая слова, чего прежде с ним не бывало. – Мы с вами как-то всё не встречались. Вы нас дичитесь. Напрасно. Мы не так страшны, как вам кажется. Ну-с во всяком случае рад возоб-но-вить…

И он небрежно повернулся положить на окно шляпу.

– Давно ждете? – спросил Трудолюбов.

– Я приехал ровно в пять часов, как мне вчера назначили, – отвечал я громко и с раздражением, обещавшим близкий взрыв.

– Разве ты не дал ему знать, что переменили часы? – оборотился Трудолюбов к Симонову.

– Не дал. Забыл, – отвечал тот, но без всякого раскаяния и, даже не извинившись передо мной, пошел распоряжаться закуской.

– Так вы здесь уж час, ах, бедный! – вскрикнул насмешливо Зверков, потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. За ним, подленьким, звонким, как у собачонки, голоском закатился подлец Ферфичкин. Очень уж и ему показалось смешно и конфузно мое положение.

– Это вовсе не смешно! – закричал я Ферфичкину, раздражаясь все более и более, – виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. Это-это-это… просто нелепо.

– Не только нелепо, а и еще что-нибудь, – проворчал Трудолюбов, наивно за меня заступаясь. – Вы уж слишком мягки. Просто невежливость. Конечно, не умышленная. И как это Симонов… гм!

– Если б со мной этак сыграли, – заметил Ферфичкин, – я бы…

– Да вы бы велели себе что-нибудь подать, – перебил Зверков, – или просто спросили бы обедать не дожидаясь.

– Согласитесь, что я бы мог это сделать без всякого позволения, – отрезал я. – Если я ждал, то…

– Садимся, господа, – закричал вошедший Симонов, – все готово; за шампанское отвечаю, отлично заморожено… Ведь я вашей квартиры не знал, где ж вас отыскивать? – оборотился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня.

Очевидно, он имел что-то против. Знать, после вчерашнего надумался.

Все сели; сел и я. Стол был круглый. По левую руку от меня пришелся Трудолюбов, по правую Симонов. Зверков сел напротив; Ферфичкин подле него, между ним и Трудолюбовым.

– Ска-а-ажите, вы… в департаменте? – продолжал заниматься мною Зверков. Видя, что я сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. «Что ж он, хочет, что ли, чтоб я в него бутылкой пустил», – подумал я в бешенстве. Раздражался я, с непривычки, както неестественно скоро.

– В …й канцелярии, – ответил я отрывисто, глядя в тарелку.

– И… ввам ввыгодно? Ска-ажите, что вас паанудило оставить прежнюю службу?

– То и па-а-анудило, что захотелось оставить прежнюю службу, – протянул я втрое больше, уже почти не владея собою. Ферфичкин фыркнул. Симонов иронически посмотрел на меня; Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством.

Зверкова покоробило, но он не хотел заметить.

– Ну-у-у, а как ваше содержание?

– Какое это содержание?

– То есть ж-жалованье?

– Да что вы меня экзаменуете!

Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалованья. Я ужасно краснел.

– Небогато, – важно заметил Зверков.

– Да-с, нельзя в кафе-ресторанах обедать! – нагло прибавил Ферфичкин.

– По-моему, так даже просто бедно, – серьезно заметил Трудолюбов.

– И как вы похудели, как переменились… с тех пор… – прибавил Зверков, уже не без яду, с каким-то нахальным сожалением, рассматривая меня и мой костюм.

– Да полно конфузить-то, – хихикая, вскрикнул Ферфичкин.

– Милостивый государь, знайте, что я не конфужусь, – прорвался я, наконец, – слышите-с! Я обедаю здесь, «в кафе-ресторане», на свои деньги, на свои, а не на чужие, заметьте это, monsieur Ферфичкин.

– Ка-ак! кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто… – вцепился Ферфичкин, покраснев, как рак, и с остервенением смотря мне в глаза.

– Та-ак, – отвечал я, чувствуя, что далеко зашел, – и полагаю, что лучше бы нам заняться разговором поумней.

– Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать?

– Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее.

– Да вы это что, сударь вы мой, раскудахтались – а? вы не с ума ли уж спятили, в вашем департаменте?

– Довольно, господа, довольно! – закричал всевластно

Зверков.

– Как это глупо! – проворчал Симонов.

– Действительно глупо, мы собрались в дружеской компании, чтоб проводить в вояж доброго приятеля, а вы считаетесь, – заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне одному. – Вы к нам сами вчера напросились, не расстраивайте же общей гармонии…

– Довольно, довольно, – кричал Зверков. – Перестаньте, господа, это нейдет. А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился…

И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. О женитьбе, впрочем, не было ни слова, но в рассказе все мелькали генералы, полковники и даже камер-юнкеры, а Зверков между ними чуть не в главе. Начался одобрительный смех; Ферфичкин даже взвизгивал.

Все меня бросили, и я сидел раздавленный и уничтоженный.

«Господи, мое ли это общество! – думал я. – И каким дураком я выставил себя сам перед ними! Я, однакож, много позволил Ферфичкину. Думают балбесы, что честь мне сделали, дав место за своим столом, тогда как не понимают, что это я, я им делаю честь, а не мне они! «Похудел! Костюм!» О проклятые панталоны! Зверков еще давеча заметил желтое пятно на коленке… Да чего тут! Сейчас же, сию минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова… Из презренья! А завтра хоть на дуэль. Подлецы. Ведь

не семи же рублей мне жалеть. Пожалуй, подумают… Черт возьми! Не жаль мне семи рублей! Сию минуту ухожу!..»

Разумеется, я остался.

Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем росла и досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом и потом уж уйти. Улучить минуту и показать себя: пусть же скажут: хоть и смешон, да умен… и… и… одним словом, черт с ними!

Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами. Но они точно уж меня позабыли совсем. У *них* было шумно, крикливо, весело. Говорил все Зверков. Я начал прислушиваться. Зверков рассказывал о какой-то пышной даме, которую он довел-таки, наконец, до признанья (разумеется, лгал, как лошадь) и что в этом деле особенно помогал ему его интимный друг, какой-то князек, гусар Коля, у которого три тысячи душ.

– А между тем этого Коли, у которого три тысячи душ, здесь нет как нет проводить-то вас, – ввязался я вдруг в разговор. На минуту все замолчали.

– Вы уж о сю пору пьяны, – согласился, наконец, заметить меня Трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону. Зверков молча рассматривал меня, как букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорей начал разливать шампанское.

Трудолюбов поднял бокал, за ним все, кроме меня.

– Твое здоровье и счастливого пути! – крикнул он Зверкову; – за старые годы, господа, за наше будущее, ура!

Все выпили и полезли целоваться с Зверковым. Я не трогался; полный бокал стоял передо мной непочатый.

– А вы разве не станете пить? – заревел потерявший терпение Трудолюбов, грозно обращаясь ко мне.

– Я хочу сказать спич с своей стороны, особо… и тогда выпью, господин Трудолюбов.

– Противная злючка! – проворчал Симонов.

Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, готовясь к чему-то необыкновенному и сам еще не зная, что именно я скажу.

– Silence![8] – крикнул Ферфичкин. – То-то ума-то будет! – Зверков ждал очень серьезно, понимая, в чем дело.

– Господин поручик Зверков, – начал я, – знайте, что я ненавижу фразу, фразеров и тальи с перехватами… Это первый пункт, а за сим последует второй.

Все сильно пошевелились.

– Второй пункт: ненавижу клубничку и клубничников. И особенно клубничников!

– Третий пункт: люблю правду, искренность и честность, – продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж леденеть от ужаса, не понимая, как это я так говорю… – Я люблю мысль, мсье Зверков; я люблю настоящее товарищество, на равной ноге, а не… гм… Я люблю… А впрочем, отчего ж? И я выпью за ваше здоровье, мсье Зверков. Прельщайте черкешенок, стреляйте врагов отече-

[8] Тише! (*фр.*)

ства и… и… За ваше здоровье, мсье Зверков!

Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал:

– Очень вам благодарен.

Он был ужасно обижен и даже побледнел.

– Черт возьми, – заревел Трудолюбов, ударив по столу кулаком.

– Нет-с, за это по роже бьют! – взвизгнул Ферфичкин.

– Выгнать его надо! – проворчал Симонов.

– Ни слова, господа, ни жеста! – торжественно крикнул Зверков, останавливая общее негодованье. – Благодарю вас всех, но я сам сумею доказать ему, насколько ценю его слова.

– Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворенье за ваши сейчашние слова! – громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину.

– То есть дуэль-с? Извольте, – отвечал тот, но, верно, я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и Ферфичкин, так и легли со смеху.

– Да, конечно, бросить его! Ведь совсем уж пьян! – с омерзением проговорил Трудолюбов.

– Никогда не прощу себе, что его записал! – проворчал опять Симонов.

«Вот теперь бы и пустить бутылкой во всех», – подумал я, взял бутылку и… налил себе полный стакан.

«…Нет, лучше досижу до конца! – продолжал я думать, – вы были бы рады, господа, чтоб я ушел. Ни за что. Нарочно буду сидеть и пить до конца, в знак того, что не придаю

вам ни малейшей важности. Буду сидеть и пить, потому что здесь кабак, а я деньги за вход заплатил. Буду сидеть и пить, потому что вас за пешек считаю, за пешек несуществующих. Буду сидеть и пить… и петь, если захочу, да-с, и петь, потому что право такое имею… чтоб петь… гм».

Но я не пел. Я старался только ни на кого из них не глядеть; принимал независимейшие позы и с нетерпеньем ждал, когда со мной они сами, *первые*, заговорят. Но, увы, они не заговорили. И как бы, как бы я желал в эту минуту с ними помириться! Пробило восемь часов, наконец, девять. Они перешли со стола на диван. Зверков разлегся на кушетке, положив одну ногу на круглый столик. Туда перенесли и вино. Он действительно выставил им три бутылки своих. Меня, разумеется, не пригласил. Все обсели его на диване. Они слушали его чуть не с благоговеньем. Видно было, что его любили. «За что? за что?» – думал я про себя. Изредка они приходили в пьяный восторг и целовались. Они говорили о Кавказе, о том, что такое истинная страсть, о гальбике, о выгодных местах по службе; о том, сколько доходу у гусара Подхаржевского, которого никто из них не знал лично, и радовались, что у него много доходу; о необыкновенной красоте и грации княгини Д – й, которую тоже никто из них никогда не видал; наконец, дошло до того, что Шекспир бессмертен.

Я презрительно улыбался и ходил по другую сторону комнаты, прямо против дивана, вдоль стены, от стола до печки и обратно. Всеми силами я хотел показать, что могу и без них

обойтись; а между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки. Но все было напрасно. *Они-то* и не обращали внимания. Я имел терпенье проходить так, прямо перед ними, с восьми до одиннадцати часов, все по одному и тому же месту, от стола до печки и от печки обратно к столу. «Так хожу себе, и никто не может мне запретить». Входивший в комнату слуга несколько раз останавливался смотреть на меня; от частых оборотов у меня кружилась голова; минутами мне казалось, что я в бреду. В эти три часа я три раза вспотел и просох. Порой с глубочайшею, с ядовитою болью вонзалась в мое сердце мысль: что пройдет десять лет, двадцать лет, сорок лет, а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и с унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уж невозможно, и я вполне, вполне понимал это и все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. «О, если б вы только знали, на какие чувства и мысли способен я и как я развит!» – думал я минутами, мысленно обращаясь к дивану, где сидели враги мои. Но враги мои вели себя так, как будто меня и не было в комнате. Раз, один только раз они обернулись ко мне, именно когда Зверков заговорил о Шекспире, а я вдруг презрительно захохотал. Я так выделанно и гадко фыркнул, что они все разом прервали разговор и молча наблюдали минуты две, серьезно, не смеясь, как я хожу по стенке, от стола до печки, и как я *не обращаю на них никакого внимания*. Но ни-

чего не вышло: они не заговорили и через две минуты опять меня бросили. Пробило одиннадцать.

– Господа, – закричал Зверков, подымаясь с дивана, – теперь все *туда*.

– Конечно, конечно! – заговорили другие.

Я круто поворотил к Зверкову. Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться, а покончить! У меня была лихорадка; смоченные потом волосы присохли ко лбу и вискам.

– Зверков! я прошу у вас прощенья, – сказал я резко и решительно, – Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех, я обидел всех!

– Ага! дуэль-то не свой брат! – ядовито прошипел Ферфичкин.

Меня больно резнуло по сердцу.

– Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом, и вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух.

– Сам себя тешит, – заметил Симонов.

– Просто сбрендил! – отозвался Трудолюбов.

– Да позвольте пройти, что вы поперек дороги стали!.. Ну чего вам надобно? – презрительно отвечал Зверков. Все они были красные; глаза у всех блистали: много пили.

– Я прошу вашей дружбы, Зверков, я вас обидел, но…

– Обидели? В-вы! Ми-ня! Знайте, милостивый государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете *меня* обидеть!

– И довольно с вас, прочь! – скрепил Трудолюбов. – Едем.

– Олимпия моя, господа, уговор! – крикнул Зверков.

– Не оспариваем! не оспариваем! – отвечали ему смеясь.

Я стоял оплеванный. Ватага шумно выходила из комнаты, Трудолюбов затянул какую-то глупую песню. Симонов остался на крошечную минутку, чтоб дать на чай слугам. Я вдруг подошел к нему.

– Симонов! дайте мне шесть рублей! – сказал я решительно и отчаянно.

Он поглядел на меня в чрезвычайном изумлении какими-то тупыми глазами. Он тоже был пьян.

– Да разве вы и *туда* с нами?

– Да!

– У меня денег нет! – отрезал он, презрительно усмехнулся и пошел из комнаты.

Я схватил его за шинель. Это был кошмар.

– Симонов! я видел у вас деньги, зачем вы мне отказываете? Разве я подлец? Берегитесь мне отказать: если б вы знали, если б вы знали, для чего я прошу! От этого зависит все, все мое будущее, все мои планы…

Симонов вынул деньги и чуть не бросил их мне.

– Возьмите, если вы так бессовестны! – безжалостно проговорил он и побежал догонять их.

Я остался на минуту один. Беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце и, наконец, лакей, все видевший и все слышавший и любопытно заглядывавший мне в глаза.

– *Туда!* – вскрикнул я. «Или они все на коленах, обнимая ноги мои, будут вымаливать моей дружбы, или… или я дам Зверкову пощечину!»

V

– Так вот оно, так вот оно, наконец, столкновенье-то с действительностью, – бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. – Это, знать, уж не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию; это, знать, уж не бал на озере Комо!

«Подлец ты! – пронеслось в моей голове, – коли над этим теперь смеешься».

– Пусть! – крикнул я, отвечая себе. – Теперь ведь уж все погибло!

Их уж и след простыл; но все равно: я знал, куда они поехали.

У крыльца стоял одинокий ванька, ночник, в сермяге, весь запорошенный все еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая лохматая, пегая лошаденка его была тоже вся запорошена и кашляла; я это очень помню. Я бросился в лубошные санки; но только

было я занес ногу, чтоб сесть, воспоминание о том, как Симонов сейчас давал мне шесть рублей, так и подкосило меня, и я, как мешок, повалился в санки.

– Нет! Надо много сделать, чтоб все это выкупить! – прокричал я; – но я выкуплю или в эту же ночь погибну на месте. Пошел!

Мы тронулись. Целый вихрь кружился в моей голове:

«На коленах умолять о моей дружбе – они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический и фантастический; тот же бал на озере Комо. И потому я *должен* дать Зверкову пощечину! Я обязан дать. Итак, решено; я лечу теперь дать ему пощечину». «Погоняй!»

Ванька задергал вожжами.

«Как войду, так и дам. Надобно ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет! Просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале, а он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия! Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я оттаскаю Олимпию за волосы, а Зверкова за уши! Нет, лучше за одно ухо и за ухо проведу его по всей комнате. Они, может быть, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже наверно. Пусть! Все же я первый дал пощечину: моя инициатива; а по законам чести – это всё; он уже заклеймен и никакими побоями уж не смоет с себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть, неблагородные! Особенно будет бить Трудолюбов: он такой сильный; Ферфич-

кин прицепится сбоку и непременно за волосы, наверно. Но пусть, пусть! Я на то пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить, наконец, во всем этом трагическое! Когда они будут тащить меня к дверям, я закричу им, что в сущности они не стоят моего одного мизинца».

– Погоняй, извозчик, погоняй! – закричал я на ваньку. Он даже вздрогнул и взмахнул кнутом. Очень уж дико я крикнул.

«На рассвете деремся, это уж решено. С департаментом кончено. Ферфичкин сказал давеча вместо департамента – лепартамент. Но где взять пистолетов? Вздор! Я возьму вперед жалованья и куплю. А пороху, а пуль? Это дело секунданта. И как успеть все это к рассвету? И где я возьму секунданта? У меня нет знакомых…»

– Вздор! – крикнул я, взвихриваясь еще больше, – вздор!

«Первый встречный на улице, к которому я обращусь, обязан быть моим секундантом точно так же, как вытащить из воды утопающего. Самые эксцентрические случаи должны быть допущены. Да если б я самого даже директора завтра попросил в секунданты, то и тот должен бы был согласиться из одного рыцарского чувства и сохранить тайну! Антон Антоныч…»

Дело в том, что в ту же самую минуту мне яснее и ярче, чем кому бы то ни было во всем мире, представлялась вся гнуснейшая нелепость моих предположений и весь оборот медали, но…

– Погоняй, извозчик, погоняй, шельмец, погоняй!

– Эх, барин! – проговорила земская сила.

Холод вдруг обдал меня.

«А не лучше ли… а не лучше ли… прямо теперь же домой? О боже мой! зачем, зачем вчера я вызвался на этот обед! Но нет, невозможно! А прогулка-то три часа от стола до печки? Нет, они, они, а не кто другой должны расплатиться со мною за эту прогулку! Они должны смыть это бесчестие!»

– Погоняй!

«А что, если они меня в часть отдадут! Не посмеют! Скандала побоятся. А что, если Зверков из презренья откажется от дуэли? Это даже наверно; но я докажу им тогда… Я брошусь тогда на почтовый двор, когда он будет завтра уезжать, схвачу его за ногу, сорву с него шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему в руку, я укушу его. «Смотрите все, до чего можно довести отчаянного человека!» Пусть он бьет меня в голову, а все они сзади. Я всей публике закричу: «Смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешенок с моим плевком на лице!»

Разумеется, после этого все уже кончено! Департамент исчез с лица земли. Меня схватят, меня будут судить, меня выгонят из службы, посадят в острог, пошлют в Сибирь, на поселение. Нужды нет! Через пятнадцать лет я потащусь за ним в рубище, нищим, когда меня выпустят из острога. Я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счаст-

лив. У него будет взрослая дочь… Я скажу: «Смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище! Я потерял все – карьеру, счастье, искусство, науку, *любимую женщину*, и все из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и… и прощаю тебя». Тут я выстрелю на воздух, и обо мне ни слуху ни духу…»

Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвио и из «Маскарада» Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня.

Что было делать? И туда было нельзя – выходил вздор; и оставить дела нельзя, потому что уж тут выйдет… «Господи! Как же это можно оставить! И после таких обид!»

– Нет! – вскликнул я, снова кидаясь в сани, – это предназначено, это рок! погоняй, погоняй, туда!

И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею.

– Да что ты, чего дерешься? – закричал мужичонка, стегая, однакож, клячу, так что та начала лягаться задними ногами.

Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж *непременно сейчас*, теперь случится и *уж никакими силами остановить нельзя*. Пустынные фонари угрюмо мелькали в

снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того все было потеряно! Наконец, мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, взбежал по ступенькам и начал стучать в дверь руками и ногами. Особенно ноги, в коленках, у меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили; точно знали о моем приезде. (Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один, а здесь надо было предуведомлять и вообще брать предосторожности. Это был один из тех тогдашних «модных магазинов», которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин; а по вечерам имеющим рекомендацию можно было приезжать в гости.) Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении: никого не было.

– Где же они? – спросил я кого-то.

Но они, разумеется, уже успели разойтись…

Передо мной стояла одна личность, с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность.

Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется, говорил сам с собой. Я был точно от смерти спасен и всем существом своим радостно это предчувствовал: ведь я бы дал пощечину, я бы непременно, непременно дал пощечину! Но теперь их нет и… все исчезло, все переменилось!.. Я оглядывался. Я еще не мог сообразить. Машиналь-

но я взглянул на вошедшую девушку: передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо, с прямыми темными бровями, с серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это тотчас же понравилось; я бы возненавидел ее, если б она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее и как бы с усилием; мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена. Одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня; я подошел прямо к ней…

Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным: бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. «Это пусть, этому я рад, – подумал я, – я именно рад, что покажусь ей отвратительным; мне это приятно…»

VI

…Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, – точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытьи.

В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, – было почти совсем темно. Огарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма.

Я приходил в себя недолго; все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытьи все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было: все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь, по пробуждении, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого.

В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой; тяжело от него было.

Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже,

что в продолжение двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным; даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало, наконец, отчего-то жутко.

– Как тебя зовут? – спросил я отрывисто, чтоб поскорей кончить.

– Лизой, – ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза.

Я помолчал.

– Сегодня погода… снег… гадко! – проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок.

Она не отвечала. Безобразно все это было.

– Ты здешняя? – спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову.

– Нет.

– Откуда?

– Из Риги, – проговорила она нехотя.

– Немка?

– Русская.

– Давно здесь?

– Где?

– В доме.

– Две недели. – Она говорила все отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла; я не мог уже различать ее лица.

– Отец и мать есть?

– Да… нет… есть.

– Где они?

– Там… в Риге.

– Кто они?

– Так…

– Как: так? Кто, какого звания?

– Мещане.

– Ты все с ними жила?.

– Да.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать.

– Зачем же ты от них ушла?

– Так…

Это *так* означало: отвяжись, тошно. Мы замолчали.

Бог знает почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня както сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность.

– Сегодня гроб выносили и чуть не уронили, – вдруг про-

говорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора, а так, почти нечаянно.

– Гроб?

– Да, на Сенной; выносили из подвала.

– Из подвала?

– Не из подвала, а из подвального этажа… ну знаешь… там внизу… из дурного дома… Грязь такая была кругом… Скорлупа, сор… пахло… мерзко было.

Молчание.

– Скверно сегодня хоронить! – начал я опять, чтобы только не молчать.

– Чем скверно?

– Снег, мокрять… (Я зевнул.)

– Все равно, – вдруг сказала она после некоторого молчания.

– Нет, гадко… (Я опять зевнул.) Могильщики, верно, ругались, оттого что снег мочил. А в могиле, верно, была вода.

– Отчего в могиле вода? – спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать.

– Как же, вода, на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы, на Волковом, сухой не выроешь.

– Отчего?

– Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам… много раз…

(Ни одного разу я не видал, да и на Волковом никогда не

был, а только слышал, как рассказывали.)

– Неужели тебе все равно, умирать-то?

– Да зачем я помру? – отвечала она, как бы защищаясь.

– Когда-нибудь да умрешь же, и так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была… тоже девушка одна… В чахотке померла.

– Девка в больнице бы померла… (Она уж об этом знает, – подумал я, – и сказала: девка, а не девушка.)

– Она хозяйке должна была, – возразил я, все более и более подзадориваясь спором, – и до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие. Смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. (Я и тут много приврал.)

Молчание, глубокое молчание. Она даже не шевелилась.

– А в больнице-то лучше, что ль, помирать?

– Не все ль одно?.. Да с чего мне помирать? – прибавила она раздражительно.

– Не теперь, так потом?

– Ну и потом…

– Как бы не так! Ты вот теперь молода, хороша, свежа – тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь.

– Через год?

– Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена, – продолжал я с злорадством. – Ты и перейдешь отсюда ку-

да-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год – в третий дом, все ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь на Сенной до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь, ну, там слабость груди… аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь.

– Ну и помру, – ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась.

– Да ведь жалко.

– Кого?

– Жизни жалко.

Молчанье.

– У тебя был жених? а?

– Вам на что?

– Да я тебя не допытываю. Мне что. Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так, жаль.

– Кого?

– Тебя жаль.

– Нечего… – шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась.

Меня это тотчас же подозлило. Как! я так было кротко с ней, а она…

– Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?

– Ничего я не думаю.

– То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша; могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть…

– Не все замужем-то счастливые, – отрезала она прежней грубой скороговоркой.

– Не все, конечно, – а все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше. А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша, хорошо жить на свете, даже как бы ни жить. А здесь что, кроме… смрада. Фуй!

Я повернулся с омерзеньем; я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные *идейки*, в углу выжитые, жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель «явилась».

– Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, – поспешил я все-таки оправдать себя. – К тому ж мужчина женщине совсем не пример. Дело розное; я хоть и гажу себя и мараю, да зато ничей я не раб; был да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала – раба. Да, раба! Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет: всё крепче и крепче тебя будут опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй, а вот скажи-ка: ведь ты наверно уж хозяйке должна? Ну, вот видишь! – прибавил я, хотя она мне не ответила, а только

молча, всем существом своим слушала; – вот тебе и цепь! Уж никогда не откупишься. Так сделают. Все равно что черту душу…

…И к тому ж я… может быть, тоже такой же несчастный, почем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя: ну, а я вот здесь – с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего: вот мы с тобой… сошлись… давеча, и слова мы во все время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дикая, уж потом рассматривать стала; и я тебя также. Разве этак любят? Разве этак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что!

– Да! – резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого *да*. Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала? Значит, и она уже способна к некоторым мыслям?.. «Черт возьми, это любопытно, это – *сродни*, – думал я, – чуть не потирая себе руки. – Да и как с молодой такой душой не справиться?..»

Более всего меня игра увлекала.

Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне в темноте, подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыханье.

– Зачем ты сюда приехала? – начал я уже с некоторою властью.

– Так…

– А ведь как хорошо в отцовском-то бы доме жить! Тепло, привольно; гнездо свое.

– А коль того хуже?

«В тон надо попасть, – мелькнуло во мне, – сантиментальностью-то, пожалуй, не много возьмешь».

Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством.

– Кто говорит! – поспешил я ответить, – все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел и скорей перед тобой виноваты, чем ты перед *ними*. Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно не с охоты своей сюда попадет…

– Какая такая я девушка? – прошептала она едва слышно; но я расслышал.

«Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может, и хорошо…» Она молчала.

– Видишь, Лиза, – я про себя скажу! Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни было в семье худо – все отец с матерью, а не враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос; оттого, верно, такой и вышел… бесчувственный.

Я выждал опять.

«Пожалуй, и не понимает, – думал я, – да и смешно – мо-

раль».

– Если б я был отец и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил, право, – начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел.

– Это зачем? – спросила она. А, стало быть, слушает!

– Так; не знаю, Лиза. Видишь: я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал, налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с нее глаз не спускает. Помешался на ней; я это понимаю. Она ночью устанет – заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучишке засаленном ходит, для всех скупой, а ей из последнего покупает, подарки дарит богатые, и уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить! А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал.

– Да как же? – спросила она, чуть-чуть усмехнувшись.

– Ревновал бы, ей-богу. Ну, как это другого она станет целовать? чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор; конечно, всякий под конец образумится. Но я б, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил: всех бы женихов перебраковал. А кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семьях худа бывает.

– Другие-то продать рады дочь, не то что честью отдать, – проговорила она вдруг.

А! вон оно что!

– Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни Бога, ни любви не бывает, – с жаром подхватил я, – а где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда, да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видала добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. Гм… Больше по бедности все это бывает.

– А у господ-то лучше, что ль? И по бедности честные люди хорошо живут.

– Гм… да. Может быть. Опять и то, Лиза: человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. А счел бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну, а что, коли в семье все удастся, Бог благословит, муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя! хорошо в той семье! Даже иной раз и с горем пополам хорошо; да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, *сама узнаешь*. Зато взять хоть первое-то время замужем за тем, кого любишь: счастья-то, счастья-то сколько иной раз придет! да и сплошь да рядом. В первое-то время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право; я знал такую: «Так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй». Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Всё больше женщины. А сама про себя думает:

«Зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить». И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно… Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда, – я знал одну, – не стерпит, да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть: не там ли, не в том ли доме, не с той ли? Это уж худо. И сама знает, что худо, и сердце у ней замирает и казнится, да ведь любит; все от любви. А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться али простить! И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет, – точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то, никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, – мать родную, и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна Божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло. Святее от этого, лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить! Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся, так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда, а там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся, все дела свои сообща положут; тайны друг от друга не будет. А дети пойдут, так тут каждое, хоть и самое трудное время счастьем пока-

жется; только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они ж тебя будут за это потом любить; себе же, значит, копишь. Дети растут, – чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка; что и умрешь ты, они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе, так как от тебя получили, твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись тесней отцу с матерью? Говорят вот, детей иметь тяжело? Кто это говорит? Это счастье небесное! Любишь ты маленьких детей, Лиза? я ужасно люблю. Знаешь – розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет, да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит! Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится; ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно, глазки, точно уж он все понимает. А сосет – грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, – оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется, – точно уж и бог знает как смешно, – и опять, опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то косит на нее: «Видишь, прикусил!» Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок, вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить выучиться, а потом уж других обвинять!

«Картинками, вот этими-то картинками тебя надо! – по-

думал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил, и вдруг покраснел. – А ну, если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу?» – Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее.

– Чтой-то вы… – начала она вдруг и остановилась.

Но я уже все понял, в ее голосе уже что-то другое дрожало, не резкое, не грубое и несдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое, до того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновато стало.

– Что? – спросил я с нежным любопытством.

– Да вы…

– Что?

– Что-то вы… точно как по книге. – сказала она, и что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе.

Больно ущипнуло меня это замечанье. Я не того ожидал.

Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала, в несколько приемов, к своей насмешке, и, наконец, только решилась высказать, я бы должен был догадаться. Но я не догадался, и злое чувство обхватило меня.

«Постой же», – подумал я.

VII

– Э, полно, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко вчуже. Да и не вчуже. У меня все это теперь в душе проснулось… Неужели, неужели тебе самой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка! Черт знает, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не состареешься, вечно хороша будешь и что тебя здесь веки вечные держать будут? Я не говорю уж про то, что и здесь пакость… А впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее-то твое житье: вот ты теперь хоть и молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством; ну, а знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне тотчас и гадко стало быть здесь с тобой! Только в пьяном виде ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут, так я, может быть, не то что волочился б за тобой, а просто влюбился б в тебя, рад бы взгляду был твоему, не то что слову; у ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал; как на невесту б свою, на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты, хочешь не хочешь, иди за мной, и уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работники – все-таки не всего себя

закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только: что ты здесь отдаешь? что кабалишь? Душу, душу, в которой ты невластна, кабалишь вместе с телом! Любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешь! Любовь! – да ведь это всё, да ведь это алмаз, девичье сокровище, любовь-то! Ведь чтоб заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти. А во что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком, и зачем уж тут любви добиваться, когда и без любви все возможно. Да ведь обиды сильнее для девушки нет, понимаешь ли ты? Вот, слышал я, тешат вас, дур, – позволяют вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман, один смех над вами, а вы верите. Что он, в самом деле, что ли, любит тебя, любовник-то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут. Пакостник он после этого! Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он над тобой да тебя же обкрадывает – вот и вся его любовь! Хорошо еще, что не бьет. А может, и бьет. Спроси-ка его, коли есть такой у тебя: женится ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет иль не прибьет, – а ему самому, может, всей-то цены – два сломанных гроша. И за что, подумаешь, ты здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поят да кормят сытно? Да ведь для чего кормят-то? У другой бы, честной, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна, ну и все будешь должна и до конца концов должна будешь, до тех самых пор,

что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это все на почтовых летит. Тебя и вытолкают. Да и не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут, попрекать начнут, ругать начнут, – как будто не ты ей здоровье свое отдала, молодость и душу даром для нее загубила, а как будто ты-то ее и разорила, по миру пустила, обокрала. И не жди поддержки: другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве, совесть и жалость давно потеряли. Исподлились, и уж гаже, подлее, обиднее этих ругательств и на земле не бывает. И все-то ты здесь положишь, все, без завета, – и здоровье, и молодость, и красоту, и надежды, и в двадцать два года будешь «смотреть как тридцатипятилетняя, и хорошо еще, коль не больная, моли Бога за это. Ведь ты теперь небось думаешь, что тебе и работы нет, гульба! Да тяжеле и каторжнее работы на свете нет и никогда не бывало. Одно сердце, кажется, все бы слезами изошло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда, пойдешь как виноватая. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь и доберешься, наконец, до Сенной. А там уж походя бить начнут; это любезность тамошняя; там гость и приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку свои же проморозить маленько за то, что уж очень ревела, а дверь

за ней притворили. В девять-то часов утра она уж была совсем пьяная, растрепанная, полунагая, вся избитая. Сама набелена, а глаза в черняках; из носа и из зубов кровь течет: извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке, в руках у ней какая-то соленая рыба была; она ревела, что-то причитала про свою «учась», а рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики да пьяные солдаты и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? И я бы не хотел верить, а почем ты знаешь, может быть, лет десять, восемь назад, эта же самая, с соленой-то рыбой, – приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая; зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты, была, гордая, обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось? И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние, чистые годы в отцовском доме, когда еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положит, и когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут большие! Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там, в углу, в подвале, как давешняя, в чахотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты? Хорошо –

свезут, а если ты еще хозяйке нужна? Чахотка такая болезнь; это не горячка. Тут до последней минуты человек надеется и говорит, что здоров. Сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся, это так; душу, значит, продала, а к тому же деньги должна, значит и пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся, – потому, что с тебя тогда взять? Еще тебя же попрекнут, что даром место занимаешь, не скоро помираешь. Пить не допросишься, с ругательством подадут: «Когда, дескать, ты, подлячка, издохнешь; спать мешаешь – стонешь, гости брезгают». Это верно; я сам подслушал такие слова. Сунут тебя, издыхающую, в самый смрадный угол в подвале, – темень, сырость; что ты, лежа-то одна, тогда передумаешь? Помрешь, – соберут наскоро, чужой рукой, с ворчаньем, с нетерпением, – никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет по тебе, только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту, бедную, выносили, в кабак поминать пойдут. В могиле слякоть, мразь, снег мокрый, – не для тебя же церемониться? «Спущай-ка ее, Ванюха; ишь ведь «учась» и тут верх ногами пошла, таковская. Укороти веревки-то, пострел». «Ладно и так». «Чего ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был ал и нет? Ну да ладно, засыпай». И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак… Тут и конец твоей памяти на земле; к другим дети на могилу ходят, отцы, мужья, а у тебя – ни слезы, ни вздоха, ни поминания, и никто-то, никто-то, нико-

гда в целом мире не придет к тебе; имя твое исчезнет с лица земли – так, как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось! Грязь да болото, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают, в гробовую крышу: «Пустите, добрые люди, на свет пожить! Я жила – жизни не видала, моя жизнь на обтирку пошла; ее в кабаке на Сенной пропили; пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить!..»

Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась, и… вдруг я остановился, приподнялся в испуге и, наклонив боязливо голову, с бьющимся сердцем начал прислушиваться. Было от чего и смутиться.

Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце, и, чем больше я удостоверялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели. Игра, игра увлекла меня; впрочем, не одна игра…

Я знал, что говорю туго, выделанно, даже книжно, одним словом, я иначе и не умел, как «точно по книжке». Но это не смущало меня; я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут и что самая эта книжность, может, еще больше подспорить делу. Но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подуш-

ке: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа, узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом), или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы. Я было начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею, и вдруг сам, весь в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью, кое-как наскоро сбираться в дорогу. Было темно: как ни старался я, но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату, Лиза вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Я сел подле нее и взял ее руки; она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мной голову.

– Лиза, друг мой, я напрасно… ты прости меня, – начал было я, – но она сжала в своих пальцах мои руки с такою силою, что я догадался, что не то говорю, и перестал.

– Вот мой адрес, Лиза, приходи ко мне.

– Приду… – прошептала она решительно, все еще не подымая своей головы.

– А теперь я уйду, прощай… до свидания.

Я встал, встала и она и вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то

болезненно улыбнулась, покраснела и странно поглядела на меня. Мне было больно; я спешил уйти, стушеваться.

– Подождите, – сказала она вдруг, уже в сенях у самых дверей, останавливая меня рукою за шинель, поставила впопыхах свечу и убежала, – видно, вспомнила про что-то или хотела мне принести показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели, на губах показалась улыбка, – что бы такое? Я поневоле дождался; она воротилась через минуту, со взглядом, как будто просившим прощения за что-то. Вообще это уже было не то лицо, не тот взгляд, как давеча, – угрюмый, недоверчивый и упорный. Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят. Глаза у ней были светло-карие, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе и любовь и угрюмую ненависть.

Не объясняя мне ничего, – как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений, – она протянула мне бумажку. Все лицо ее так и просияло в это мгновение самым наивным, почти детским торжеством. Я развернул. Это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде, – очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выражений, но помню очень хорошо, что сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство, которого не подделаешь. Когда я дочитал, то встретил горя-

чий, любопытный и детски-нетерпеливый взгляд ее на себе. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала – что я скажу? В нескольких словах, наскоро, но как-то радостно и как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере, в семейном доме, у одних «очень, очень хороших людей, *семейных людей* и где *ничего еще не знают*, совсем ничего», – потому что она и здесь-то еще только внове и только так… а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит… «Ну и там был этот студент, весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком, вместе играли, только уж очень давно – и родителей ее знает, но что *об этом* он ничего-ничего-ничего не знает и не подозревает! И вот на другой день после танцев (три дня назад) он и прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила, это письмо… и… ну вот и все».

Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать.

Бедненькая, она хранила письмо этого студента, как драгоценность, и сбегала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что и ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверно, этому письму так и суждено было пролежать в шкатулке без последствий. Но все равно; я уверен, что она всю жизнь его хранила бы как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание, и вот теперь сама в такую минуту вспомнила и

принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтоб и я видел, чтоб и я похвалил. Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти… Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег все еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении. Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!

VIII

Я, впрочем, не скоро согласился признать эту истину. Проснувшись наутро после нескольких часов глубокого, свинцового сна и тотчас же сообразив весь вчерашний день, я даже изумился моей вчерашней *сантиментальности* с Лизой, всем этим «вчерашним ужасам и жалостям». «Ведь нападет же такое бабье расстройство нервов, тьфу! – порешил я. – И на что это мой адрес всучил я ей? Что, если она придет? А впрочем, пожалуй, пусть и придет; ничего…» Но, *очевидно*, главное и самое важное дело теперь было не в этом; надо было спешить и во что бы ни стало скорее спасать мою репутацию в глазах Зверкова и Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем и забыл в это утро захлопотавшись.

Прежде всего надо было немедленно отдать вчерашний долг Симонову. Я решился на отчаянное средство: занять целых пятнадцать рублей у Антона Антоновича. Как нароч-

но, он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал, по первой просьбе. Я так этому обрадовался, что подписывая расписку, с каким-то ухарским видом, *небрежно* сообщил ему, что вчера «покутили с приятелями в Hôtel de Paris; провожали товарища, даже, можно сказать, друга детства, и, знаете, – кутила он большой, избалован, – ну, разумеется, хорошей фамилии, значительное состояние, блестящая карьера, остроумен, мил, интригует с этими дамами, понимаете; выпили лишних «полдюжины» и…» И ведь ничего; произносилось все это очень легко, развязно и самодовольно.

Придя домой, я немедленно написал Симонову.

До сих пор любуюсь, вспоминая истинно джентльменский, добродушный, открытый тон моего письма. Ловко и благородно, а, главное, совершенно без лишних слов, – я обвинил себя во всем. Оправдывался я, «если только позволительно мне еще оправдываться», тем, что, по совершенной непривычке к вину, опьянел с первой рюмки, которую (будто бы) выпил еще до них, когда поджидал их в Hôtel de Paris с пяти до шести часов. Извинения просил я преимущественно у Симонова; его же просил передать мои объяснения и всем другим, особенно Зверкову, которого, «помнится мне, как сквозь сон», я, кажется, оскорбил. Я прибавлял, что и сам бы ко всем поехал, да голова болит, а пуще всего – совестно. Особенно доволен остался я этой «некоторой легкостью», даже чуть не небрежностию (впрочем, совершенно прилич-

ною), которая вдруг отразилась в моем пере и лучше всех возможных резонов, сразу, давала им понять, что я смотрю «на всю эту вчерашнюю гадость» довольно независимо; совсем-таки, вовсе-таки не убит наповал, как вы, господа, вероятно, думаете, а, напротив, смотрю так, как следует смотреть на это спокойно уважающему себя джентльмену. «Быль, дескать, молодцу не укор».

– Даже ведь какая-то игривость маркизская? – любовался я, перечитывая записку. – А все оттого, что развитой и образованный человек! Другие бы на моем месте не знали, как и выпутаться, а я вот вывернулся и кучу себе вновь и все потому, что «образованный и развитой человек нашего времени». Да и впрямь, пожалуй, это все от вина вчера произошло. Гм… ну нет, не от вина. Водки-то я вовсе не пил, от пяти-то до шести часов, когда их поджидал. Солгал Симонову; солгал бессовестно; да и теперь не совестно…

А, впрочем, наплевать! Главное то, что отделался. Я вложил в письмо шесть рублей, запечатал и упросил Аполлона снести к Симонову. Узнав, что в письме деньги, Аполлон стал почтительнее и согласился сходить. К вечеру я вышел пройтись. Голова у меня еще болела и кружилась со вчерашнего. Но чем более наступал вечер и чем гуще становились сумерки, тем более менялись и путались мои впечатления, а за ними и мысли. Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской. Толкался я больше по самым людным, промышлен-

ным улицам, по Мещанским, по Садовой, у Юсупова сада. Особенно любил я всегда прохаживаться по этим улицам в сумерки, именно когда там густеет толпа всякого прохожего, промышленного и ремесленного люду, с озабоченными до злости лицами, расходящаяся по домам с дневных заработков. Нравилась мне именно эта грошовая суетня, эта наглая прозаичность. В этот раз вся эта уличная толкотня еще больше меня раздражала. Я никак не мог с собой справиться, концов найти. Что-то подымалось, подымалось в душе беспрерывно, с болью, и не хотело угомониться. Совсем расстроенный я воротился домой. Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление.

Мучила меня постоянно мысль, что придет Лиза. Странно мне было то, что из всех этих вчерашних воспоминаний воспоминание о ней как-то особенно, как-то совсем отдельно меня мучило. Обо всем другом я к вечеру уже совсем успел забыть, рукой махнул и все еще совершенно оставался доволен моим письмом к Симонову. Но тут я как-то уж не был доволен. Точно как будто я одной Лизой и мучился. «Что, если она придет? – думал я беспрерывно. – Ну что ж, ничего, пусть и придет. Гм. Скверно уж одно то, что она увидит, например, как я живу. Вчера я таким перед ней показался… героем… а теперь, гм! Это, впрочем, скверно, что я так опустился. Просто нищета в квартире. И я решился вчера ехать в таком платье обедать! А клеенчатый диван-то мой, из которого мочалка торчит! А халат-то мой, которым нельзя за-

крыться! Какие клочья… И она это все увидит; и Аполлона увидит. Эта скотина, наверно, ее оскорбит. Он придерется к ней, чтоб мне сделать грубость. А я уж, разумеется, по обычаю, струшу, семенить перед ней начну, закрываться полами халата, улыбаться начну, лгать начну. У, скверность! Да и не в этом главная-то скверность! Тут есть что-то главнее, гаже, подлее! да, подлее! И опять, опять надевать эту бесчестную лживую маску!..»

Дойдя до этой мысли, я так и вспыхнул:

«Для чего бесчестную? Какую бесчестную? Я говорил вчера искренно. Я помню, во мне тоже было настоящее чувство. Я именно хотел вызвать в ней благородные чувства… если она поплакала, то это хорошо, это благотворно подействует…»

Но все-таки я никак не мог успокоиться.

Весь этот вечер, уже когда я и домой воротился, уже после девяти часов, когда по расчету никак не могла прийти Лиза, мне все-таки она мерещилась и, главное, вспоминалась все в одном и том же положении. Именно один момент из всего вчерашнего мне особенно ярко представлялся: это когда я осветил спичкой комнату и увидал ее бледное, искривленное лицо, с мученическим взглядом. И какая жалкая, какая неестественная, какая искривленная улыбка у ней была в ту минуту! Но я еще не знал тогда, что и через пятнадцать лет я все-таки буду представлять себе Лизу именно с этой жалкой, искривленной, ненужной улыбкой, которая у ней была

в ту минуту.

На другой день я уже опять готов был считать все это вздором, развозившимися нервами, а главное – *преувеличением*. Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее: «все-то я преувеличиваю, тем и хромаю», – повторял я себе ежечасно. Но, впрочем, «впрочем, все-таки Лиза, пожалуй, придет» – вот припев, которым заключались все мои тогдашние рассуждения. До того я беспокоился, что приходил иногда в бешенство. «Придет! непременно придет! – восклицал я, бегая по комнате, – не сегодня, так завтра придет, а уж отыщет! И таков проклятый романтизм всех этих *чистых сердец!* О мерзость, о глупость, о ограниченность этих «поганых сантиментальных душ»! Ну, как не понять, как бы, кажется, не понять?..» – Но тут я сам останавливался и даже в большом смущении.

«И как мало, мало, – думал я мимоходом, – нужно было слов, как мало нужно было идиллии (да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной), чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то! То-то свежесть-то почвы!»

Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, «рассказать ей все» и упросить ее не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту «проклятую» Лизу, если б она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!

Прошел, однакож, день, другой, третий – она не приходила, и я начинал успокоиваться. Особенно ободрялся и разгуливался я после девяти часов, даже начинал иногда мечтать и довольно сладко: «Я, например, спасаю Лизу, именно тем, что она ко мне ходит, а я ей говорю… Я ее развиваю, образовываю. Я, наконец, замечаю, что она меня любит, страстно любит. Я прикидываюсь, что не понимаю (не знаю, впрочем, для чего прикидываюсь; так, для красы, вероятно). Наконец, она, вся смущенная, прекрасная, дрожа и рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спаситель и что она меня любит больше всего на свете. Я изумляюсь, но… «Лиза, – говорю я, – неужели ж ты думаешь, что я не заметил твоей любви? Я видел все, я угадал, но я не смел посягать на твое сердце первый, потому что имел на тебя влияние и боялся, что ты, из благодарности, нарочно заставишь себя отвечать на любовь мою, сама насильно вызовешь в себе чувство, которого, может быть, нет, а я этого не хотел, потому что это… деспотизм… Это неделикатно (ну, одним словом, я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской, неизъяснимо благородной тонкости…). Но теперь, теперь – ты моя, ты мое созданье, ты чиста, прекрасна, ты – прекрасная жена моя.

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!»

Затем мы начинаем жить-поживать, едем за границу и т. д. и т. д.». Одним словом, самому подло становилось, и я кончал тем, что дразнил себя языком.

«Да и не пустят ее, «мерзавку»! – думал я. – Их ведь, кажется, гулять-то не очень пускают, тем более вечером (мне почему-то непременно казалось, что она должна прийти вечером и именно в семь часов). А впрочем, она сказала, что еще не совсем там закабалилась, на особых правах состоит; значит, гм! Черт возьми, придет, непременно придет!»

Хорошо еще, что развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями. Из терпенья последнего выводил! Это была язва моя, бич, посланный на меня провиденьем. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я еще, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжеством. Но неизвестно, почему он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей, – и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при этом с самолюбием, прилич-

ным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь – непременно влюблен, он тем смотрел! Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете и если «держал меня при себе», то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалованье. Он соглашался «ничего не делать» у меня за семь рублей в месяц. Мне за него много простится грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепетывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтенья. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ров-

ным голосом, нараспев, точно как по мертвом. Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает вакcу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит с существованием моим химически. К тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в шамбр-гарни[9]: моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его.

Задержать, например, его жалованье хоть два, хоть три дня было невозможно. Он бы такую завел историю, что я бы не знал, куда и деваться. Но в эти дни я до того был на всех озлоблен, что решился, почему-то и для чего-то, *наказать* Аполлона и не выдавать ему еще две недели жалованья. Я давно уж, года два, собирался это сделать, – единственно, чтоб доказать ему, что он не смеет так уж важничать надо мной и что если я захочу, то всегда могу не выдать ему жалованья. Я положил не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтоб победить его гордость и заставить его самого, первого, заговорить о жалованье. Тогда я выну все семь рублей из ящика, покажу ему, что они у меня есть и нарочно отложены, но что я «не хочу, не хочу, просто не хочу выдать ему жалованье, не хочу, потому, что *так хочу*», потому что на это «моя воля господская», потому что он непочтителен,

[9] Шамбр-гарни (*фр.* – chambres-garnies) – меблированные комнаты.

потому что он грубиян; но что если он попросит почтительно, то я, пожалуй, смягчусь и дам; не то еще две недели прождет, три прождет, целый месяц прождет…

Но как я ни был зол, а все-таки он победил. Я и четырех дней не выдержал. Он начал с того, с чего всегда начинал в подобных случаях, потому что подобные случаи уже бывали, пробовались (и, замечу, я знал все это заранее, я знал наизусть его подлую тактику), именно: он начинал с того, что устремит, бывало, на меня чрезвычайно строгий взгляд, не спускает его несколько минут сряду, особенно встречая меня или провожая из дому. Если, например я выдерживал и делал вид, что не замечаю этих взглядов, он, по-прежнему молча, приступал к дальнейшим истязаниям. Вдруг, бывало, ни с того ни с сего, войдет тихо и плавно в мою комнату, когда я хожу или читаю, остановится у дверей, заложит одну руку за спину, отставит ногу и устремит на меня свой взгляд, уж не то что строгий, а совсем презрительный. Если я вдруг спрошу его, что ему надо? – он не ответит ничего, продолжает смотреть на меня в упор еще несколько секунд, потом, как-то особенно сжав губы, с многозначительным видом, медленно повернется на месте и медленно уйдет в свою комнату. Часа через два вдруг опять выйдет и опять так же передо мной появится. Случалось, что я, в бешенстве, уж и не спрашивал его: чего ему надо? а просто сам резко и повелительно подымал голову и тоже начинал смотреть на него в упор. Так смотрим мы, бывало, друг на друга минуты две;

наконец, он повернется, медленно и важно, и уйдет опять на два часа.

Если я и этим все еще не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то он вдруг начнет вздыхать, на меня глядя, вздыхать долго, глубоко, точно измеряя одним этим вздохом всю глубину моего нравственного падения, и, разумеется, кончалось, наконец, тем, что он одолевал вполне: я бесился, кричал, но то, об чем дело шло, все-таки принуждаем был исполнить.

В этот же раз едва только начались обыкновенные маневры «строгих взглядов», как я тотчас же вышел из себя и в бешенстве на него накинулся. Слишком уж я был и без того раздражен.

– Стой! – закричал я в исступлении, когда он медленно и молча повертывался, с одной рукой за спиной, чтоб уйти в свою комнату, – стой! воротись, воротись, говорю я тебе! – и, должно быть, я так неестественно рявкнул, что он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. Впрочем, продолжал не говорить ни слова, а это-то меня и бесило.

– Как ты смеешь входить ко мне без спросу и так глядеть на меня? Отвечай!

Но, посмотрев на меня спокойно с полминуты, он снова начал повертываться.

– Стой! – заревел я, подбегая к нему, – ни с места! Так. Отвечай теперь: чего ты входил смотреть?

– Если таперича вам есть что мне приказать, то мое дело исполнить, – отвечал он, опять-таки помолчав, тихо и размеренно сюсюкая, подняв брови и спокойно перегнув голову с одного плеча на другое, – и все это с ужасающим спокойствием.

– Не об этом, не об этом я тебя спрашиваю, палач! – закричал я, трясясь от злобы. – Я скажу тебе, палач, сам, для чего ты приходишь сюда: ты видишь, что я не выдаю тебе жалованья, сам не хочешь, по гордости, поклониться – попросить, и для того приходишь с своими глупыми взглядами меня наказывать, мучить, и не подозр-р-реваешь ты, палач, как это глупо, глупо, глупо, глупо, глупо!

Он было молча опять стал повертываться, но я ухватил его.

– Слушай, – кричал я ему. – Вот деньги, видишь; вот они! (я вынул их из столика) все семь рублей, но ты их не получишь, не па-алучишь, до тех самых пор, пока не придешь почтительно с повинной головой, просить у меня прощения. Слышал!

– Быть того не может! – отвечал он с какою-то неестественною самоуверенностью.

– Будет! – кричал я, – даю тебе честное слово мое, будет!

– И не в чем мне у вас прощения просить, – продолжал он, как бы совсем не замечая моих криков, – потому вы же обозвали меня «палачом», на чем я с вас могу в квартале всегда за обиду просить.

– Иди! Проси! – заревел я, – иди сейчас, сию минуту, сию секунду! А ты все-таки палач! палач! палач! – Но он только посмотрел на меня, затем повернулся и, уже не слушая призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь.

«Если б не Лиза, не было б ничего этого!» – решил я про себя. Затем, постояв с минуту, важно и торжественно, но с медленно и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширмы.

– Аполлон! – сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь, – сходи тотчас же и нимало не медля за квартальным надзирателем!

Он было уж уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить. Но, услышав мое приказанье, вдруг фыркнул со смеху.

– Сейчас, сию минуту иди! – иди, или ты и не воображаешь, что будет!

– Подлинно вы не в своем уме, – заметил он, даже не подняв головы, так же медленно сюсюкая и продолжая вдевать нитку. – И где это видано, чтоб человек сам против себя за начальством ходил? А касательно страху, – напрасно только надсажаетесь, потому – ничего не будет.

– Иди! – визжал я, хватая его за плечо. Я чувствовал, что сейчас ударю его.

Но я и не слыхал, как в это мгновение вдруг дверь из сеней тихо и медленно отворилась и какая-то фигура вошла, остановилась и с недоумением начала нас разглядывать. Я

взглянул, обмер со стыда и бросился в свою комнату. Там, схватив себя обеими руками за волосы, я прислонился головой к стене и замер в этом положении.

Минуты через две послышались медленные шаги Аполлона.

– Там *какая-то* вас спрашивает, – сказал он, особенно строго смотря на меня, потом посторонился и пропустил – Лизу. Он не хотел уходить и насмешливо нас рассматривал.

– Ступай! ступай! – командовал я ему потерявшись. В эту минуту мои часы принатужились, прошипели и пробили семь.

IX

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!
Из той же поэзии.

Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого, ватного халатишки, – ну точь-в-точь, как еще недавно, в упадке духа, представлял себе. Аполлон, постояв над нами минуты две, ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась, до того, что я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется.

– Садись, – сказал я машинально и придвинул ей стул воз-

ле стола, сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожидания и привела меня в бешенство, но я сдержал себя.

Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному, а она… И я смутно почувствовал, что она дорого мне *за все это заплатит*.

– Ты меня застала в странном положении, Лиза, – начал я, заикаясь и зная, что именно так-то и не надо начинать.

– Нет, нет, не думай чего-нибудь! – вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела, – я не стыжусь моей бедности… Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден… Можно быть бедным и благородным, – бормотал я. – Впрочем… хочешь чаю?

– Нет… – начала было она.

– Подожди!

Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться.

– Аполлон, – зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, остававшиеся все время в моем кулаке, – вот твое жалованье; видишь, я выдаю; но зато ты должен спасти меня: немедленно принеси из трактира чаю и десять сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека! Ты не знаешь, какая это женщина… Это – все! Ты, может быть, что-нибудь думаешь… Но ты не знаешь, какая это женщина!..

Аполлон, уже усевшийся за работу и уже надевший опять очки, сначала, не покидая иглы, молча накосился на деньги; потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую все еще вдевал. Я ждал минуты три, стоя перед ним, с сложенными a la Napoleon руками. Виски мои были смочены потом; сам я был бледен, я чувствовал это. Но, слава Богу, верно ему стало жалко, смотря на меня. Кончив с своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и, наконец, спросив меня через плечо: взять ли полную порцию? медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой: не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет.

Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали.

– Я убью его! – вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы.

– Ах, что вы это! – вскричала она, вздрогнув.

– Я убью его, убью его! – визжал я, стуча по столу, совершенно в исступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении.

– Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня. Он мой палач… Он пошел теперь за сухарями; он…

И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний; но я уж их не мог

удержать. Она испугалась.

– Что с вами! что это с вами! – вскрикивала она, суетясь около меня.

– Воды, подай мне воды, вон там! – бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, *представлялся*, чтоб спасти приличия, хотя припадок был и действительный.

Она подала мне воды, смотря на меня, как потерянная. В эту минуту Аполлон внес чай. Мне вдруг показалось, что этот обыкновенный и прозаический чай ужасно неприличен и мизерен после всего, что было, и я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас.

– Лиза, ты презираешь меня? – сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает.

Она сконфузилась и не сумела ничего ответить.

– Пей чай! – проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется. Чтоб отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. «Она же всему причиною», – думал я.

Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе; мы до него не дотрогивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтоб этим отяготить ее еще

больше; ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости и в то же время никак не мог удержать себя.

– Я оттуда… хочу… совсем выйти, – начала было она, чтобы как-нибудь прервать молчанье, но, бедная! именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому, и без того глупому, как я, человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на ее неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость; даже еще подзадорило меня еще более: пропадай все на свете! Прошло еще пять минут.

– Не помешала ли я вам? – начала она робко, чуть слышно, и стала вставать.

Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался.

– Для чего ты ко мне пришла, скажи ты мне, пожалуйста? – начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось все разом высказать, залпом; я даже не заботился, с чего начинать.

– Зачем ты пришла? Отвечай! Отвечай! – вскрикивал я, едва помня себя. – Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда *жалкие слова* говорил. Ну вот ты и разнежилась и опять тебе «жалких слов» захо-

телось. Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой. И теперь смеюсь. Чего ты дрожишь? да, смеялся! Меня перед тем оскорбили, за обедом вот те, которые тогда передо мной приехали. Я приехал к вам с тем, чтоб исколотить одного из них, офицера; но не удалось, не застал; надо же было обиду на ком-нибудь выместить, свое взять, ты подвернулась, я над тобой и вылил зло и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить; меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать… Вот что было, а ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? ты это думала? Ты это думала?

Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей; но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить, губы ее болезненно искривились; но как будто ее топором подсекли, упала на стул. И все время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм, цинизм моих слов придавил ее…

– Спасать! – продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате, – от чего спасать! Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе рацеи-то читал: «А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать?» Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей – вот чего надо мне было тогда! Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я дрянь, перепугался и черт

знает для чего дал тебе сдуру адрес. Так я потом, еще домой не дойдя, уж тебя ругал на чем свет стоит за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал. Потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй. Я вот дрожал эти три дня от страха, что ты придешь. А знаешь, что все эти три дня меня особенно беспокоило? А то, что вот я тогда героем таким перед тобой представился, а тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатишке, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности; так знай же, что стыжусь, больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка, на Аполлона. Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая, лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним! И слез давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу! И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда *те-*

бе не прощу! Да, – ты, одна ты за все это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочной, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые, черт знает отчего, никогда не конфузятся; а вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать – и это моя черта! Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь! И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике!.. Чего ж тебе еще? Чего ж ты еще, после всего этого, торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь?

Но тут случилось вдруг странное обстоятельство.

Я до того привык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив.

Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда же я стал называть себя подлецом и мерзавцем и полились мои слезы (я прогово-

рил всю эту тираду со слезами), все лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать, остановить меня; когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание: «Зачем ты здесь, зачем не уходишь!» – а на то, что мне, должно быть, очень тяжело самому было все это выговорить. Да и забитая она была такая, бедная; она считала себя бесконечно ниже меня; где ж ей было озлиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и, вся стремясь ко мне, но все еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки… Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало…

– Мне не дают… Я не могу быть… добрым! – едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии.

Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот (я ведь омерзительную правду пишу), лежа ничком на диване, накрепко, и уткнув лицо в дрянную кожаную подушку мою, я начал помаленьку, издалека, невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза. Чего мне было стыдно? – не знаю, но мне было стыдно. Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а

я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь, – четыре дня назад… И все это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване!

Боже мой! да неужели ж я тогда ей позавидовал?

Не знаю, до сих пор еще не могу решить, а тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить… Но… но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следственно, и рассуждать нечего.

Я, однакож, преодолел себя и приподнял голову; надобно ж было когда-нибудь поднять… И вот, я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство… чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее и как меня влекло к ней в эту минуту! Одно чувство усиливало другое. Это походило чуть не на мщение!.. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение. Она восторженно и горячо обняла меня.

X

Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении по комнате, поминутно подходил к ширмам и в

щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив на кровать голову и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно, но… нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением, и что к давешней моей, почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже *личная, завистливая* к ней ненависть… А впрочем, не утверждаю, чтоб она это все поняла отчетливо; но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее.

Я знаю, мне скажут, что это невероятно, – невероятно быть таким злым, глупым, как я; пожалуй, еще прибавят, невероятно было не полюбить ее или по крайней мере не оценить этой любви. Отчего же невероятно? Во-первых, я и полюбить уж не мог, потому что, повторяю, любить у меня – значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от «живой жизни» отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее

тем, что она пришла ко мне «жалкие слова» слушать; а и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате и в щелочку заглядывал за ширмы. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтоб она исчезла. «Спокойствия» я желал, остаться один в подполье желал. «Живая жизнь» с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно.

Но прошло еще несколько минут, а она все еще не подымалась, как будто в забытьи была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтоб напомнить ей… Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то… Через две минуты она медленно вышла из-за ширмы и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно, для приличия, и отворотился от ее взгляда.

– Прощайте, – проговорила она, направляясь к двери.

Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее, вложил… и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорей в другой угол, чтоб не видеть по крайней мере…

Я хотел было сию минуту солгать, – написать, что я сде-

лал это нечаянно, не помня себя, потерявшись, сдуру. Но я не хочу лгать и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее… со злости. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал взад и вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот что я наверно могу сказать; я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, *книжная*, что я сам не выдержал даже минуты, – сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Я отворил дверь в сени и стал прислушиваться.

– Лиза! Лиза! – крикнул я на лестницу, но несмело, вполголоса…

Ответа не было, мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступенях.

– Лиза! – крикнул я громче.

Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело с визгом отворилась тугая, наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице.

Она ушла. Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было.

Я остановился у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуту, вдруг я весь вздрогнул: прямо перед собой, на столе, я увидал… одним словом, я увидал смятую синюю пятирублевую бумажку, ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке.

Это была *та* бумажка; другой и быть не могло; другой и в доме не было. Она, стало быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол.

Что ж? я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет. Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я, как безумный, бросился одеваться, накинул на себя что успел впопыхах и стремглав выбежал за ней. Она и двухсот шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу.

Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никакого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я отбежал шагов двести до перекрестка и остановился.

«Куда пошла она? и зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении! Я и хотел этого; вся грудь моя разрывалась на части, и никогда, никогда не вспомяну я равнодушно эту минуту. Но – зачем? – подумалось мне. – Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве дам я ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять, в сотый раз, цены себе? Разве я не замучу ее!»

Я стоял на снегу, всматриваясь в мутную мглу, и думал об этом.

«И не лучше ль, не лучше ль будет, – фантазировал я уже

дома, после, заглушая фантазиями живую сердечную боль, – не лучше ль будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление, – да ведь это очищение; это самое едкое и больное сознание! Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда, и как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает, – оскорбление возвысит и очистит ее… ненавистью… гм… может, и прощением… А, впрочем, легче ль ей от всего этого будет?»

А в самом деле: вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос: что лучше, – дешевое ли счастие, или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше?

Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли. Никогда я не выносил еще столько страдания и раскаяния; но разве могло быть хоть какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой? Никогда больше я не встречал Лизу и ничего не слыхал о ней. Прибавлю тоже, что я надолго остался доволен *фразой* о пользе от оскорбления и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не заболел тогда от тоски.

Даже и теперь, через столько лет, все это как-то слишком *нехорошо* мне припоминается. Многое мне теперь нехорошо припоминается, но… не кончить ли уж тут «Записки»? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере мне было стыдно, все время как я писал эту *повесть*: ста-

ло быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, – ей-богу, не интересно; в романе надо героя, а тут *нарочно* собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы… да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: «Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры[10] в подполье, а не смейте говорить: «*все мы*». Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим *всемством*. Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил

[10] Мизеры (*фр.* – misères) – несчастья.

в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще «живее» вас выхожу. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся, – не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся, – человеками с настоящим, *собственным* телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно; не хочу я больше писать «из Подполья»…

Впрочем, здесь еще не кончаются «записки» этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться.

Рассказы

Петербургские сновидения в стихах и прозе

– О, да будет проклята навеки моя должность – должность фельетониста!..

Не беспокойтесь, господа, это не я восклицаю! Признаюсь, что такое начало было бы слишком эксцентрично для моего фельетона. Нет, я так не воскликну, но до приезда моего в Петербург я решительно был уверен, что каждый петербургский фельетонист, принимаясь за перо, чтоб строчить свой еженедельный или ежемесячный фельетон, непременно должен так воскликнуть, садясь за письменный стол. В самом деле, рассудите, о чем писать? Приехала, например, Ристори, и вот – всё что ни есть фельетонистов тотчас же строчит во всех фельетонах, во всех газетах и журналах, с направлением и без направления, одно и то же: Ристори, Ристори, – Ристори приехала, Ристори играет; она в «Камме», – тотчас же «Камма», «Камма», что ни развернете, везде «Камма»; в «Марии Стуарт», – тотчас же «Стуарт», «Стуарт» и т. д. Так и рвут друг у друга новости! А всего досаднее то, что они действительно воображают, что это новости. Возьмешь газету, читать не хочется: везде одно и то же, уныние нападает на вас, и только согласишься, что много надо иметь хитрости, пронырливости, рутинной набивки руки и мысли, чтоб об одном и том же сказать хоть и одно и то

же, но как-нибудь не в тех же словах. И теребят свой умишко несчастные и проклинают свою участь. И сколько, может быть, драм, даже чего-нибудь трагического происходит где-нибудь в сыром углу в пятом этаже, где в одной комнате помещается целая семья, голодная и холодная, а в другой сидит фельетонист, дрожит в продранном халатишке и пишет фельетон a la Новый Поэт о камелиях, устрицах и приятелях, теребит свои волосы, грызет перо, и всё это при обстановке совершенно не фельетонной. Но я увлекся; может быть, и ни одного такого нет фельетониста в Петербурге. Может быть, они все ездят в каретах и питаются страсбургскими пирогами… Но что? Ужели фельетон есть только перечень животрепещущих городских новостей? Кажется бы, на всё можно взглянуть своим собственным взглядом, скрепить своею собственною мыслию, сказать свое слово, *новое слово*. Но боже мой! что вы говорите! Новое слово. Да разве каждый день можно говорить по новому слову, когда во всю жизнь, пожалуй, его не добьешься, а и услышишь, так еще и не узнаешь. Скрепить своею мыслию, говорите вы. Но какою же своею мыслью, где взять свою мысль? Отступите хоть на йоту от мыслей антрепренера, он тотчас же откажет вам и вышлет из журнала. Ну да положим, мысль и будет, но оригинальность, но оригинальность, – где ее-то взять? Мысль ведь это все-таки не ваша. На это надо… да, на это надо ума, прозорливости, таланта! Слишком много вы хотите уж требовать от нашего фельетониста! А знаете ли, что такое иногда фельe-

тонист (разумеется, иногда, а не всегда)? Мальчик, едва оперившийся, едва доучившийся, а часто и не учившийся, которому кажется, что так легко писать фельетон: «Он без плана, думает он, это не повесть, пиши о чем хочешь, тут посмейся, там отзовись с известного рода уважением, тут про Ристори, там про добродетель и нравственность, а там про безнравственность, про взятки например, уж непременно про взятки, и готов фельетон. Ведь мысли теперь продаются совершенно готовые, на лотках, как калачи. Составился бы только печатный лист, да и дело с концом!» Иному современному строчиле (вольный перевод слова «фельетонист») и в голову не приходит, что без жара, без смысла, без идеи, без охоты – всё будет рутиной и повторением, повторением и рутиной. Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век – это… это почти главное дело. Вольтер всю жизнь писал только одни фельетоны… Но боже мой! что я! ведь я сам пишу фельетон. Куда я заехал? Новостей! новостей!

О господа! Мне до того надоели все новости, что я не понимаю, как еще вас от них не тошнит. Вот, например, случилось что-нибудь с Андрей Александровичем! Боже мой! Целые стаи фельетонистов налетают со всех сторон, как хищные птицы на павшую корову. Каждый хватает свой клочок, все клюют, клюют, щебечут, кричат, дерутся, как воробьи, когда они целыми тучами вдруг быстро перелетают с одного плетня на другой. Не в том дело, что они кричат: ведь и об Андрей Александровиче можно сказать, наконец, хоть что-

нибудь путное, ну, хоть занимательное. Не в том дело, а в том… но, господа, позвольте не договаривать в чем. Даже и об Андрее Александровиче не хочется говорить; переменим матерью, поговорим о другом.

Я думаю так: если б я был не случайным фельетонистом, а присяжным, всегдашним, мне кажется, я бы пожелал обратиться в Эженя Сю, чтоб описывать петербургские тайны. Я страшный охотник до тайн. Я фантазер, я мистик, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то всё боялся его. Помню одно происшествие, в котором почти не было ничего особенного, но которое ужасно поразило меня. Я расскажу вам его во всей подробности; а между тем, оно даже и не происшествие – просто впечатление: ну ведь я фантазер и мистик!

Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов… Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего зву-

ка, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование… Скажите, господа: не фантазер я, не мистик я с самого детства? Какое тут происшествие? что случилось? Ничего, ровно ничего, одно ощущение, а прочее всё благополучно. Если б я не побоялся оскорбить деликатность мыслей г-на – бова, я бы прописал себе тогда в виде лекарства – розог, так, за мрачное направление… О, вижу, вижу, как встает передо мной тучный образ покойного Фаддей Венедиктовича.

О, с каким наслаждением подхватил бы он в субботнем фельетоне мою фразу о розгах.

«Вот, смотрите, читатели и милые читательницы! – восклицал бы он четыре субботы сряду, – сами признаются, что им надобно розог. Я по крайней мере написал “Выжигина”, а они…» и т. д., и т. д. Но я надеюсь, что Новый Поэт, наследовавший популярность Фаддея Венедиктовича четырнадцатилетним служением искусству, не пропишет мне розог.

И вот с тех пор, с того самого видения (я называю мое ощущение на Неве видением) со мной стали случаться всё такие странные вещи. Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Гляндeнингом из романа «Монастырь» Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я… я… служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю… и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую

Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, тут же за ширмами. Мы жили тогда все в углах и питались ячменным кофеем. За ширмами жил некий муж, по прозвищу Млекопитаев; он целую жизнь искал себе места и целую жизнь голодал с чахоточной женою, с худыми сапогами и с голодными пятерыми детьми. Амалия была старшая, звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей, ну да пусть она так и останется для меня навеки Амалией. И сколько мы романов перечитали вместе. Я ей давал книги Вальтер Скотта и Шиллера; я записывался в библиотеке у Смирдина, но сапогов себе не покупал, а замазывал дырочки чернилами; мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай и… расчувствовались так, что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. Она мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила мои две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть – вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, добрая, кроткая, с затаенными мечтами и с сдавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал; даже, может быть, замечал, но… мне приятно было читать «Kabale und Liebe»[11] или повести Гофмана. И какие мы были тогда чистые, непорочные! Но Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу, жившего

[11] «Коварство и любовь» (*нем.*).

некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и… непроходимую бедность. У него всего имения было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу». Я даже подозреваю, что будь у него кошка, которую нельзя было принять за куницу, то он, может, и не решился б жениться, а еще подождал. Помню, как я прощался с Амалией: я поцеловал ее хорошенькую ручку, первый раз в жизни; она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась, так странно, так странно, что эта улыбка всю жизнь царапала мне потом сердце. И я опять как будто немного прозрел… О, зачем она так засмеялась, – я бы ничего не заметил! Зачем всё это так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях! Теперь я с мучением вспоминаю про всё это, несмотря на то, что женись я на Амалии, я бы, верно, был несчастлив! Куда бы делся тогда Шиллер, свобода, ячменный кофе, и сладкие слезы, и грезы, и путешествие мое на луну… Ведь я потом ездил на луну, господа.

Но бог с ней, с Амалией. Только что я сам обзавелся квартирой и смиренным местечком, самым, самым смиренным из всех местечек на свете, мне стали сниться какие-то другие сны… Прежде в углах, в Амальины времена, жил я чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носившим шинель с воротником из кошки, которую можно было всегда принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице. И

вдруг, оставшись один, я об этом задумался. И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. И если б собрать всю ту толпу, которая тогда мне приснилась, то вышел бы славный маскарад… Теперь, теперь дело другое. Теперь мне снится, пожалуй, хоть и то же, но в других лицах, хотя и старые знакомые стучатся иногда в мою дверь. Приснилось мне недавно вот что: жил-был один чиновник, разумеется в одном департаменте. Ни протеста, ни голоса в нем никогда не бывало; лицо вполне безгрешное. Белья на нем почти тоже не было; вицмундир перестал исполнять свое назначение. Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю, и когда, бывало, возвращаясь из должности к себе на Петербургскую, он попадал на Невский, то, наверное, на Невском никогда не являлось существа покорнее и безответнее, так что даже кучер, хлестнувший его один раз кнутиком, так, из ласки, когда он пере-

бегал через нашу великолепную улицу, почти подивился на него, потому что он даже не поворотил к нему головы, не то чтобы выругал. Дома у него была старая тетка, родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. И когда все дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отвечал ни слова, писал казенные бумаги или упорно молчал, опустя глаза в землю и что-то пришептывая, как будто замаливал у Господа свои прегрешения. Терпения не стало наконец ни у матери, ни у детей. Они жили в мезонине деревянного домика, половина которого уже обвалилась, а другая обваливалась. И когда слезы, попреки и терзанья дошли наконец до последней степени, бедняк вдруг поднял голову и проговорил, как Валаамов осел, но проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же войти ему в голову, что он – Гарибальди! Да! все чиновники, его сослуживцы, показали, что он уже две недели заботился об этом; вычитал он что-то случайно в подвернувшейся на столе газете. Никогда-то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться, расспрашивать всё о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об испанских… И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей. Сознав в себе свое преступление, он дрожал день и ночь. Ни стоны жены, ни слезы детей, ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Нев-

ском ногу, ни ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбудившая всеобщий смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо – ничто, ничто уже более не занимало его. Весь Божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его. Он одно только видел везде и во всем: свое преступление, свой стыд и позор. Что скажет их превосходительство, что скажет сам Дементий Иваныч, начальник отделения, что скажет, наконец, Емельян Лукич, что скажут они, они все… Беда! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: виноват, дескать, сознаюсь во всем, я – Гарибальди, делайте со мной что хотите!.. Ну, и сделали с ним… что надо было сделать. Когда мне приснился этот сон, я сам засмеялся над собою и над странностью моих снов. И вдруг – сон в руку. Как вам нравится, господа: вычитал я недавно из газет опять одну тайну. Действительно тайну; в газетах напечатано и истолковано, а все-таки тайну. Открылся вдруг новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, на грудах золота. Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова, был некто отставной титулярный советник Соловьев, имевший около восьмидесяти лет от роду. Он нанимал себе угол за ширмой за три рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квартиру во-вре-

мя не платил, оставшись после смерти должен за целый год. В течение этого года новый Плюшкин постоянно был болен, страдал одышкою и грудным расстройством и ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу. Он отказывал себе в свежей пище, даже в последние дни своей жизни. После смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в его бумагах 169 022 р<убля> с<еребром> кредитными билетами и наличными деньгами. Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент Управы благочиния, а тело умершего подлежит вскрытию…

Я раздумывал об этом происшествии и приближался к Гостиному двору. Становился вечер; в магазинах, за цельными, слегка запотевшими стеклами, загорелся газ. Рысаки и офицеры летели по Невскому; тяжело хрустя по снегу, неслись блестящие кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменными лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувшей сквозь снег камень; по тротуарам валили прохожие… был канун Рождества… И вот передо мною в толпе мелькнула какая-то фигура, не действительная, а фантастическая. Я ведь никак не могу отказаться от фантастического настроения. Еще в сороковых годах меня называли и дразнили фантазером. Тогда, впрочем, я не пролез в одну щелочку. Теперь, разумеется, – седина, житейская опытность и т. д., и т. д., а между тем я все-таки остался фантазером. Фигура, скользнувшая передо мною, была в

шинели на вате, старой и изношенной, которая непременно служила хозяину вместо одеяла ночью, что видно было даже с первого взгляда. Исковерканная шляпа, с обломанными полями, сбивалась на затылок. Клочки седых волос выбивались из-под нее и падали на воротник шинели. Старичок подпирался палкой. Он жевал губами и, глядя в землю, торопился куда-то, вероятно к себе домой. Дворник, сгребавший с тротуара снег, нарочно подбросил прямо на его ноги целую лопату; но старичок этого даже и не заметил. Поровнявшись со мной, он взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и силы, точно предо мной приподняли веку у мертвеца, и я тотчас догадался, что это тот самый Гарпагон, который умер с полмиллионом на своих ветошках и ходил в Максимилиановскую лечебницу. И вот (у меня воображение быстрое) передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского Скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев лицо колоссальное. Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за ширмы. Что ему во всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт? Что ему за дело до этих лиц, до этих лакеев, сидящих на каретах, до этих господ и госпож, сидящих внутри карет; до этих господ, катающихся на рысаках, и до этих господ, бредущих пешком, до этих очаровательных молодых людей, на лицах которых написана ненасытная жажда камелий и рублей серебром?.. Что ему за дело до этих камелий, Минн и Арманс?.. Нет; ничего

ему не надо, у него всё это есть, – там, под его подушкой, на которой наволочка еще с прошлого года. Пусть с прошлого года: он свистнет, и к нему послушно приползет всё, что ему надо. Он захочет, и многие лица осчастливят его внимательной улыбкой. Вот вино – оно бы согрело его кровь; оно бы помогло ему, и даже недорогое вино… Не надо ему никакого. Он выше всех желаний… Но когда я фантазировал таким образом, мне показалось, что я хватил не туда, что я обкрадываю Пушкина, и дело происходило совсем другим образом. Нет, это было, верно, не так. Лет шестьдесят назад Соловьев, верно, где-нибудь служил; был молод, юн, лет двадцати. Может быть, и он тоже имел увлечения, разъезжал на извозчиках, знал какую-нибудь Луизу и ходил в театр смотреть «Жизнь игрока». Но вдруг с ним что-нибудь случилось такое, как будто подталкивающее под локоть, – одно из тех происшествий, которые в один миг изменяют всего человека, так что он даже сам того не заметит. Может быть, с ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то. И вот Акакий Акакиевич копит гроши на куницу, а он откладывает из жалованья и копит, копит на черный день, неизвестно на что, но только не на куницу. Он иногда и дрожит, и боится, и закутывается воротником шинели, когда идет по улицам, чтоб не испугаться кого-нибудь, и вообще смотрит так, как будто его сейчас распекли. Проходят годы, и вот он пускает с успехом гроши свои в рост, по мелочам, чиновникам и кухаркам, под

вернейшие заклады. Копится сумма, а он робеет и робеет всё больше и больше. Проходят десятки лет. У него уже таятся заклады тысячные и десятитысячные. Он молчит и копит, всё копит. И сладостно, и страшно ему, и страх всё больше и больше томит его сердце, до того, что он вдруг осуществляет свои капиталы и скрывается в какой-то бедный угол. Он держал было сначала у себя, в заплесневелой квартире своей, со стенами под желтой краской, кухарку и кошку; кухарка была глупа, но честная от глупости. А он всё ее бранил и корил; ел картофель, пил цикорий, – и поил им кухарку, безответную и послушную. Мясо покупал он только для кошки, в месяц по фунту, и она от этого страшно мяукала, и когда мяукала и жалобно смотрела в его глаза, прося говядинки, и терлась около него, подняв хвост строкою, он гладил ее, называл ее Машей, а говядинки все-таки не давал. Всё богатство его состояло в стенных часах, с гирями на веревках, и от нечего делать он посматривал на эти часы, как будто интересуясь, который час. Но околела кошка, за кухаркой прислал муж из деревни, часы давно уже стали и развалились. Старичок остался один, осмотрелся, пожевал губами и продал за два гроша на толкучий свои три провалившиеся стула, ломберный стол, с которого он давно уже придумал содрать сукно, чтоб употребить его на внутреннюю подкладку халата, но не употребил, а, пожевав губами, бережно сложил и спрятал в свой узелок. Продал он и часы и – отправился проживать по углам. По углам, за ширмами он спал, ел картофель, умень-

шая каждый день его количество, трепетал и боялся, не доплачивал денег и, не заплатив, переезжал в другие углы, чтоб не заплатить потом и там. И сколько раз, может быть, бедная немка, его хозяйка, в папильотках и грязная, приставала к нему, чтоб он отдал ей хоть один грош своего долгу. Он только ахал и охал, говорил ей о благочестии, о долготерпении и милосердии, крестил себе рот и засыпал тревожно и с дрожью, чтоб кто-нибудь не узнал его тайны, чтоб хозяйка не проведала… И зачем он ходил в Максимилиановскую лечебницу! Зачем ему было лечиться? Для чего ему была жизнь? И предчувствовал ли он, что все его полмиллиона поступят на хранение в Управу благочиния? Впрочем, его тело хотели вскрывать, увериться, что он был сумасшедший. Мне кажется, что вскрытием не разъясняются подобные тайны. Да и какой он был сумасшедший!

Я вошел в Гостиный двор. Под арками кишела толпа людей, сквозь которую даже трудно было пробиться. Всё это покупало и запасалось на праздники. Под арками же преимущественно продавались игрушки и стояли готовые елки всех сортов, и бедные и богатые. Пред грудой игрушек стояла одна толстая дама с лорнетом и с лакеем в какой-то невозможной ливрее. Даму сопровождал курносый и чрезвычайно потертый молодой человек. Дама щебетала и выбирала игрушки; в особенности ей понравилась фигурка в синем мундире и красных панталонах.

– C'est un Zouave, c'est un Zouave, – пищала дама, – voyez,

Victor, c'est un Zouave; car enfin il a… enfin c'est rouge; c'est un Zouave![12]

И дама с восторгом купила зуава.

Недалеко от них, у другого вороха игрушек, в толпе покупателей стояли господин и госпожа и долго выбирали, что бы купить, чтоб и хорошо было и подешевле. Последнее, кажется, очень занимало господина.

– Посмотри, душенька, ведь щелкает, – говорил он своей подруге жизни, показывая ей деревянную пушечку, которая действительно щелкала. – Смотри, видишь – щелкает!

И господин несколько раз щелкнул перед глазами своей озабоченной барыни. Но той хотелось игрушку получше; она с недоумением смотрела на пушку.

– Лучше бы вот хоть эту куклу, – сказала она, безнадежно указав на нее пальцем.

– Эту куклу? гм… – проговорил господин. – Отчего же, душенька, смотри – ведь щелкает?

Его нахмуренное раздумье, серьезное, озабоченное каждым гривенником лицо свидетельствовало, что деньги доставались ему не даром. Он не решался и, с нахмуренным видом, молча, продолжал щелкать из пушечки. Я не знаю, что они купили. Я продолжал пробираться сквозь толпу, преследуемый памятью Шиллера, продаваемою мальчишками, к которой присоединился теперь и Виктор-Эммануил. Изред-

[12] Это зуав, это зуав, посмотрите, Виктор, это зуав; ведь у него… ведь это же красное; это зуав! (фр.)

ка в толпе слышался робкий голос ребенка, украдкою просившего милостыню.

– Милостивый государь, извините, что осмеливаюсь вас беспокоить…

Я оглянулся. За мною следовал один господин, в форменном пальто, которого я подозреваю выгнанным из службы. Иначе быть не может. Они все ходят потом в форменных пальто, особенно бывшие под судом. Это господин вершков девяти росту, с виду лет тридцати пяти и родной братец Ноздреву и поручику Живновскому, в фуражке с красным околышком, с отвратительно свежим цветом лица и с необыкновенно тщательно выбритою физиономией, до того открытой и «благородной», что при взгляде на нее у вас рождалось непреодолимое желание плюнуть прямо в эту физиономию. Я его знаю; он уже мне не раз встречался на улице.

– Преследуем несчастьем. Сам давал по пятнадцати целковых нуждавшимся. Милостивый государь… с вашей стороны… если смею надеяться…

Не одного этого господина, дававшего по пятнадцати целковых нуждавшимся (надо было бы узнать, сколько *он* содрал с других нуждавшихся?), я встречал на петербургских улицах. Или мое такое несчастье, или я имею какое-нибудь особенное свойство на них натыкаться. Я помню еще одного господина, тоже в форменном сером пальто, необыкновенно чистом и новом, с великолепнейшими бакенбардами и с благородством лица неизобразимым. Это лицо сияло здоро-

вьем, белые руки блестели чистотою. Он придрался ко мне на немецком языке, вероятно, чтоб не компрометировать себя перед «публикой»; я не знал, как отстать от него. Такого бесстыдства я никогда еще не встречал… А какие бы из всех этих попрошаек вышли славные накатчики насосов или работники на железных дорогах! что за сила, что за здоровье! Но – благородство препятствует! И какие, должно быть, они были в свое время дантисты…

Но встреча с пальто отвратительно благородной наружности напомнила мне другую встречу летом, в августе месяце. В тот день я имел две встречи; одна из них произвела на меня премиленькое впечатление. Я проходил по Фонтанке мимо одного барского дома. У подъезда стояла щегольская двуместная карета. Вдруг швейцар отворил двери, и из них вышла молодая и изящная парочка. Дама, одетая пышно и богато; прехорошенькая и премолоденькая, порхнула в карету, за нею вскочил господин, еще очень молодой человек, в блестящем военном мундире, и только что лакей успел захлопнуть дверцы, молодой человек впился поцелуем в губки хорошенькой дамочки, которая с наслаждением приняла его ласку. Я разглядел всю эту мгновенную сцену сквозь стекло кареты. Они меня не приметили; карета рванулась, а я расхохотался, стоя на тротуаре. Не было сомнения, что это «молодые», делавшие визиты. Супруги после медового месяца в каретах не целуются.

Часов в пять пополудни того же дня я проходил по Возне-

сенскому проспекту. Вдруг я услышал за собой робкий, слабый голос; я обернулся – передо мной стоял мальчик лет двенадцати или тринадцати, с миленьким и добрым личиком, смотревший на меня просящим и стыдливым взглядом. Он что-то говорил, но голос его прерывался и немного дрожал. Одет он был бедно, но очень чисто, в летнем легком пальто, в фуражке, но в довольно худых сапогах. Старенький шелковый галстучек был аккуратно повязан у него на шее. По всему было видно, что он принадлежал к семейству бедному, но честному и видавшему лучшие дни. И видно было, что этот галстух повязала ему сама маменька или старшая сестрица. Воротнички его довольно толстой рубашки были очень чисты. Манеры мальчика были просты и вежливы. В усталом лице его было много благородного, искреннего выражения.

– Извините меня, что я вас беспокою, – сказал он. – Будьте так добры, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь… – Проговорив это, он слегка покраснел.

Я отступил на шаг от удивления. Так странною показалась мне его просьба.

– Но кто же вы? – проговорил я в недоумении, – и как это вы… просите. Я, право, не ожидал.

– Меня утром послали папенька и маменька к нашим родным на Петербургскую сторону. Они думали, что я там могу обедать. Но там… я не мог обедать, долго ждал и теперь иду домой; я очень устал, и мне очень хочется есть…

– А где вы живете?

– У Смольного монастыря… Дайте мне шесть копеек, вот тут в лавочке есть пироги, я в окошко видел; эти пироги по шести копеек, я куплю пирог и отдохну в лавочке, а там опять пойду…

К счастью, у меня в кармане был четвертак, и я отдал его бедному мальчику.

– Скажите, кто же ваши родители? – спросил я.

– Папенька сперва служил, – отвечал мальчик, – и я ходил в гимназию. Нас четверо, сестер и братьев. А как папенька нынешнего года потерял место, я уж и не хожу в гимназию; жалованья нет, и мы теперь… очень бедны…

Вся история в нескольких словах. Очень бедны, очень бедны!

Бедность, конечно, факт… ну, положим так – исключительный, спорить не будем. Ведь есть же и богатые, и достаточные люди; у них есть дети, милые, умные, воспитанные; им покупают зуавов, и зуавы, может быть, не помешают им быть очень хорошими людьми со временем… Ведь у нас чрезвычайно всё это странно; по неизвестному какому-то закону делается, а должен же быть закон; ведь по законам же действует природа и живет человек. А между тем все-таки странно. Из мужицкой семьи выходит вдруг поэт, да еще какой; из специального заведения – мыслитель! И потому я покоен за встреченного мною мальчика. Он не пропадет; жаль, конечно, его отца, но он как-нибудь приютится, найдет себе место, обойдется. Вероятно, он уже человек законченный. К

тому же ведь и не без маленьких же несчастий на земле; да и не он один, не так ли? Но все-таки невыносимо, когда – ну хоть невольно – подумаешь, сколько грустного цинизма, сколько тяжелых впечатлений вынесет этот мальчик из своего детства. И не отразится ли этот цинизм в его нравственном развитии? А если отразится, то чем? отвращением ли к этому цинизму или одним из тех примирений, которые губят душу навеки? Этот уже мальчик учился, он уже многое понимает; он краснеет и стыдится. Он честен и уже мыслил, потому что несчастие учит мыслить, да иногда и слишком рано. Что? как же отзовется ему потом его случайное нищенство? Будет ли он вспоминать этот день с отвращением и содроганием или обратится в дармоеда в отставке, в форменном пальто и с отвратительно благородной наружностью? Но… успокоимся; к чему совершенно бесполезные вопросы? Бедность всегда исключение; все живут и живут кое-как. Общество не может быть всё богато; общество не может быть без случайных несчастий. Не правда ли? Я вам даже могу рассказать одну повесть чрезвычайно оригинальной и даже очень грациозной бедности. Но эту повесть я оставлю к концу моего фельетона. Прибавлю только, что если б все были – ну хоть только богаты, то было бы крайне однообразно, к тому же бедность развивает человека, учит его иногда добродетели… не правда ли? Если б на свете везде пахло духами, то мы бы и не ценили запаха духов. О Кузьма Прутков, прими сей афоризм в число знаменитых фраз, изреченных твоею

мудростию! Но не о Кузьме Пруткове я намерен теперь говорить. Я хочу сказать два слова о нашем Новом Поэте именно по поводу бедности. Он описывает в своем последнем фельетоне безумную петербургскую роскошь и… бедность – не в Петербурге, но на Петербургской стороне, близ Смольного монастыря и вообще на оконечностях, что, как известно, уже не Петербург. Но упоминая о бедности, он извещает, что дороговизна петербургской жизни начинает возбуждать некоторые заботы в петербургцах, в людях благонамеренных и вообще в тех гражданах Петербурга, которые в состоянии что-нибудь сделать. Он приводит, например, слух об учреждении Комитета народного здравия, в котором, за исключением докторов, будут заседать представители городских сословий, фабриканты и ремесленники. Конечно, этот комитет что-нибудь скажет и будет действовать наиполезнейшим образом, да и вообще это прекрасная мысль. Мы любим комитеты и уважаем их. Посмотрите на Комитет литературного фонда: как много он сделал для пользы литераторов, с какой необыкновенной быстротой приумножает свой капитал, как деятельны все его члены, как заметна для всех их деятельность! Вот уже новый год, а уже было одно публичное чтение в пользу нуждающихся литераторов и ученых. Уже составилось, успело состояться. А ведь чтения – важная вещь. Чтения – один из главнейших доходов Литературного фонда. Сколько принесли они прошлого года денег! Кроме Комитета для народного здравия была еще речь одного инже-

нера, г-на Васильева, о которой тоже упоминает Новый Поэт и которая, впрочем, появилась особой брошюрой. Г-н Васильев излагает свой взгляд на современное состояние вопроса об улучшении Петербурга и обращает тоже внимание и на дороговизну петербургской жизни. Да, на это можно обратить внимание; это даже стоит того. Говорят, что в Петербурге нельзя теперь тратить меньше полуторы тысячи рублей серебром, а меньше тысячи для семейного человека почти уже бедность. Где же взять тысячу рублей? Конечно, если б я был Иваном Александровичем Гончаровым, я бы написал каких-нибудь полтора печатных листика, так, чего-нибудь вроде отрывка (каждая крупица высокоталантливого человека драгоценна), – и вот уж у меня и тысяча серебром. Но ведь не все же Иваны Александровичи Гончаровы!

Наконец, Новый Поэт упоминает и об мыслях г-на Лаврова в Пассаже… Ах, извините! это уже не для улучшения Петербурга. Это так, для философии. Что ж? и философия может ведь послужить к улучшению. Она украшает ум, дает ему разные мысли, ну и прочее, и всё остальное. Я вообще ужасно люблю, когда Новый Поэт говорит, например, о философии, об искусстве… и вообще про добродетель. Правда, его слова об искусстве, по поводу мыслей г-на Лаврова, немного… как бы это сказать – ну, хоть немного удивят г-на Лаврова, тем более что Новый Поэт обращается к нему с вопросом: как он об его словах думает? Но ведь нельзя же человеку знать всё, всю подноготную; судить обо всем одинако-

во удовлетворительно; ведь иногда и ошибается человек. Повторяю: не будь разнообразия, было бы очень скучно. Почему ж лишить этого разнообразия и Нового Поэта? Напротив, ему именно надо пожелать некоторого разнообразия, хотя мы все-таки читаем его с величайшим удовольствием, даже и в теперешнем виде, и, получая «Современник» – единственный русский журнал, в котором *все* статьи можно читать с любопытством, – мы всегда разрезываем прежде всего Нового Поэта и г-на – бова.

В спорах голосисты,
Смелы невпопад,
Эти публицисты
Скоро замолчат.
Будут жить для целей
Мелкой суеты, —
И опять камелий
Станешь петь нам ты.

Не соглашаюсь! Совершенно не соглашаюсь! Это стихотворение как-то случайно попалось ко мне, и я нечаянно его затвердил; но – не соглашаюсь! Конечно, всякий может иметь свои мнения. Можно не соглашаться с г-ном – бовым, но, мне кажется, я бы умер со скуки за его статьей, если б он хоть насколько-нибудь изменил характер своих указов, отдаваемых им по русской литературе:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
В статьях Дудышкина есть чары,
И поучительны от прозы до стихов
Литературные базары,
Есть упоение в софизмах Гималэ,
Есть перлы в омуте журналов,
Мил Войскобойников, сбирающий во мгле
Большую серию скандалов.
Я это всё люблю, но ты, о критик – бов,
Для сердца ты всего дороже!
Не мысля, я скажу – ты выше всех умов,
Подумая – скажу я то же.
Ты можешь критикой вознесть иль погубить,
Тобою горд журнальный лагерь,
И равный силами с тобой лишь может быть
Один Конрад Лилиеншвагер.

Но, кроме г-на – бова я люблю и Нового Поэта, даже больше, чем г-на – бова. Меня всегда возмущало, что его считают родоначальником литературных скандалов. Не верю и не хочу верить. Имя его в литературе до сих пор безукоризненно и честно. Еще давно, чуть не в детстве моем я начал читать Нового Поэта. Я всегда любил воображать наружность поэтов и прозаиков, которые произвели на меня впечатление. Но, странное дело, я никак не мог добиться увидеть портрет Нового Поэта. Я отыскивал его между портретами г-на Краевского, г-на Старчевского, вообще между портретами всех русских деятелей слова и мысли, изданных г-ном Мюнсте-

ром и которых уже издано теперь, может быть, до ста лиц, и никак не мог отыскать в их числе Нового Поэта. Но довольно о Новом Поэте. Меня еще, пожалуй, обвинят в пристрастии. Я ведь заговорил о нем, собственно, по поводу одной оды, *будто бы* написанной петербургскими камелиями; чего не сочинят праздные люди! Вот эта ода:

ОДА ПЕТЕРБУРГСКИХ КАМЕЛИЙ НОВОМУ ПОЭТУ

Золото, роскошь, уборы алмазные
Вкруг рассыпаются нас,
Ездим мы в оперы – пышные, праздные,
Всем богачам напоказ.
Жемчуг, кораллы, с нарядами редкими,
Лошади, упряжь карет —
Всё это дал нам своими «Заметками»
Новый Поэт.
Все мы – Шарлотты, Армансы, Амелии —
Прежде не знали тех благ;
Было в презрении имя камелии,
Мы утопали в долгах;
Вдруг улыбнулось нам счастье алмазами,
Принял с восторгом нас свет,
Лишь о камелиях вышел с рассказами
Новый Поэт.

Стал рисовать он с особой любовию
Невских гетер идеал.
Вспрянули старцы с вскипевшею кровию,
Круг молодежи восстал.
Золото в грудах снесли наши пленники,
Бедности минул и след.
Как подносил нам венок в «Современнике»
Новый Поэт.

Пусть враг прогресса, развития женского,
Дерзкий аскет нас клянет —
Новый Поэт от хулы Аскоченского
Юных камелий спасет.
Пусть публицист занят делом Италии,
– бов порицает весь свет, —
Вновь воспоет наши плечи и талии
Новый Поэт.

Ты, увлечен благородною целию,
Наш воспевал идеал,
И на пирах за то каждой камелией
Пит твой заздравный бокал.
Если ж стезю твою литературную
Кончишь ты в старости лет, —
Все мы почтим тебя мраморной урною,
Новый Поэт.

Шутка, милая шалость! но совершенно неправдоподобная; во-первых, ни одна из камелий не станет сочинять

стихи. Вообще все подобные произведения грешат своею неправдоподобностию, хотя тем самым становятся безобидны. Так, например, известная эпиграмма в прозе на г-на Краевского, помещенная в прошлогодней «Искре», если припомните, читатель, упоминала еще о г-не Перейре, г-не Дудышкине и сенсимонистах. Совершенно неправдоподобная эпиграмма! Кстати, о г-не Краевском: в одном из прошлогодних объявлений об издании «Отечественных записок» в шестьдесят первом году сказано, что отделом критики будут заведовать с будущего года г-да Дудышкин и Краевский. Это объявление произвело некоторый говор, как и известная статья в «Отечественных записках» – «Литература скандалов»; меня даже просили уведомить публику, что объявление о будущих критиках г-на Краевского должно считать самым важным и самым назойливым литературным скандалом за весь прошлый год. По-моему, это уже слишком сильно. Не так ли? Почему же г-ну Краевскому не написать хорошей критики? Он редактор «Энциклопедического лексикона». Он уже слишком двадцать лет издает журнал. Если он до сих пор не написал, то еще нельзя сказать, что он не напишет. А впрочем, мне кажется, что известие о будущей критической деятельности г-на Краевского не совсем справедливо. Спешу оговориться: может быть, я ошибаюсь и, во всяком случае, с нетерпением буду ждать выхода номера «Отечественных записок» с статьей почтенного редактора. Но мне все-таки кажется, что г-ну Краевскому теперь не до русской ли-

тературы; у него и без того много дела. Кроме серьезного дела, у него на плечах сорок будущих томов «Энциклопедического лексикона». Кроме «Энциклопедического лексикона», нужно поднять «Отечественные записки», сделать их поживее, посовременнее, расшевелить заснувший журнал, не то, пожалуй, не будет подписчиков… Не до литературы ему теперь!

Но несмотря на то, что ему теперь не до литературы, я, чтоб окончить о г-не Краевском, все-таки скажу, что считаю его лицом весьма полезным русской литературе, и говорю это совершенно серьезно. Если он и не писал почти ничего в продолжение всей своей литературной деятельности, то умел зато издавать журнал. Теперь это сделалось легче, но прежде было даже и очень нелегко. Журналы получили теперь у нас высокообщественное значение, и г-н Краевский, как издатель журнала, действительно, много тому способствовал. Он взглянул, между прочим, на журнал с коммерческой точки зрения (как и следовало сделать во времена г-на Краевского); в этом чувствовалась настоятельная потребность, и, положительно можно сказать, он первый придал издательскому делу серьезную деловитость коммерческого предприятия и необыкновенную аккуратность. Укажут на «Библиотеку для чтения», скажут, что она явилась прежде «Отечественных записок» и издавалась тоже с аккуратностию, неслыханною до того в русской журналистике. Сознаюсь, что первый шаг важнее всего, но зато и второй шаг имеет, может быть, со-

всем не меньшее значение. Успех первого шага объясняют иногда случайными обстоятельствами, но успех второго шага окончательно оправдывает дело. Он доказывает всем не только возможность, но и устойчивость, но и зрелость дела. Аккуратностию и точностию своего издания г-н Краевский приучил публику верить в стойкость литературных предприятий, и эта уверенность ободрила публику и размножила подписчиков. Если г-н Краевский мало сделал как литератор, то сделал довольно как общественный деятель. Ему, как аккуратнейшему из издателей, и поручили теперь издание «Энциклопедического лексикона». Но г-ну Краевскому всегда мало одной (и опять-таки чрезвычайно важной) заслуги; он объявляет, что хочет писать критики. С богом! Но если г-ну Краевскому вздумается, например, напечатать от своего имени в газетах письмо, и в этом письме он станет объяснять меру своего участия в издании «Энциклопедического лексикона», скажет, что он принял на себя всю нравственную ответственность за статьи будущего лексикона; что он будет читать статьи по всем отраслям знания – философии, естественных наук, истории, литературы, математики; что он будет исправлять, сокращать и дополнять эти статьи по мере надобности; то тогда нам простительно будет хоть подивиться. Это будет даже уж слишком неловко. Вот это-то и насмешит, вот это-то и окомпрометирует! Я думаю, если б сам Бекон издавал «Энциклопедический лексикон» с такой ответственностию, то и тот насмешил бы публику. Нельзя же

всё знать, все науки на свете! Нельзя же всё уметь делать. Шекспир был великий поэт, но построить Петра в Риме он бы не взялся. А г-н Краевский даже и не Шекспир…

Но, боже мой, куда я увлекся! Я всё забываю, что я фельетонист! Взялся за гуж – не говори, что не дюж! Надобно писать о новостях, а я пишу об «Энциклопедическом лексиконе». Новостей! новостей! А теперь к тому же самое шумное время, середина зимы, Рождество, Новый год, праздники, святки; святки! Кстати: помните ли вы стихотворение:

Перекресток, где ракитка
И стоит и спит…
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.
Кто-то крадется сторонкой,
Санки пробегут…
И вопрос раздастся звонкой:
– Как тебя зовут?

Один из петербургских мечтателей уверял меня, что тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного петербургского поэта и что будто бы в Петербурге оно должно непременно перефразироваться в такие стихи:

Переулок, где Фонтанка
Мерзлая стоит…
Против лавочки шарманка
Жалобно хрипит.

Кто-то крадется за будкой;
Фонари горят…
И вопрос раздастся чуткой:
Кто идет? – Солдат!

Это стихотворение сентиментального мечтателя. А вот стихотворение другого мечтателя, мечтателя-прогрессиста, мечтателя-деятеля, или деятельного мечтателя:

Прогресс и ум во всем в нас видны,
Все наши страсти холодны,
Мы в увлечениях солидны,
Мы в наслаждениях скромны.
За ближних мы стоим горою,
Но, чтя Вольтера и Руссо,
Мы кушать устрицы порою
Не забываем у Дюссо.
Доходных мест, больших протекций
В душе не смея разлюбить,
На чтении публичных лекций
Талант мы рады поощрить;
На пикнике, в разгаре спора,
Полиберальничать слегка,
И, быв в восторге от Сюзора,
К нему заехать с пикника.
Нас занимают виг и тори,
Рим и парламента азарт;
Мы дружно хлопаем Ристори
В «Медее», «Камме» и «Стюарт».

Нас равномерно занимает:
Как изменил свой план Кавур
И что Каткову отвечает
В «Ведомостях Московских» Тур,
Что сталось с Ицкой, нашим Крезом,
Что говорил с трибуны – бов,
И как с привозным ut'diez-ом
В последний раз пропел Кравцов.
Средь благородного собранья,
Меж танцев – толк у нас один,
Что стоит гласного изгнанья
Из всех журналов Беллюстин.
Мы признаем, что развращает
Людей невежество и тьма;
Из нас никто уж не читает
Ни Кушнерева, ни Дюма.
Служа для высших в жизни целей,
Мы все тайком со всех сторон
Содержим в роскоши камелий
И разоряем наших жен;
Проводники идей известных,
Мы о гуманности кричим,
И щедро в пользу школ воскресных
Поем и пляшем и едим.

Мы строим планы и гримасы,
Мы строим куры и дома —
И всё в пределах новой расы,
Прогресса, такта и ума.

Но бог с ними, с мечтателями! Ристори… Но все-таки прежде Ристори надо бы упомянуть о памятнике, который будет наконец воздвигнут Пушкину в саду бывшего Александровского лицея: все-таки надо бы сказать хоть о книгопродавческой теперешней деятельности, хоть о воскресных школах, которые размножаются с такой быстротою; хоть об изданиях, предпринимаемых собственно для народного чтения. Наконец, надо бы достать, хоть из-под земли, какую-нибудь особенную, интереснейшую новость, еще неизвестную или малоизвестную другим фельетонистам, чтоб пощеголять перед ними; но… но я всё это оставляю до другого раза! О памятнике я скажу подробнее, когда его воздвигнут; о книгопродавческой деятельности скажу в своем месте. О воскресных школах мы намерены поместить особенную статью; об изданиях, предпринимаемых для народного чтения, – тоже. Что же касается до новости, никому не известной, то я непременно обещаюсь ее добыть для следующего фельетона, если только меня не предупредят. Остается теперь только одна Ристори…

Но, господа, мне кажется, что вы уже столько прочли о Ристори, столько слышали о Ристори, что вам наконец надоело читать об этом. Разумеется, не надоест смотреть на Ристори, и мы вот что думаем: мы лучше наглядимся сперва на нее, во всем ее репертуаре, во всем, что она намерена играть в Петербурге, и тогда… И тогда мы дадим вам о ней подроб-

ный и окончательный отчет. Итак, и об Ристори кончено. До свидания, господа, до следующего раза. Тогда я, может быть, еще что-нибудь увижу во сне, и тогда… Но до свиданья!

Ах, боже мой, и забыл! Ведь я хотел рассказать мой сон о грациозной бедности. Ведь я обещался рассказать этот сон в конце фельетона. Но нет! я и его оставлю до будущего раза. Уж лучше всё вместе. Каков рассказ будет – не знаю, но история, уверяю вас, интересная.

Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в пассаже

справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и что из этого вышло

I

Ohè Lambert! Où est Lambert?
As-tu
vu Lambert?[13]

Сего тринадцатого января текущего шестьдесят пятого года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в Пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда (не столько по болезни, сколько из любознательности) за границу, а следовательно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей су-

[13] Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера? (*фр.*)

пруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея, – сказал он вседовольно, – осмотрим крокодила! Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами», – и с сими словами, прияв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в Пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом – в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро, – подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей! Войдя в Пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из иностранной породы какаду и, сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший, как бревно, совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства.

– Так это-то крокодил! – сказала Елена Ивановна голосом

сожаления и нараспев, – а я думала, что он… какой-нибудь другой!

Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас.

– Он прав, – шепнул мне Иван Матвеич, – ибо сознает, что он один во всей России показывает теперь крокодила.

Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеевичем, в других случаях весьма завистливым.

– Мне кажется, ваш крокодил не живой, – проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина, и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтоб преклонить сего грубияна, – маневр, столь свойственный женщинам.

– О нет, мадам, – отвечал тот ломаным русским языком и тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову.

Тогда коварное чудовище, чтоб показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопенью.

– Ну, не сердись, Карльхен! – ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.

– Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась, – еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна, – теперь он

мне будет сниться во сне.

– Но он вас не укусит во сне, мадам, – галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию слов своих, но никто из нас не отвечал ему.

– Пойдемте, Семен Семеныч, – продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне, – посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян; из них такие душки… а крокодил ужасен.

– О, не бойся, друг мой, – прокричал нам вслед Иван Матвеич, приятно храбрясь перед своею супругою. – Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает, – и остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами.

Таким образом, всё шло прекрасно и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я снача-

ла оледенел на месте; но замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборотился и – что же увидел я! Я увидел, – о боже! – я увидел Ивана Матвеича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг – и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я все время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. «Ибо, – думал я в ту роковую минуту, – что, если б вместо Ивана Матвеича случилось всё это со мной, – какова была бы тогда мне неприятность!» Но к делу. Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги; потом отрыгнув немного Ивана Матвеича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом Иван Матвеич видимо исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами: крокодил понатужился, вероятно давясь от огромности проглоченного им предмета, снова

раскрыл всю ужасную пасть свою, и из нее, в виде последней отрыжки вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеича, с отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтоб еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но не успела в своем намерении: крокодил вновь собрался с силами, глотнул – и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем – от быстроты ли и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков – заключало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул; но, спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей:

– Теперь капут нашему Ивану Матвеичу!

Не могу даже и подумать, выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжение всего процесса. Сначала, после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, повидимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами; потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал,

глядя на небо:

– О мой крокодиль, о мейн аллерлибстер Карльхен! Муттер, муттер, муттер!

На этот крик отворилась задняя дверь и показалась муттер, в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу.

Тут-то начался содом: Елена Ивановна выкрикивала, как исступленная, одно только слово: «Вспороть! вспороть!» – и бросилась к хозяину и к муттер, по-видимому, упрашивая их – вероятно, в самозабвении – кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и муттер ни на кого из нас не обращали внимания: они оба выли, как телята, около ящика.

– Он пропадиль, он сейчас будет лопаль, потому… что он проглатиль ганц чинивник! – кричал хозяин.

– Унзер Карльхен, унзер аллерлибстер Карльхен вирд штербен! – выла хозяйка.

– Мы сирот и без клеб! – подхватывал хозяин.

– Вспороть, вспороть, вспороть! – заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца.

– Он дразниль крокодиль, – зачем ваш муж дразниль крокодиль! – кричал, отбиваясь, немец, – вы заплатит, если Карльхен вирд лопаль, – дас вар мейн зон, дас вар мейн айнцигер зон!

Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанной муттер; тем не менее беспрерывно повторяемые крики Еле-

ны Ивановны: «Вспороть, вспороть!» – еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли наконец все мое внимание, так что я даже испугался… Скажу заранее – странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно: мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отмстить за погибель любезного ей Ивана Матвеича, предлагала, в виде следуемого ей удовлетворения, наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и главное, не употреблять щекотливого слова «вспороть». Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом сердце Пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой залы, где, может быть, в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию, – не только было невозможно, но даже немыслимо и с минуты на минуту могло привлечь на нас свистки образованности и карикатуры г-на Степанова. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих: вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодильную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнею частью тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтоб сохранить за собой право не заплатить за вход.

– Такое ретроградное желание, сударыня, – сказал незна-

комец, стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и устоять за порогом, – не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших…

Но он не докончил: опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростию бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего; Елена Ивановна оказалась совершенно невинною: она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеича.

– Как! ви хатит, чтоб мой крокодиль пропадиль! – завопил вбежавший опять хозяин, – нетт, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодиль!.. Мейн фатер показаль крокодиль, мейн гросфатер показаль крокодиль, мейн зон будет показать крокодиль, и я будет показать крокодиль! Все будут показать крокодиль! Я ганц Европа известен, а ви неизвестен ганц Европа и мне платит штраф.

– Я, я! – подхватила злобная немка, – ми вас не пускайт, штраф, когда Карльхен лопаль!

– Да и бесполезно вспарывать, – спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, – ибо наш милый Иван Матвеич, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в эмпиреях.

– Друг мой, – раздался в эту минуту совершенно неожиданно голос Ивана Матвеича, изумивший нас до крайности, – друг мой, мое мнение – действовать прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины.

Эти слова, высказанные твердо, с весом и выражавшие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. Но, разумеется, тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушённый, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собою глубоким оврагом, – что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках.

– Иван Матвеич, друг мой, итак, ты жив! – лепетала Елена Ивановна.

– Жив и здоров, – отвечал Иван Матвеич, – и благодаря

Всевышнего проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство; ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и неостроумно…

– Но, друг мой, не заботься об остроумии; прежде всего надобно тебя отсюда как-нибудь выковырять, – прервала Елена Ивановна.

– Ковыряйт! – вскричал хозяин, – я не дам ковыряйт крокодиль. Теперь публикум будет ошень больше ходиль, а я буду фуфциг копеек просиль, и Карльхен перестанет лопаль.

– Гот зей данк! – подхватила хозяйка.

– Они правы, – спокойно заметил Иван Матвеич, – экономический принцип прежде всего.

– Друг мой, – закричал я, – сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.

– И я тоже думаю, – заметил Иван Матвеич, – но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюхо крокодилово, а между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмет хозяин за своего крокодила? а с ним другой: кто заплатит? ибо ты знаешь, я средств не имею…

– Разве в счет жалованья, – робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал:

– Я не продавайт крокодиль, я три тысячи продавайт крокодиль, я четыре тысячи продавайт крокодиль! Теперь пуб-

ликум будет много ходиль. Я пять тысяч продавайт крокодиль!

Одним словом, он куражился нестерпимо; корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его.

– Еду! – закричал я в негодовании.

– И я! и я тоже! я поеду к самому Андрею Осипычу, я смягчу его моими слезами, – заныла Елена Ивановна.

– Не делай этого, друг мой, – поспешно прервал ее Иван Матвеич, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипычу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. – Да и тебе, мой друг, не советую, – продолжал он, обращаясь ко мне, – нечего ехать прямо с бухты-барахты; еще что из этого выйдет. А заезжай-ка ты лучше сегодня, так, в виде частного посещения, к Тимофею Семенычу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и главное, – прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш семь рублей, то передай их ему при этом удобном случае: это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну… Успокойся, друг мой, – продолжал он ей, – я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище…

– Осмотреться! Разве тебе там светло? – вскрикнула об-

радованная Елена Ивановна.

– Меня окружает непробудная ночь, – отвечал бедный узник, – но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками… Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. До завтра! Ты же, Семен Семеныч, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь позабыть, то завяжи узелок…

Признаюсь, я рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной.

– Вечером за вход опять четвертак! – крикнул нам вслед хозяин.

– О боже, как они жадны! – проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках Пассажа и видимо, сознавая, что она похорошела.

– Экономический принцип, – отвечал я с легким волнением и гордясь моею дамою перед прохожими.

– Экономический принцип… – протянула она симпатическим голоском, – я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеич об этом противном экономическом принципе.

– Я объясню вам, – отвечал я и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество, о чем прочел еще утром в «Петербургских известиях» и в «Волосе».

– Как это все странно! – прервала она, прослушав некоторое время, – да перестаньте же, противный; какой вы вздор говорите… Скажите, я очень красна?

– Вы прекрасны, а не красны! – заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент.

– Шалун! – пролепетала она самодовольно. – Бедный Иван Матвеич, – прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку, – мне, право, его жаль, ах боже мой! – вдруг вскрикнула она, – скажите, как же он будет сегодня там кушать и… и… как же он будет… если ему чего-нибудь будет надобно?

– Вопрос непредвиденный, – отвечал я, точно озадаченный. Мне, по правде, это не приходило в голову, до того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач!

– Бедняжка, как это он так втюрился… и никаких развлечений и темно… как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки… Итак, я теперь вроде вдовы, – прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением, – гм… все-таки мне его жаль!..

Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее наконец домой, успокоил и, пообедав вместе с нею, после чашки ароматного кофе, отправились в шесть часов к Тимофею Семенычу, рассчитывая, что в этот час все семей-

ные люди определенных занятий сидят или лежат по домам.

Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя.

II

Почтенный Тимофей Семеныч встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь: «Чтобы дети не мешали», – проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресла, запахнул полы своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.

– Прежде всего, – начал он, – возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеич… Я сторона-с и ввязываться ни во что не намерен.

Я удивился, что, по-видимому, он уже всё это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без осо-

бого удивления, но с явным признаком подозрительности.

– Представьте, – сказал он, выслушав, – я всегда полагал, что с ним непременно это случится.

– Почему же-с, Тимофей Семеныч, случай сам по себе весьма необыкновенный-с…

– Согласен. Но Иван Матвеич во всё течение службы своей именно клонил к такому результату. Прыток-с, заносчив даже. Всё «прогресс» да разные идеи-с, а вот куда прогресс-то приводит!

– Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить…

– Нет, уж это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди излишне образованные лезут во всякое место-с и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может, вы больше знаете, – прибавил он, как бы обижаясь. – Я человек не столь образованный и старый; с солдатских детей начал, и службе моей пятидесятилетний юбилей сего года пошел-с.

– О нет, Тимофей Семеныч, помилуйте. Напротив, Иван Матвеич жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет. Даже, так сказать, со слезами-с.

– «Так сказать со слезами-с». Гм. Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет?

– На скопленное, Тимофей Семеныч, из последних наградных, – отвечал я жалобно. – Всего на три месяца хотел съездить, – в Швейцарию… на родину Вильгельма Телля.

– Вильгельма Телля? Гм!

– В Неаполе встретить весну хотел-с. Осмотреть музей, нравы, животных…

– Гм! животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле…

– Тимофей Семеныч, помилуйте, человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы – укоряете… Пожалейте хоть несчастную Елену Ивановну!

– Это вы про супругу-с? Интересная дамочка, – проговорил Тимофей Семеныч, видимо смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. – Особа субтильная. И как полна, и головку все так на бочок, на бочок… очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал.

– Упоминал?

– Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа… Конфетка, говорит, а не дамочка, и тут же засмеялись. Молодые они еще люди. – Тимофей Семеныч с треском высморкался. – А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляют-с…

– Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семеныч.

– Конечно, конечно-с.

– Так как же, Тимофей Семеныч?

– Да что же я-то могу сделать?

– Посоветуйте-с, руководите, как опытный человек, как родственник! Что предпринять? Идти ли по начальству или…

– По начальству? Отнюдь нет-с, – торопливо произнес Тимофей Семеныч. – Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный-с, да и небывалый. Главное, небывалый, примера не было-с, да и плохо рекомендующий… Поэтому осторожность прежде всего… Пусть уж там себе полежит. Надо выждать, выждать…

– Да как же выждать, Тимофей Семеныч? Ну что, если он там задохнется?

– Да почему же-с? Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился?

Я рассказал всё опять. Тимофей Семеныч задумался.

– Гм! – проговорил он, вертя табакерку в руках, – по-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит, вместо заграницы-то-с. Пусть на досуге подумает; разумеется, задыхаться не надо, и потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья: ну там, остерегаться кашля и прочего… А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве, и даже более другой стороны, потому что в *его* крокодила влезли без спросу, а не *он* влез без спросу в

крокодила Ивана Матвеичева, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну-с, а крокодил составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с.

– Для спасения человечества, Тимофей Семеныч.

– Ну уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись.

– Да ведь Иван Матвеич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с.

– Иван-то Матвеич понадобиться? хе-хе! К тому же ведь он считается в отпуску, стало быть, мы можем и игнорировать, а он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится, ну тогда и спросим, справки наведем…

– Три-то месяца! Тимофей Семеныч, помилуйте!

– Сам виноват-с. Ну кто его туда совал? Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с, а этого и по штату не полагается. А главное – крокодил есть собственность, стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреича на вечере Игнатий Прокофьич говорил, Игнатия Прокофьича знаете? Капиталист, при делах-с, и, знаете, складно так говорит: «Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. На-

до, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность – яд, говорит, гибель! – И, знаете, с жаром так говорит; ну им прилично: люди капитальные… да и не служащие. – С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки, и знаете – решительно так произносит: дрррробить, говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрет, ну и ленится и пьянствует. А между тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета «Таймс», разбирая наши финансы, отзывалась намедни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет…» Хорошо говорит Игнатий Прокофьич. Оратор-с. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в «Известиях» напечатать. Это уж не стиш-

ки, подобно Ивану Матвеичу…

– Так как же Иван-то Матвеич? – ввернул я, дав поболтать старику. Тимофей Семеныч любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и всё это знает.

– Иван Матвеич как-с? Так ведь я к тому и клоню-с. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеич, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с.

– Помилуйте, Тимофей Семеныч! – вскричал я, – да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеича!

– Ничего я не требую-с и прежде всего прошу вас – как уже и прежде просил – сообразить, что я не начальство и, стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу. Как сын отечества говорю, то есть говорю не как «Сын отечества», а просто как сын отечества говорю. Опять-таки кто ж велел ему влезть в крокодила? Человек солидный, человек извест-

ного чина, состоящий в законном браке, и вдруг – такой шаг! Сообразно ли это?

– Но ведь этот шаг случился нечаянно-с.

– А кто его знает? И притом из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка?

– Разве в счет жалованья, Тимофей Семеныч?

– Достанет ли-с?

– Недостанет, Тимофей Семеныч, – отвечал я с грустию. – Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что всё благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.

– Утроить, учетверить разве! Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясоед, склонность к увеселениям и потому, повторяю, прежде всего пусть Иван Матвеич наблюдает инкогнито, пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное – пусть выжидает, да и куда ему спешить?

– Ну, а если…

– Не беспокойтесь, сложения плотного-с…

– Ну, а потом, когда выйдет?

– Ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с, и, главное, то вредит, что не бы-

ло до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.

Счастливая мысль блеснула у меня в голове.

– Нельзя ли устроить так-с, – сказал я, – что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и, волею провидения, сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?

– Гм… разве в виде отпуска и без жалованья…

– Нет-с, нельзя ли с жалованьем-с?

– На каком же основании?

– В виде командировки…

– Какой и куда?

– Да в недра же, в крокодиловы недра… Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении-с…

Тимофей Семеныч задумался.

– Командировать особого чиновника, – сказал он наконец, – в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, – нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?

– Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живье-с. Нынче всё пошли естественные науки-с, ботаника… Он бы там жил и сообщал-с… ну, там о пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов-с.

– То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите: факты, – мы и без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна…

– Чем же-с?

– Опасна-с. И к тому ж, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить, лежа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное-с; и опять-таки примера такого не было. Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать.

– Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семеныч.

– Гм, да… – он опять задумался. – Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом, на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку… согласитесь сами – дурной пример-с. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда полезет даром деньги-то брать.

– Порадейте, Тимофей Семеныч! Кстати-с: Иван Матвеич просил передать вам карточный должок, семь рублей, в ералаш-с…

– Ах, это он проиграл намедни, у Никифор Никифорыча! Помню-с. И так он тогда был весел, смешил, и вот!..

Старик был искренне тронут.

– Порадейте, Тимофей Семеныч.

– Похлопочу-с. От своего лица поговорю, частным образом, в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка, неофициально, со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?

Тимофей Семеныч видимо подобрел.

– Непременно-с, – отвечал я, – и тотчас же явлюсь к вам с отчетом.

– Супруга-то… одна теперь? Скучает?

– Вы бы навестили, Тимофей Семеныч.

– Навещу-с, я еще давеча подумал, да и случай удобный… И зачем, зачем это его дергало смотреть крокодила! А впрочем, я бы и сам желал посмотреть.

– Навестите-ка бедного, Тимофей Семеныч.

– Навещу-с. Конечно, я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо… Ну-с, до свиданья, я ведь опять к Никифор Никифорычу; будете?

– Нет-с, я к узнику.

– Да-с, вот теперь и к узнику!.. Э-эх, легкомыслие!

Я распростился с стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семеныч, а, выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже пятидесятилетний юбилей и что Тимофей Семеныч у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в Пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеичу. Да и любо-

пытство разбирало меня: как он там устроился в крокодиле и как это можно жить в крокодиле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне, право, казалось, что всё это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело-то шло о чудовище…

III

И, однако ж, это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе – стал ли бы я рассказывать! Но продолжаю…

В Пассаж я попал уже поздно, около девяти часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что «публикум много ходиль». Муттер вышла уже потом, очевидно затем, чтобы следить за мной. Немец с муттер часто перешептывались. Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он все-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность!

– Ви каждый раз будет платиль; публикум будут рубль платиль, а ви один четвертак, ибо ви добры друк вашего добры друк, а я почитаю друк…

– Жив ли, жив ли образованный друг мой, – громко вскри-

чал я, подходя к крокодилу и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеича и польстят его самолюбию.

– Жив и здоров, – отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него, – жив и здоров, но об этом после… Как дела?

Как бы нарочно не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностью сам его расспрашивать: как он, что он и каково в крокодиле и что такое вообще внутри крокодила? Это требовалось и дружеством и обыкновенною вежливостью. Но он капризно и с досадой перебил меня.

– Как дела? – прокричал он, по обыкновению мною командуя, своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным.

Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семенычем до последней подробности. Рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон.

– Старик прав, – решил Иван Матвеич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. – Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это всё принимает новый и неожиданный вид и не стоит хлопотать из одного только жалованья. Слушай внимательно. Ты сидишь?

– Нет, стою.

– Садись на что-нибудь, ну хоть на пол, и слушай внимательно.

Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им об пол.

– Слушай, – начал он повелительно, – публики сегодня приходило целая бездна. К вечеру не хватило места и для порядка явилась полиция. В восемь часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтоб сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебывают. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате – я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбой! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, – драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

– Не наскучило бы? – заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения – до того заваж-

ничал. Тем не менее всё это меня сбило с толку. «С чего: с чего эта легкомысленная башка куражится! – скрежетал я шепотом про себя. – Тут надо плакать, а не куражиться».

– Нет! – отвечал он резко на мое замечание. – Ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею – чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну всё и буду новый Фурье. Кстати, отдал семь рублей Тимофею Семенычу?

– Из своих, – ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих.

– Сочтемся, – ответил он высокомерно. – Прибавки оклада жду всенепременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена?

– Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?

– Жена?! – закричал он даже с каким-то на этот раз визгом.

Нечего было делать! Смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал.

– Имею на нее особые виды, – начал он нетерпеливо. – Если буду знаменит *здесь*, то хочу, чтоб она была знаменита *там*. Ученые, поэты, философы, заезжие минералоги, госу-

дарственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. С будущей недели у нее должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и делу конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтоб все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же всё это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным глотком крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. И я задам себя знать! Поймут, наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. «Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством», – скажут одни. «И этот человек не управлял иностранным королевством», – скажут другие. Ну чем, ну чем я хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки или как их там?.. Жена должна составлять мне пандан – у меня ум, у нее красота и любезность. «Она прекрасна, потому и жена его», – скажут одни. «Она прекрасна, *потому что жена его*», – поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтоб уметь говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает premier-политик «С.-Петербургских известий», сверяя каждодневно с «Волосом». Полагая, что хозяин согласится иногда приносить и меня вместе с кроко-

дилом, в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, – так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою; я ее выдвину вперед и объясню ее публике; как жена моя она должна быть полна величайших достоинств, и если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе, то еще справедливее будет, когда назовут ее нашей русской Евгенией Тур.

Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был всё тот же обыкновенный и ежедневный Иван Матвеич, но наблюдаемый в стекло, в двадцать раз увеличивающее.

– Друг мой, – спросил я его, – надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи: здоров ли ты? Как ты ешь, как спишь, как ты дышишь? Я друг тебе, и согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство мое слишком естественно.

– Праздное любопытство и больше ничего, – отвечал он сентенциозно, – но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как устроился в недрах чудовища? Во-первых, крокодил, к

удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог ли бы я в нем поместиться?

– Возможно ли? – вскричал я в понятном изумлении. – Неужели крокодил совершенно пустой?

– Совершенно, – строго и внушительно подтвердил Иван Матвеич. – И, по всей вероятности, он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженною острыми зубами, и вдобавок к пасти – значительно длинным хвостом – вот и всё, по-настоящему. В середине же между сими двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.

– А ребра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце? – прервал я даже со злобою.

– Н-ничего, совершенно ничего этого нет и, вероятно, никогда не бывало. Всё это – праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, – и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда

Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим например, тебе дано устроить нового крокодила – тебе, естественно, представляется вопрос: какое основное свойство крокодилово? Ответ ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и внутренность крокодилова должна именно быть пустою, чтоб не терпеть пустоты, а, следовательно, беспрерывно глотать и наполняться всем, что только есть под рукою. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Не так в устройстве человеческом: чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниться, и это единственное исключение из общего правила. Всё это мне теперь ясно, как день, всё это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо само название крокодил означает прожорливость. Крокодил, Crocodillo – есть слово, очевидно, итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и, очевидно, происходящее от французского корня: croquer, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Всё это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда

в ящике.

– Друг мой, не принять ли тебе теперь хоть слабительного! – вскричал я невольно. «У него жар, жар, он в жару!» – повторял я про себя в ужасе.

– Вздор! – отвечал он презрительно, – и к тому же в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном.

– Друг мой, а как… как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет?

– Нет, но сыт и, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. И это тоже совершенно понятно: наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, – сытый мною, он естественно сообщит и мне все жизненные соки своего тела; это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами и потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая собою крокодила, я, обратно получаю и от него питание; следовательно – мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно, даже и крокодилу, переваривать такого человека, как я, то уж, разумеется, он должен ощущать при этом некоторую тяжесть в желудке, – которого, впрочем, у него нет, – и вот почему, чтоб не доставить излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь с боку на бок; и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю се-

го из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения, и в аллегорическом смысле Тимофей Семеныч справедлив, называя меня лежебокой. Но я докажу, что и лежа на боку, – мало того, – что только лежа на боку и можно перевернуть судьбу человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов, очевидно, произведены лежебоками; вот почему и называют их идеями кабинетными, но наплевать, что так называют! Я изобрету теперь целую социальную систему, и – ты не поверишь – как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготовляю четвертую. Правда, сначала надо всё опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто всё это виднее становится… Впрочем, в моем положении существуют еще недостатки, хотя и мелкие: внутри крокодила несколько сыро и как будто покрыто слизью да, сверх того, еще несколько пахнет резинкой, точь-в-точь как от моих прошлогодних калош. Вот и всё, более нет никаких недостатков.

– Иван Матвеич, – прервал я, – всё это чудеса, которым я едва могу верить. И неужели, неужели ты всю жизнь не намерен обедать?

– О каком вздоре заботишься ты, беспечная, праздная голова! Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты… Знай же,

что я сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища, сговорившись с добрейшею муттер, решили давеча промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству, но полагаю, что это излишняя роскошь. Прожить надеюсь по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по стольку лет живут крокодилы, о чем, благо напомнил, справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня: так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на всё мое негодование начну, пожалуй, и перевариваться; и хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может почтить самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины.

Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следовательно и дольше будут сопротивляться природе, в случае если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателям наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что не одно это они теперь от меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кругом меня, чтоб уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче – будущность представляется мне в самом розовом свете.

«Горячка, горячка!» – шептал я про себя.

– Друг мой, а свобода? – проговорил я, желая вполне узнать его мнение. – Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободою.

– Ты глуп, – отвечал он. – Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок, а нет порядка…

– Иван Матвеич, пощади и помилуй!

– Молчи и слушай! – взвизгнул он в досаде, что я перебил его. – Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь – литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтоб легкомысленные посетители, глупцы и завистники и вообще нигилисты не подняли меня на смех. Но я приму меры.

С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное – мнения газет. О газетах сообщи завтра же.

– Хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.

– Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграмм. Каждый день чтоб были здесь все европейские телеграммы. Но довольно; вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике: я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Если не Сократ, то Диоген, или то и другое вместе, и вот будущая роль моя в человечестве.

Так легкомысленно и навязчиво (правда, в горячке) торопился высказаться передо мной Иван Матвеич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секрета. Да и всё то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтоб крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнул из тщеславия и отчасти, чтоб меня унизить. Правда, он был больной, а больному надо уважить; но, признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана Матвеича. Всю жизнь, начиная с само-

го детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел было я с ним совсем расплеваться, и каждый раз меня опять тянуло к нему, как будто я всё еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отомстить. Странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же, с чувством.

– Ваш друк ошень умна шеловек, – сказал мне вполголоса немец, собираясь меня провожать; он всё время прилежно слушал наш разговор.

– A propos, – сказал я, – чтоб не забыть – сколько бы взяли вы за вашего крокодила, на случай если б вздумали у вас его покупать?

Иван Матвеич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо было, что ему не хотелось, чтоб немец взял мало; по крайней мере он как-то особенно крякнул при моем вопросе.

Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился.

– Никто не смейт покупат мой собственный крокодиль! – вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. – Я не хатит продавайт крокодиль. Я миллион талер не стану браль за крокодиль. Я сто тридцать талер сегодня с публикум браль, я завтра десять тысяч талер собраль, а потом сто тысяч талер каждый день собираль. Не хочу продаваль!

Иван Матвеич даже захихикал от удовольствия.

Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, – ибо ис-

полнял обязанность истинного друга, – я намекнул сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по сту тысяч, то в четыре дня у него перебывает весь Петербург и потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен Бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеич заболеть и помереть и проч., и проч.

Немец задумался.

– Я будет ему капли из аптеки даваль, – сказал он, надумавшись, – и ваш друк не будет умираль.

– Капли каплями, – сказал я, – но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс. Супруга Ивана Матвеича может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне?

– Нет, не мереваль! – решительно и строго отвечал немец.

– Нетт, не мереваль! – подхватила, даже со злобою, муттер.

– Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь, разом, хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства.

Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной.

– Вот увидишь! – сказал мне Иван Матвеич.

Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, – избить больно немца, во-вторых, еще более избить муттер, а в-третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвеича за безграничность его самолюбия. Но всё это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца.

Насоветовавшись с своей муттер, он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереею, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и, вдобавок, – чин русского полковника.

– Видишь! – торжествуя, прокричал Иван Матвеич, – я говорил тебе! Кроме последнего безумного желания производства в полковники, – он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудища. Экономический принцип прежде всего!

– Помилуйте! – яростно закричал я немцу, – да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну не безумец ли вы после этого?

– Безумны! – вскричал немец обидевшись, – нет, я ошень умна шеловек, а ви ошень глюп! Я заслужиль польковник, потому што показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль, а русский не может показать крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль! Я чрезвычайно умны шеловек и ошень хочу быть польковник!

– Так прощай же, Иван Матвеич! – вскричал я, дрожа от

бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз по пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирай там от скуки каждый вечер, исполняя обязанность истинного друга! Я готов был прибить себя за это и действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаком по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я наконец заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Ивановна…

IV

Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу у крокодильщика, но Елена Ивановна составляла статью особенную.

Скажу заранее: я любил эту даму; но спешу – и спешу на курьерских – оговориться: я любил ее как отец, ни более, ни менее. Заключаю так потому, что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяненькую щечку. И хотя я никогда не приводил сего в

исполнение, но каюсь – не отказался бы поцеловать ее даже и в губки. И не то что в губки, а в зубки, которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких, подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвеич называл ее, в ласкательных случаях, своей «милой нелепостью» – название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама-конфетка и более ничего. Посему совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеичу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур? Во всяком случае, мой сон, если не брать в расчет обезьян, произвел на меня приятнейшее впечатление, и, перебирая в голове за утренней чашкой чаю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне, по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга.

В крошечной комнатке перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашоночке сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалась мне тоже и как будто задумчивою.

– Ах, это вы, шалун, – встретила она меня рассеянной улыбкой, – садитесь, ветренник, пейте кофе. Ну что вы вчера

делали? Были в маскараде?

– А разве вы были? Я ведь не езжу… к тому же посещал вчера нашего узника…

Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину.

– Кого? Какого это узника? Ах, да! Бедняжка! Ну, что он – скучает? А знаете… я хотела вас спросить… Я ведь могу теперь просить развода?

– Развода! – вскричал я в негодовании и чуть не пролил кофе. «Это черномазенький!» – подумал я про себя с яростью.

Существовал некто черномазенький, с усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он уж успел вчера видеться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, и здесь, и наговорил ей всякого вздору!

– Да что ж, – заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная, – что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет, а я здесь его дожидайся! Муж должен дома жить, а не в крокодиле…

– Но ведь это непредвиденный случай, – начал было я в весьма понятном волнении.

– Ах, нет, не говорите, не хочу, не хочу! – закричала она, вдруг совсем рассердившись. – Вы вечно мне напротив, такой негодный! С вами ничего не сделаешь, ничего не посове-

туете! Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеич теперь уже не будет получать жалованья.

– Елена Ивановна! Вас ли я слышу? – закричал я патетически. – Какой злодей мог вам это натолковать! Да и развод по такой неосновательной причине, как жалованье, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже в недрах чудовища. Мало того – тает в любви, как кусочек сахару. Еще вчера ввечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе, в недра, тем более что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ…

И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеичем.

– Как, как! – вскричала она в удивлении. – Вы хотите, чтоб и я также полезла туда к Ивану Матвеичу? Вот выдумки! Да и как я полезу, так в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда буду туда лезть, а на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть… Это смешно! И что я там буду кушать?.. и… и как я там буду, когда… ах, боже мой, что они выдумали!.. И какие там развлечения?.. Вы говорите, что там гуммиластиком пахнет? И как же я буду, если мы там с ним поссоримся, – все-таки рядом лежать? Ф у, как это противно!

– Согласен, согласен со всеми этими доводами, милейшая

Елена Ивановна, – прервал я, стремясь высказаться с тем понятным увлечением, которое всегда овладевает человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне, – но вы не оценили одного во всем этом; вы не оценили того, что он, стало быть, без вас жить не может, коли зовет туда; значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся… Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви!

– Не хочу, не хочу, и слышать ничего не хочу! – отмахивалась она своей маленькой, хорошенькой ручкой, на которой блистали только что вымытые и вычищенные щеткой розовые ноготки. – Противный! Вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы, и спорьте всю жизнь о каких-нибудь скучных науках…

– Напрасно вы так смеетесь над сим предположением, – с важностию остановил я легкомысленную женщину, – Иван Матвеич и без того меня звал туда. Конечно, вас привлекает туда долг, меня же одно только великодушие; но рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой, Иван Матвеич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга можно поместиться с вами вместе, втроем, особенно если б я захотел того, а потому…

– Как так, втроем? – вскричала Елена Ивановна, с удивлением смотря на меня. – Так как же мы… так все трое и будем там вместе? Ха-ха-ха! Какие вы оба глупые! Ха-ха-ха!

Я вас непременно буду там всё время щипать, негодный вы эдакой, ха-ха-ха! ха-ха-ха!

И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Всё это – и слезы и смех – было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки, чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько, в знак примирения, за уши.

Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеича. Мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей очень понравилась.

– Но только надо будет очень много новых платьев, – заметила она, – и потому надо, чтоб Иван Матвеич присылал как можно скорее и как можно больше жалованья… Только… только как же это, – прибавила она в раздумье, – как же это его будут приносить ко мне в ящике. Мне будет очень стыдно перед гостями… Я не хочу, нет, не хочу.

– Кстати, чтоб не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семеныч?

– Ах, был; приехал утешать, и, вообразите, мы с ним всё в свои козыри играли. Он на конфеты, а коль я проиграю – он мне ручки целует. Такой негодный и, вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал. Право!

– Увлечение! – заметил я, – да и кто не увлечется вами, обольстительная!

– Ну уж вы, поехали с вашими комплиментами! Постойте, я вас ущипну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась те-

перь щипаться. Ну что, каково! Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеич часто обо мне вчера говорил?

– Н-н-нет, не то чтоб очень… Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет…

– Ну и пусть его! Не договаривайте! Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня; голова болит, а к тому же там будет так много публики… Скажут: это жена его, пристыдят… Прощайте. Вечером вы ведь… там?

– У него, у него. Велел приезжать и газет привезти.

– Ну вот и славно. И ступайте к нему и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Я нездорова, а может, и в гости поеду. Ну прощайте, шалун.

«Это черномазенький у ней будет вечером», – подумал я про себя.

В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся мне была – «Листок», газетка без всякого особого направления, а так только вообще гуманная, за что ее преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочел я в ней следующее:

«Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столице распространились чрезвычайные слу-

хи. Некто N, известный гастроном из высшего общества, вероятно наскучив кухнею Бореля и – ского клуба, вошел в здание Пассажа, в то место, где показывается огромный, только что привезенный в столицу крокодил, и потребовал, чтоб ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его (то есть не хозяина, весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила) – еще живьем, отрезая сочные куски перочинным ножичком и глотая их с чрезвычайною поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах, так что он собирался даже приняться за ихневмона, постоянного спутника крокодилова, вероятно полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против сего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это наперед. Английские лорды и путешественники ловят в Египте крокодилов целыми партиями и употребляют хребет чудовища в виде бифштекса, с горчицей, луком и картофелем. Французы, наехавшие с Лессепсом, предпочитают лапы, испеченные в горячей золе, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят то и другое. С своей стороны, мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Вслед за сим первым крокодилом, исчезнувшим в недрах петербургского гастронома, вероятно не пройдет и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокоди-

ла у нас в России? Если невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголове или в Павловске, в Москве же в Пресненских прудах и в Самотеке? Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать собою детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно бы было приготовлять футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, и, может быть, не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету».

Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее опрометчивость известия смутила меня. Не находя, с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Саввичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал «Волос», как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня «Листок» и, передавая мне «Волос», крепко отчеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Этот Прохор Саввич был у нас престранный человек: молчаливый старый холостяк, он ни с кем из нас не вступал ни в какие сношения, почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда и обо всем имел свое собственное мнение, но терпеть

не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко. В квартире его почти никто из нас не был.

Вот что я прочел в показанном месте «Волоса»:

«Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не «созрели», как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в Пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в Пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычной толщины и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтоб не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тотчас же засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Из внутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (sic[14]), а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую мас-

[14] Так (*лат.*).

су, тщетно проливает слезы. Незваный гость хуже татарина, но, несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской натуры нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошеному посетителю? Теплого и комфортного помещения? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной невской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев швейцар. Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными. Заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит, раздутый горой, и в нестерпимых страданиях ожидает смерти. В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков.

Дома новы, но предрассудки стары —

и даже дома-то не новы, по крайней мере лестницы. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне, в доме купца Лукьянова, забежные ступеньки дере-

вянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьи Скапидаровой, принужденной часто всходить на лестницу с водою или с охапкою дров. Наконец предсказания наши оправдались: вчера вечером в половине девятого пополудни, солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала-таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу; русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому как в Европе при очищении сапогов… и т. д., и т. д.».

– Что же это, – сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Саввича, – что же это такое?

– А что-с?

– Да помилуйте, чем бы об Иване Матвеиче пожалеть, жалеют о крокодиле.

– А что же-с? Зверя даже, *млекопитающего*, и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хи-хи-хи!

Сказав это, чудак Прохор Саввич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова.

«Волос» и «Листок» я спрятал в карман да, кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеичу старых

«Известий» и «Волосов» сколько мог найти, и хоть до вечера было еще далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтоб побывать в Пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка, и на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно – до того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные, прозаические мои ощущения ввиду такого замечательного и оригинального события.

Вечный муж

I
Вельчанинов

Пришло лето – и Вельчанинов, сверх ожидания, остался в Петербурге. Поездка его на юг России расстроилась, а делу и конца не предвиделось. Это дело – тяжба по имению – принимало предурной оборот. Еще три месяца тому назад оно имело вид весьма несложный, чуть не бесспорный; но как-то вдруг все изменилось. «Да и вообще все стало изменяться к худшему!» – эту фразу Вельчанинов с злорадством и часто стал повторять про себя. Он употреблял адвоката ловкого, дорогого, известного и денег не жалел; но в нетерпении и от мнительности повадился заниматься делом и сам: читал и писал бумаги, которые сплошь браковал адвокат, бегал по присутственным местам, наводил справки и, вероятно, очень мешал всему; по крайней мере адвокат жаловался и гнал его на дачу. Но он даже и на дачу выехать не решился. Пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие нервы, – вот чем наслаждался он в Петербурге. Квартира его была где-то у Большого театра, недавно нанятая им, и тоже не удалась; «все не удавалось!» Ипохондрия его росла с каждым днем; но к ипохондрии он уже был склонен давно.

Это был человек много и широко поживший, уже далеко не молодой, лет тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта «старость» – как он сам выражался – пришла к нему «совсем почти неожиданно»; но он сам понимал, что состарелся скорее не количеством, а, так сказать, качеством лет и что если уж и начались его немощи, то скорее изнутри, чем снаружи. На взгляд он и до сих пор смотрел молодцом. Это был парень высокий и плотный, светло-рус, густоволос и без единой сединки в голове и в длинной, чуть не до половины груди, русой бороде: с первого взгляда как бы несколько неуклюжий и опустившийся; но, вглядевшись пристальнее, вы тотчас же отличили бы в нем господина, выдержанного отлично и когда-то получившего воспитание самое великосветское. Приемы Вельчанинова и теперь были свободны, смелы и даже грациозны, несмотря на всю благоприобретенную им брюзгливость и мешковатость. И даже до сих пор он был полон самой непоколебимой, самой великосветски нахальной самоуверенности, которой размера, может быть, и сам не подозревал в себе, несмотря на то, что был человек не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и с несомненными дарованиями. Цвет лица его, открытого и румяного, отличался в старину женственною нежностью и обращал на него внимание женщин; да и теперь иной, взглянув на него, говорил: «Экой здоровенный, кровь с молоком!» И, однакож, этот «здоровенный» был жестоко поражен ипохондрией. Глаза его, большие и голубые, лет де-

сять назад, имели тоже много в себе победительного; это были такие светлые, такие веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли к себе каждого, с кем только он ни сходился. Теперь, к сороковым годам, ясность и доброта почти погасли в этих глазах, уже окружившихся легкими морщинками; в них появились, напротив, цинизм не совсем нравственного и уставшего человека, хитрость, всего чаще насмешка и еще новый оттенок, которого не было прежде: оттенок грусти и боли, – какой-то рассеянной грусти, как бы беспредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда он оставался один. И странно, этот шумливый, веселый и рассеянный всего еще года два тому назад человек, так славно рассказывавший такие смешные рассказы, ничего так не любил теперь, как оставаться совершенно один. Он намеренно оставил множество знакомств, которых даже и теперь мог бы не оставлять, несмотря на окончательное расстройство своих денежных обстоятельств. Правда, тут помогло и тщеславие: с его мнительностию и тщеславием нельзя было вынести прежних знакомств. Но и тщеславие его мало-помалу стало изменяться в уединении. Оно не уменьшилось, даже – напротив; но оно стало вырождаться в какое-то особого рода тщеславие, которого прежде не было: стало иногда страдать уже совсем от других причин, чем обыкновенно прежде, – от причин неожиданных и совершенно прежде немыслимых, от причин «более высших», чем до сих пор, – «если только можно так выразиться, если действительно есть причины

высшие и низшие…» Это уже прибавлял он сам.

Да, он дошел и до этого; он бился теперь с какими-то причинами *высшими*, о которых прежде и не задумался бы. В сознании своем и по совести он называл высшими все «причины», над которыми (к удивлению своему) никак не мог про себя засмеяться, – чего до сих пор еще не бывало, – про себя, разумеется; о, в обществе дело другое! Он превосходно знал, что сойдись только обстоятельства – и назавтра же он, вслух, несмотря на все таинственные и благоговейные решения своей совести, преспокойно отречется от всех этих «высших причин» и сам, первый, подымет их на смех, разумеется не признаваясь ни в чем. И это было действительно так, несмотря на некоторую, весьма даже значительную долю независимости мысли, отвоеванную им в последнее время у обладавших им до сих пор «низших причин». Да и сколько раз сам он, вставая наутро с постели, начинал стыдиться своих мыслей и чувств, пережитых в ночную бессонницу! (А он сплошь все последнее время страдал бессонницей.) Давно уже он заметил, что становится чрезвычайно мнителен во всем, и в важном и в мелочах, а потому и положил было доверять себе как можно меньше. Но выдавались, однакоже, факты, которых уж никак нельзя было не признать действительно существующими. В последнее время, иногда по ночам, его мысли и ощущения почти совсем переменялись в сравнении с всегдашними и большею частию отнюдь не походили на те, которые выпадали ему на первую половину дня. Это

его поразило – и он даже посоветовался с известным доктором, правда человеком ему знакомым; разумеется, заговорил с ним шутя. Он получил в ответ, что факт изменения и даже раздвоения мыслей и ощущений по ночам во время бессонницы, и вообще по ночам, есть факт всеобщий между людьми «сильно мыслящими и сильно чувствующими», что убеждения всей жизни иногда внезапно менялись под меланхолическим влиянием ночи и бессонницы; вдруг ни с того ни с сего самые роковые решения предпринимались; но что, конечно, всё до известной меры – и если, наконец, субъект уже слишком ощущает на себе эту раздвоимость, так что дело доходит до страдания, то бесспорно это признак, что уже образовалась болезнь; а стало быть, надо немедленно что-нибудь предпринять. Лучше же всего изменить радикально образ жизни, изменить диету или даже предпринять путешествие. Полезно, конечно, слабительное.

Вельчанинов дальше слушать не стал; но болезнь была ему совершенно доказана.

«Итак, все это только болезнь, все это «высшее» одна болезнь, и больше ничего!» – язвительно восклицал он иногда про себя. Очень уж ему не хотелось с этим согласиться.

Скоро, впрочем, и по утрам стало повторяться то же, что происходило в исключительные ночные часы, но только с большею желчью, чем по ночам, со злостью вместо раскаяния, с насмешкой вместо умиления. В сущности, это были все чаще и чаще приходившие ему на память, «внезапно и

бог знает почему», иные происшествия из его прошедшей и давно прошедшей жизни, но приходившие каким-то особенным образом. Вельчанинов давно уже, например, жаловался на потерю памяти: он забывал лица знакомых людей, которые при встречах за это на него обижались; книга, прочитанная им полгода назад, забывалась в этот срок иногда совершенно. И что же? – несмотря на эту очевидную ежедневную утрату памяти (о чем он очень беспокоился) – все, что касалось давно прошедшего, все, что по десяти, по пятнадцати лет бывало даже совсем забыто, – все это вдруг иногда приходило теперь на память, но с такою изумительною точностью впечатлений и подробностей, что как будто бы он вновь их переживал. Некоторые из припоминавшихся фактов были до того забыты, что ему уже одно то казалось чудом, что они могли припомниться. Но это еще было не все; да и у кого из широко поживших людей нет своего рода воспоминаний? Но дело в том, что все это припоминавшееся возвращалось теперь как бы с заготовленной кем-то, совершенно новой, неожиданной и прежде совсем немыслимой точкой зрения на факт. Почему иные воспоминания казались ему теперь совсем преступлениями? И не в одних приговорах его ума было дело; своему мрачному, одиночному и больному уму он бы и не поверил; но доходило до проклятий и чуть ли не до слез, если и не наружных, так внутренних. Да он еще два года тому назад и не поверил бы, если б ему сказали, что он когда-нибудь заплачет! Сначала, впрочем, припо-

миналось больше не из чувствительного, а из язвительного: припоминались иные светские неудачи, унижения; вспоминалось о том, например, как его «оклеветал один интриган», вследствие чего его перестали принимать в одном доме, – как, например, и даже не так давно, он был положительно и публично обижен, а на дуэль не вызвал, – как осадили его раз одной преостроумной эпиграммой в кругу самых хорошеньких женщин, а он не нашелся, что отвечать. Припомнились даже два-три неуплаченные долга, правда, пустяшные, но долги чести и таким людям, с которыми он перестал водиться и об которых уже говорил дурно. Мучило его тоже (но только в самые злые минуты) воспоминание о двух глупейшим образом промотанных состояниях, из которых каждое было значительное. Но скоро стало припоминаться и из «высшего».

Вдруг, например, «ни с того ни с сего» припомнилась ему забытая – и в высочайшей степени забытая им – фигура добренького одного старичка чиновника, седенького и смешного, оскорбленного им когда-то, давным-давно, публично и безнаказанно и единственно из одного фанфаронства: из-за того только, чтоб не пропал даром один смешной и удачный каламбур, доставивший ему славу, и который потом повторяли. Факт был до того им забыт, что даже фамилии этого старичка он не мог припомнить, хотя сразу представилась вся обстановка приключения в непостижимой ясности. Он ярко припомнил, что старик тогда заступался за дочь, жив-

шую с ним вместе и засидевшуюся в девках и про которую в городе стали ходить какие-то слухи. Старичок стал было отвечать и сердиться, но вдруг заплакал навзрыд при всем обществе, что произвело даже некоторое впечатление. Кончили тем, что для смеха его напоили тогда шампанским и вдоволь насмеялись. И когда теперь припомнил «ни с того ни с сего» Вельчанинов о том, как старикашка рыдал и закрывался руками, как ребенок, то ему вдруг показалось, что как будто он никогда и не забывал этого. И странно: ему все это казалось тогда очень смешным; теперь же – напротив, и именно подробности, именно закрывание лица руками. Потом он припомнил, как, единственно для шутки, оклеветал одну прехорошенькую жену одного школьного учителя, и клевета дошла до мужа. Вельчанинов скоро уехал из этого городка и не знал, чем тогда кончились следствия его клеветы, но теперь он стал вдруг воображать, чем кончились эти следствия, – и бог знает до чего бы дошло его воображение, если б вдруг не представилось ему одно гораздо ближайшее воспоминание об одной девушке, из простых мещанок, которая даже и не нравилась ему и которой, признаться, он и стыдился, но с которой, сам не зная для чего, прижил ребенка, да так и бросил ее вместе с ребенком, даже не простившись (правда, некогда было), когда уехал из Петербурга. Эту девушку он разыскивал потом целый год, но уже никак не мог отыскать. Впрочем, таких воспоминаний оказывались чуть не сотни – и так даже, что как будто каждое воспоми-

нание тащило за собою десятки других. Мало-помалу стало страдать и его тщеславие.

Мы сказали уже, что тщеславие его выродилось в какое-то особенное. Это было справедливо. Минутами (редкими, впрочем) он доходил иногда до такого самозабвения, что не стыдился даже того, что не имеет своего экипажа, что слоняется пешком по присутственным местам, что стал несколько небрежен в костюме, – и случись, что кто-нибудь из старых знакомых обмерил бы его насмешливым взглядом на улице или просто вздумал бы не узнать, то, право, у него достало бы настолько высокомерия, чтоб даже и не поморщиться. Серьезно не поморщиться, вправду, а не то что для одного виду. Разумеется, это бывало редко, это были только минуты самозабвения и раздражения, но все-таки тщеславие его стало мало-помалу удаляться от прежних поводов и сосредоточиваться около одного вопроса, беспрерывно приходившего ему на ум.

«Вот ведь, – начинал он думать иногда сатирически (а он всегда почти, думая о себе, начинал с сатирического), – вот ведь кто-то там заботится же об исправлении моей нравственности и посылает мне эти проклятые воспоминания и «слезы раскаяния». Пусть, да ведь попусту! ведь все стрельба холостыми зарядами! Ну не знаю ли я наверно, вернее чем наверно, что, несмотря на все эти слезные раскаяния и самоосуждения, во мне нет ни капельки самостоятельности, несмотря на все мои глупейшие сорок лет! Ведь случись зав-

тра же такое искушение, ну сойдись, например, опять обстоятельства так, что мне выгодно будет слух распустить, будто бы учительша от меня подарки принимала, – и я ведь наверное распущу, не дрогну, – и еще хуже, пакостнее, чем в первый раз, дело выйдет, потому что этот раз будет уже второй раз, а не первый. Ну оскорби меня опять, сейчас, этот князек, единственный сын у матери и которому я одиннадцать лет тому назад ногу отстрелил, – и я тотчас же его вызову и посажу опять на деревяшку. Ну не холостые ли, стало быть, заряды и что в них толку! и для чего напоминать, когда я хоть сколько-нибудь развязаться с собой прилично не умею!»

И хоть не повторялось опять факта с учительшей, хоть не сажал он никого на деревяшку, но одна мысль о том, что это непременно должно было бы повториться, если б сошлись обстоятельства, почти убивала его… иногда. Не всегда же в самом деле страдать воспоминаниями; можно отдохнуть и погулять – в антрактах.

Так Вельчанинов и делал: он готов был погулять в антрактах; но все-таки чем дальше, тем неприятнее становилось его житье в Петербурге. Подходит уж и июль. Мелькала в нем иногда решимость бросить все и самую тяжбу и уехать куда-нибудь, не оглядываясь, как-нибудь вдруг, нечаянно, хоть туда же в Крым, например. Но через час, обыкновенно, он уже презирал свою мысль и смеялся над ней: «Эти скверные мысли ни на каком юге не прекратятся, если уж раз начались и если я хоть сколько-нибудь порядочный человек, а стало

быть, нечего и бежать от них, да и незачем».

«Да и к чему бежать, – продолжал он философствовать с горя, – здесь так пыльно, так душно, в этом доме так все запачкано; в этих присутствиях, по которым я слоняюсь, между всеми этими деловыми людьми – столько самой мышиной суеты, столько самой толкучей заботы; во всем этом народе, оставшемся в городе, на всех этих лицах, мелькающих с утра до вечера, – так наивно и откровенно рассказано все их себялюбие, все их простодушное нахальство, вся трусливость их душонок, вся куриность их сердчишек, – что, право, тут рай ипохондрику, самым серьезным образом говоря! Все откровенно, все ясно, все не считает даже нужным и прикрываться, как где-нибудь у наших барынь на дачах или на водах за границей; а стало быть, все гораздо достойнее полнейшего уважения за одну только откровенность и простоту… Никуда не уеду! Лопну здесь, а никуда не уеду!..»

II
Господин с крепом на шляпе

Было третье июля. Духота и жар стояли нестерпимые. День для Вельчанинова выдался самый хлопотливый: все утро пришлось ходить и разъезжать, а в перспективе предстояла непременная надобность сегодня же вечером посетить одного нужного господина, одного дельца и статского советника на его даче, где-то на Черной речке, и захватить

его неожиданно дома. Часу в шестом Вельчанинов вошел, наконец, в один ресторан (весьма сомнительный, но французский) на Невском проспекте, у Полицейского моста, сел в своем обычном углу за свой столик и спросил свой ежедневный обед.

Он съедал ежедневно обед в рубль и за вино платил особенно, что и считал жертвой, благоразумно им приносимой расстроенным своим обстоятельствам. Удивляясь, как можно есть такую дрянь, он уничтожал, однакоже, все до последней крошки – и каждый раз с таким аппетитом, как будто перед тем не ел трое суток. «Это что-то болезненное», – бормотал он про себя, замечая иногда свой аппетит. Но в этот раз он уселся за свой столик в самом сквернейшем расположении духа, с сердцем отбросил куда-то шляпу, облокотился и задумался. Завозись теперь как-нибудь обедавший с ним рядом сосед или не пойми его с первого слова прислуживавший ему мальчишка – и он, так умевший быть вежливым и, когда надо, так свысока невозмутимым, наверно бы расшумелся, как юнкер, и, пожалуй, сделал бы историю.

Подали ему суп, он взял ложку, но вдруг, не успев зачерпнуть, бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осенила его: в это мгновение он – и бог знает каким процессом – вдруг вполне осмыслил причину своей тоски, своей особенной отдельной тоски, которая мучила его уже несколько дней кряду, все последнее время, бог знает как привязалась и бог знает почему не хо-

тела никак отвязаться; теперь же он сразу все разглядел и понял, как свои пять пальцев.

– Это все эта шляпа! – пробормотал он как бы вдохновенный, – единственно одна только эта проклятая круглая шляпа, с этим мерзким траурным крепом, *всему* причиною!

Он стал думать – и чем далее вдумывался, тем становился угрюмее и тем удивительнее становилось в его глазах «все происшествие».

«Но… но какое же тут, однако, происшествие? – протестовал было он, не доверяя себе, – есть ли тут хоть что-нибудь похожее на происшествие?»

Все дело состояло вот в чем: почти уже тому две недели (по-настоящему он не помнил, но, кажется, было две недели), как встретил он в первый раз, на улице, где-то на углу Подьяческой и Мещанской, одного господина с крепом на шляпе. Господин был, как и все, ничего в нем не было такого особенного, прошел он скоро, но посмотрел на Вельчанинова как-то слишком уж пристально и почему-то сразу обратил на себя его внимание до чрезвычайности. По крайней мере физиономия его показалась знакомою Вельчанинову. Он, очевидно, когда-то и где-то встречал ее. «А впрочем, мало ли тысяч физиономий встречал я в жизни – всех не упомнишь!» Пройдя шагов двадцать, он уже, казалось, и забыл про встречу, несмотря на все первое впечатление. А впечатление, однако, осталось на целый день – и довольно оригинальное: в виде какой-то беспредметной, особенной злобы.

Он теперь, через две недели, все это припоминал ясно; припоминал тоже, что совершенно не понимал тогда, откуда в нем эта злоба, – и не понимал до того, что ни разу даже не сблизил и не сопоставил свое скверное расположение духа во весь тот вечер с утренней встречей. Но господин сам поспешил о себе напомнить и на другой день опять столкнулся с Вельчаниновым на Невском проспекте и опять как-то странно посмотрел на него. Вельчанинов плюнул, но, плюнув, тотчас же удивился своему плевку. Правда, есть физиономии, возбуждающие сразу беспредметное и бесцельное отвращение. «Да, я действительно его где-то встречал», – пробормотал он задумчиво, уже полчаса спустя после встречи. Затем опять весь вечер пробыл в сквернейшем расположении духа; даже дурной сон какой-то приснился ночью, и все-таки не пришло ему в голову, что вся причина этой новой и особенной хандры его – один только давешний траурный господин, хотя в этот вечер он не раз вспоминал его. Даже разозлился мимоходом, что «такая дрянь» смеет так долго ему вспоминаться; приписать же ему все свое волнение, наверно, почел бы даже унизительным, если б только мысль об том пришла ему в голову. Два дня спустя опять встретились, в толпе, при выходе с одного невского парохода. В этот, третий, раз Вельчанинов готов был поклясться, что господин в траурной шляпе узнал его и рванулся к нему, отвлекаемый и теснимый толпой; кажется, даже «осмелился» протянуть к нему руку; может быть, даже вскрикнул и окликнул его по

имени. Последнего, впрочем, Вельчанинов не расслышал ясно, но… «кто же, однако, эта каналья и почему он не подходит ко мне, если в самом деле узнает и если так ему хочется подойти?» – злобно подумал он, садясь на извозчика и отправляясь к Смольному монастырю. Через полчаса он уже спорил и шумел с своим адвокатом, но вечером и ночью был опять в мерзейшей и самой фантастической тоске. «Уж не разливается ли желчь?» – мнительно спрашивал он себя, глядясь в зеркало.

Это была третья встреча. Потом дней пять сряду решительно «никто» не встречался, а об «каналье» и слух замер. А между тем нет-нет да и вспомнится господин с крепом на шляпе. С некоторым удивлением ловил себя на этом Вельчанинов: «Что мне тошно по нем, что ли? Гм!.. А тоже, должно быть, у него много дела в Петербурге, – и по ком это у него креп? Он, очевидно, узнавал меня, а я его не узнаю. И зачем эти люди надевают креп? К ним как-то нейдет… Мне кажется, если я поближе всмотрюсь в него, я его узнаю…»

И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но вдруг почему-то забытое слово, которое из всех сил стараешься припомнить; знаешь его очень хорошо – и знаешь про то, что знаешь его; знаешь, что именно оно означает, около того ходишь; но вот никак не хочет слово припомниться, как ни бейся над ним!

«Это было… Это было давно… и это было где-то… Тут было… тут было… – ну, да черт с ним совсем, что тут было

и не было!.. – злобно вскричал он вдруг. – И стоит ли об эту каналью так пакоститься и унижаться!..»

Он рассердился ужасно; но вечером, когда ему вдруг припомнилось, что он давеча рассердился и «ужасно», – ему стало чрезвычайно неприятно: кто-то как будто поймал его в чем-нибудь. Он смутился и удивился:

«Есть же, стало быть, причины, по которым я так злюсь… ни с того ни с сего… при одном воспоминании…» Он не докончил своей мысли.

А на другой день рассердился еще пуще, но в этот раз ему показалось, что есть за что и что он совершенно прав; «дерзость была неслыханная»: дело в том, что произошла четвертая встреча. Господин с крепом явился опять, как будто из-под земли. Вельчанинов только что поймал на улице того самого статского советника и нужного господина, которого он и теперь ловил, чтобы захватить хоть на даче нечаянно, потому что этот чиновник, едва знакомый Вельчанинову, но нужный по делу, и тогда, как и теперь, не давался в руки и, очевидно, прятался, всеми силами не желая с своей стороны встретиться с Вельчаниновым; обрадовавшись, что наконец-таки с ним столкнулся, Вельчанинов пошел с ним рядом, спеша, заглядывая ему в глаза и напрягая все силы, чтобы навести седого хитреца на одну тему, на один разговор, в котором тот, может быть, и проговорился бы и выронил бы как-нибудь одно искомое и давно ожидаемое словечко; но седой хитрец был тоже себе на уме, отсмеивался и отмалчивался, –

и вот именно в эту чрезвычайно хлопотливую минуту взгляд Вельчанинова вдруг отличил на противоположном тротуаре улицы господина с крепом на шляпе. Он стоял и пристально смотрел оттуда на них обоих; он следил за ними – это было очевидно – и, кажется, даже подсмеивался.

«Черт возьми! – взбесился Вельчанинов, уже проводив чиновника и приписывая всю свою с ним неудачу внезапному появлению этого «нахала», – черт возьми, шпионит он, что ли, за мной! Он, очевидно, следит за мной! Нанят, что ли, кем-нибудь и… и… и, ей-богу же, он подсмеивался! Я, ей-богу, исколочу его… Жаль только, что я хожу без палки! Я куплю палку! Я этого так не оставлю! Кто он такой? Я непременно хочу знать, кто он такой?»

Наконец, – ровно три дня спустя после этой (четвертой) встречи, – мы застаем Вельчанинова в его ресторане, как мы и описывали, уже совершенно и серьезно взволнованного и даже несколько потерявшегося. Не сознаться в этом не мог даже и сам он, несмотря на всю гордость свою. Принужден же был он, наконец, догадаться, сопоставив все обстоятельства, что всей хандры его, всей этой *особенной* тоски его и всех его двухнедельных волнений – причиною был не кто иной, как этот самый траурный господин, «несмотря на всю его ничтожность».

«Пусть я ипохондрик, – думал Вельчанинов, – и, стало быть, из мухи готов слона сделать, но, однакоже, легче ль мне от того, что все это, *может быть*, только одна фантазия?

Ведь если каждая подобная шельма в состоянии будет совершенно перевернуть человека, то ведь это… ведь это…»

Действительно, в этой сегодняшней (пятой) встрече, которая так взволновала Вельчанинова, слон явился совсем почти мухой: господин этот, как и прежде, юркнул мимо, но в этот раз уже не разглядывая Вельчанинова и не показывая, как прежде, вида, что его узнает, – а, напротив, опустив глаза и, кажется, очень желая, чтоб его самого не заметили. Вельчанинов оборотился и закричал ему во все горло:

– Эй, вы! креп на шляпе! Теперь прятаться! Стойте: кто вы такой?

Вопрос (и весь крик) был очень бестолков. Но Вельчанинов догадался об этом уже прокричав. На крик этот – господин оборотился, на минуту приостановился, потерялся, улыбнулся, хотел было что-то проговорить, что-то сделать, с минуту, очевидно, был в ужаснейшей нерешимости, и вдруг – повернулся и побежал прочь без оглядки. Вельчанинов с удивлением смотрел ему вслед.

«А что? – подумал он, – что, если и в самом деле не он ко мне, а я, напротив, к нему пристаю, и вся штука в этом?»

Пообедав, он поскорее отправился на дачу к чиновнику. Чиновника не застал; ответили, что «с утра не возвращались, да вряд ли и возвратятся сегодня раньше третьего или четвертого часу ночи, потому что остались в городе у именинника». Уж это было до того «обидно», что, в первой ярости, Вельчанинов положил было отправиться к имениннику и да-

же в самом деле поехал; но, сообразив на пути, что заходит далеко, отпустил середи дороги извозчика и потащился к себе пешком, к Большому театру. Он чувствовал потребность моциона. Чтоб успокоить взволнованные нервы, надо было ночью выспаться во что бы то ни стало, несмотря на бессонницу; а чтоб заснуть, надо было по крайней мере хоть устать. Таким образом, он добрался к себе уже в половине одиннадцатого, ибо путь был очень не малый, – и действительно очень устал.

Нанятая им в марте месяце квартира его, которую он так злорадно браковал и ругал, извиняясь сам перед собою, что «все это на походе» и что он «застрял» в Петербурге нечаянно, через эту «проклятую тяжбу», – эта квартира его была вовсе не так дурна и не неприлична, как он сам отзывался об ней. Вход был действительно несколько темноват и «запачкан», из-под ворот; но самая квартира, во втором этаже, состояла из двух больших, светлых и высоких комнат, отделенных одна от другой темною переднею и выходивших таким образом одна на улицу, другая во двор. К той, которая выходила окнами во двор, прилегал сбоку небольшой кабинет, назначавшийся служить спальней; но у Вельчанинова валялись в нем в беспорядке книги и бумаги; спал же он в одной из больших комнат, той самой, которая окнами выходила на улицу. Стлали ему на диване. Мебель у него стояла порядочная, хотя и подержанная, и находились, кроме того, некоторые даже дорогие вещи – осколки прежнего благосо-

стояния: фарфоровые и бронзовые игрушки, большие и настоящие бухарские ковры; уцелели даже две недурные картины; но все было в явном беспорядке, не на своем месте и даже запылено, с тех пор как прислуживавшая ему девушка Пелагея уехала на побывку к своим родным в Новгород и оставила его одного. Этот странный факт одиночной и девичьей прислуги у холостого и светского человека, все еще желавшего соблюдать джентльменство, заставлял почти краснеть Вельчанинова, хотя этой Пелагеей он был очень доволен. Эта девушка определилась к нему в ту минуту, когда он занял эту квартиру весной, из знакомого семейного дома, отбывшего за границу, и завела у него порядок. Но с отъездом ее он уже другой женской прислуги нанять не решился; нанимать же лакея на короткий срок не стоило, да он и не любил лакеев. Таким образом и устроилось, что комнаты его приходила убирать каждое утро дворничихина сестра Мавра, которой он и ключ оставлял, выходя со двора, и которая ровно ничего не делала, деньги брала и, кажется, воровала. Но он уже на все махнул рукой и даже был тем доволен, что дома остается теперь совершенно один. Но все до известной меры, – и нервы его решительно не соглашались иногда, в иные желчные минуты, выносить всю эту «пакость», и, возвращаясь к себе домой, он почти каждый раз с отвращением входил в свои комнаты.

Но в этот раз он едва дал себе время раздеться, бросился на кровать и раздражительно решил ни о чем не думать

и во что бы то ни стало «сию же минуту» заснуть. И странно, он вдруг заснул, только что голова успела дотронуться до подушки; этого не бывало с ним почти уже с месяц.

Он проспал около трех часов, но сном тревожным; ему снились какие-то странные сны, какие снятся в лихорадке. Дело шло об каком-то преступлении, которое он будто бы совершил и утаил и в котором обвиняли его в один голос беспрерывно входившие к нему откудава-то люди. Толпа собралась ужасная, но люди все еще не переставали входить, так что и дверь уже не затворялась, а стояла настежь. Но весь интерес сосредоточился, наконец, на одном странном человеке, каком-то очень ему когда-то близком и знакомом, который уже умер, а теперь почему-то вдруг тоже вошел к нему. Всего мучительнее было то, что Вельчанинов не знал, что это за человек, позабыл его имя и никак не мог вспомнить; он знал только, что когда-то его очень любил. От этого человека как будто и все прочие вошедшие люди ждали самого главного слова: или обвинения, или оправдания Вельчанинова, и все были в нетерпении. Но он сидел неподвижно за столом, молчал и не хотел говорить. Шум не умолкал, раздражение усиливалось, и вдруг Вельчанинов, в бешенстве, ударил этого человека за то, что он не хотел говорить, и почувствовал от этого странное наслаждение. Сердце его замерло от ужаса и от страдания за свой поступок, но в этом-то замиранье и заключалось наслаждение. Совсем остервенясь, он ударил в другой и в третий раз, и в каком-то опьянении от ярости

и от страху, дошедшем до помешательства, но заключавшем тоже в себе бесконечное наслаждение, он уже не считал своих ударов, но бил не останавливаясь. Он хотел все, все *это* разрушить. Вдруг что-то случилось; все страшно закричали и обратились, выжидая, к дверям, и в это мгновение раздались звонкие три удара в колокольчик, но с такой силой, как будто его хотели сорвать с дверей. Вельчанинов проснулся, очнулся в один миг, стремглав вскочил с постели и бросился к дверям; он был совершенно убежден, что удар в колокольчик – не сон и что действительно кто-то позвонил к нему сию минуту. «Было бы слишком неестественно, если бы такой ясный, такой действительный, осязательный звон приснился мне только во сне!»

Но, к удивлению его, и звон колокольчика оказался тоже сном. Он отворил дверь и вышел в сени, заглянул даже на лестницу – никого решительно не было. Колокольчик висел неподвижно. Подивившись, но и обрадовавшись, он воротился в комнату. Зажигая свечу, он вспомнил, что дверь стояла только припертая, а не запертая на замок и на крюк. Он и прежде, возвращаясь домой, часто забывал запирать дверь на ночь, не придавая делу особенной важности. Пелагея несколько раз за это ему выговаривала. Он воротился в переднюю запереть двери, еще раз отворил их и посмотрел в сенях, и наложил только изнутри крючок, а ключ в дверях повернуть все-таки поленился. Часы ударили половину третьего; стало быть, он спал три часа.

Сон до того взволновал его, что он уже не захотел лечь сию минуту опять и решил с полчаса походить по комнате – «время выкурить сигару». Наскоро одевшись, он подошел к окну, приподнял толстую штофную гардину, а за ней белую стору. На улице уже совсем рассвело. Светлые летние петербургские ночи всегда производили в нем нервное раздражение и в последнее время только помогали его бессоннице, так что он, недели две назад, нарочно завел у себя на окнах эти толстые штофные гардины, не пропускавшие свету, когда их совсем опускали. Впустив свет и забыв на столе зажженную свечку, он стал расхаживать взад и вперед все еще с каким-то тяжелым и больным чувством. Впечатление сна еще действовало. Серьезное страдание о том, что он мог поднять руку на этого человека и бить его, продолжалось.

– А ведь этого и человека-то нет и никогда не бывало, все сон, чего же я ною?

С ожесточением и как будто в этом совокуплялись все заботы его, он стал думать о том, что решительно становится болен, «больным человеком».

Ему всегда было тяжело сознаваться, что он стареет или хилеет, и со злости он в дурные минуты преувеличивал и то и другое, нарочно, чтоб подразнить себя.

– Старчество! совсем стареюсь, – бормотал он, прохаживаясь, – память теряю, привидения вижу, сны, звенят колокольчики… Черт возьми! я по опыту знаю, что такие сны всегда лихорадку во мне означали… Я убежден, что и вся

эта «история» с этим крепом – тоже, может быть, сон. Решительно я вчера правду подумал: я, я к нему пристаю, а не он ко мне! Я поэму из него сочинил, а сам под стол от страху залез. И почему я его канальей зову? Человек, может быть, очень порядочный. Лицо, правда, неприятное, хотя ничего особенно некрасивого нет; одет, как и все. Взгляд только какой-то… Опять я за свое! я опять об нем!! и какого черта мне в его взгляде? Жить, что ли, я не могу без этого… висельника?

Между прочими вскакивавшими в его голову мыслями одна тоже больно уязвила его: он вдруг как бы убедился, что этот господин с крепом был когда-то с ним знаком по-приятельски и теперь, встречая его, над ним смеется, потому что знает какой-нибудь его прежний большой секрет и видит его теперь в таком унизительном положении. Машинально подошел он к окну, чтоб отворить его и дохнуть ночным воздухом, и – и вдруг весь вздрогнул: ему показалось, что перед ним внезапно совершилось что-то неслыханное и необычайное.

Окна он еще не успел отворить, но поскорей скользнул за угол оконного откоса и притаился: на пустынном противуположном тротуаре он вдруг увидел, прямо перед домом, господина с крепом на шляпе. Господин стоял на тротуаре лицом к его окнам, но, очевидно, не замечая его, и любопытно, как бы что-то соображая, выглядывал дом. Казалось, он что-то обдумывал и как бы на что-то решался; приподнял руку и

как будто приставил палец ко лбу. Наконец, решился: бегло огляделся кругом и, на цыпочках, крадучись, стал поспешно переходить через улицу. Так и есть: он прошел в их ворота, в калитку (которая летом иной раз до трех часов не запиралась засовом). «Он ко мне идет», – быстро промелькнуло у Вельчанинова, и вдруг, стремглав и точно так же на цыпочках, пробежал он в переднюю к дверям и – затих перед ними, замер в ожидании, чуть-чуть наложив вздрагивавшую правую руку на заложенный им давеча дверной крюк и прислушиваясь изо всей силы к шороху ожидаемых шагов на лестнице.

Сердце его до того билось, что он боялся прослушать, когда взойдет на цыпочках незнакомец. Факта он не понимал, но ощущал все в какой-то удесятеренной полноте. Как будто давешний сон слился с действительностию. Вельчанинов от природы был смел. Он любил иногда доводить до какого-то щегольства свое бесстрашие в ожидании опасности – даже если на него и никто не глядел, а только любуясь сам собою. Но теперь было еще и что-то другое. Давешний ипохондрик и мнительный нытик преобразился совершенно; это был уже вовсе не тот человек. Нервный, неслышный смех порывался из его груди. Из-за затворенной двери он угадывал каждое движение незнакомца.

«А! вот он всходит, взошел, осматривается; прислушивается вниз на лестницу; чуть дышит, крадется… а! взялся за ручку, тянет, пробует! рассчитывал, что у меня не заперто! Значит, знал, что я иногда запереть забываю! Опять за руч-

ку тянет; что ж он думает, что крючок соскочит? Расстаться жаль! Уйти жаль попусту?»

И действительно, все так, наверно, и должно было происходить, как ему представлялось: кто-то действительно стоял за дверьми и тихо, неслышно пробовал замок и потягивал за ручку и, – «уж, разумеется, имел свою цель». Но у Вельчанинова уже было готово решение задачи, и он с каким-то восторгом выжидал мгновения, изловчался и примеривался: ему неотразимо захотелось вдруг снять крюк, вдруг отворить настежь дверь и очутиться глаз на глаз с «страшилищем». «А что, дескать, вы здесь делаете, милостивый государь?»

Так и случилось; улучив мгновение, он вдруг снял крюк, толкнул дверь и – почти наткнулся на господина с крепом на шляпе.

III
Павел Павлович Трусоцкий

Тот как бы онемел на месте. Оба стояли друг против друга, на пороге, и оба неподвижно смотрели друг другу в глаза. Так прошло несколько мгновений, и вдруг – Вельчанинов узнал своего гостя!

В то же время и гость, видимо, догадался, что Вельчанинов совершенно узнал его: это блеснуло в его взгляде. В один миг все лицо его как бы растаяло в сладчайшей улыбке.

– Я, наверное, имею удовольствие говорить с Алексеем

Ивановичем? – почти пропел он нежнейшим и до комизма неподходящим к обстоятельствам голосом.

– Да неужели же вы Павел Павлович Трусоцкий? – выговорил, наконец, и Вельчанинов с озадаченным видом.

– Мы были с вами знакомы лет девять назад в Т., и – если только позволите мне припомнить – были знакомы дружески.

– Да-с… положим-с… но – теперь три часа, и вы целых десять минут пробовали, заперто у меня или нет…

– Три часа! – вскрикнул гость, вынимая часы и даже горестно удивившись, – так точно: три! Извините, Алексей Иванович, я бы должен был, входя, Сообразить; даже стыжусь. Зайду и объяснюсь на днях, а теперь…

– Э, нет! уж если объясняться, так не угодно ли сию же минуту! – спохватился Вельчанинов, – милости просим сюда, через порог; в комнаты-с. Вы ведь, конечно, сами в комнаты намеревались войти, а не для того только явились ночью, чтоб замки пробовать…

Он был и взволнован и вместе с тем как бы опешен и чувствовал, что не может сообразиться. Даже стыдно стало: ни тайны, ни опасности – ничего не оказалось из всей фантасмагории; явилась только глупая фигура какого-то Павла Павловича. Но, впрочем, ему совсем не верилось, что это так просто; он что-то смутно и со страхом предчувствовал. Усадив гостя в кресла, он нетерпеливо уселся на своей постели, на шаг от кресел, принагнулся, уперся ладонями в свои ко-

лени и раздражительно ждал, когда тот заговорит. Он жадно его разглядывал и припоминал. Но странно: тот молчал, совсем, кажется, и не понимая, что немедленно «обязан» заговорить; напротив того, сам как бы выжидавшим чего-то взглядом смотрел на хозяина. Могло быть, что он просто робел, ощущая спервоначалу некоторую неловкость, как мышь в мышеловке; но Вельчанинов разозлился.

– Что ж вы! – вскричал он. – Ведь вы, я думаю, не фантазия и не сон! В мертвецы, что ли, вы играть пожаловали? Объяснитесь, батюшка!

Гость зашевелился, улыбнулся и начал осторожно: «Сколько я вижу, вас, прежде всего, даже поражает, что я пришел в такой час и – при особенных таких обстоятельствах-с… Так что, помня все прежнее и то, как мы расстались-с, – мне даже теперь странно-с… А впрочем, я даже и не намерен был заходить-с, и если уж так вышло, то – нечаянно-с…»

– Как нечаянно! да я вас из окна видел, как вы на цыпочках через улицу перебегали!

– Ах, вы видели! – ну так вы, пожалуй, теперь больше моего про все это знаете-с! Но я вас только раздражаю… Вот тут что-с: я приехал сюда уже недели с три, по своему делу… Я ведь Павел Павлович Трусоцкий, вы ведь меня сами признали-с. Дело мое в том, что я хлопочу о моем перемещении в другую губернию и в другую службу-с и на место с значительным повышением… Но, впрочем, все это тоже не то-с!..

Главное, если хотите, в том, что я здесь слоняюсь вот уже третью неделю и, кажется, сам затягиваю мое дело нарочно, то есть о перемещении-то-с, и, право, если даже оно и выйдет, то я, чего доброго, и сам забуду, что оно вышло-с, и не выеду из вашего Петербурга в моем настроении. Слоняюсь, как бы потеряв свою цель и как бы даже радуясь, что ее потерял – в моем настроении-с…

– В каком это настроении? – хмурился Вельчанинов.

Гость поднял на него глаза, поднял шляпу и уже с твердым достоинством указал на креп.

– Да – вот-с в каком настроении!

Вельчанинов тупо смотрел то на креп, то в лицо гостю. Вдруг румянец залил мгновенно его щеки, и он заволновался ужасно.

– Неужели Наталья Васильевна!

– Она-с! Наталья Васильевна! В нынешнем марте… Чахотка и почти вдруг-с, в какие-нибудь два-три месяца! И я остался – как вы видите!

Проговорив это, гость в сильном чувстве развел руки в обе стороны, держа в левой на отлете свою шляпу с крепом, и глубоко наклонив свою лысую голову, секунд по крайней мере на десять.

Этот вид и этот жест вдруг как бы освежили Вельчанинова; насмешливая и даже задирающая улыбка скользнула по его губам, – но покамест на одно только мгновение: известие о смерти этой дамы (с которой он был так давно знаком и

так давно уже успел позабыть ее) произвело на него теперь до неожиданности потрясающее впечатление.

– Возможно ли это! – бормотал он первые попавшиеся на язык слова, – и почему же вы прямо не зашли и не объявили?

– Благодарю вас за участие, вижу и ценю его, несмотря…

– Несмотря?

– Несмотря на столько лет разлуки, вы отнеслись сейчас к моему горю, и даже ко мне, с таким совершенным участием, что я, разумеется, ощущаю благодарность. Вот это только я и хотел заявить-с. И не то чтобы я сомневался в друзьях моих, я и здесь, даже сейчас, могу отыскать самых искренних друзей-с (взять только одного Степана Михайловича Багаутова), но ведь нашему с вами, Алексей Иванович, знакомству – (пожалуй, дружбе – ибо с признательностию вспоминаю) – прошло девять лет-с, к нам вы не возвращались; писем обоюдно не было…

Гость пел, как по нотам, но все время, пока изъяснялся, глядел в землю, хотя, конечно, все видел и вверху. Но и хозяин уже успел немного сообразиться.

С некоторым весьма странным впечатлением, все более и более усиливавшимся, прислушивался и приглядывался он к Павлу Павловичу, и вдруг, когда тот приостановился, – самые пестрые и неожиданные мысли неожиданно хлынули в его голову.

– Да отчего же я вас все не узнавал до сих пор? – вскричал он оживляясь. – Ведь мы раз пять на улице сталкивались!

– Да; и я это помню; вы мне все попадались-с, – раза два, даже, пожалуй, и три…

– То есть – это *вы* мне *все* попадались, а не я вам!

Вельчанинов встал и вдруг громко и совсем неожиданно засмеялся. Павел Павлович приостановился, посмотрел внимательно, но тотчас же опять стал продолжать:

– А что вы меня не признали, то, во-первых, могли позабыть-с, и, наконец, у меня даже оспа была в этот срок и оставила некоторые следы на лице.

– Оспа? Да ведь и в самом же деле у него оспа была! да как это вас…

– Угораздило? Мало ли чего не бывает, Алексей Иванович; нет-нет да и угораздит!

– Только все-таки это ужасно смешно. Ну, продолжайте, продолжайте, – друг дорогой!

– Я же хоть и встречал тоже вас-с…

– Стойте! Почему вы сказали сейчас: «угораздило»? Я хотел гораздо вежливей выразиться. Ну, продолжайте, продолжайте!

Почему-то ему все веселее и веселее становилось. Потрясающее впечатление совсем заменилось другим. Он быстрыми шагами ходил по комнате взад и вперед.

– Я же хоть и встречал тоже вас-с и даже, отправляясь сюда, в Петербург, намерен был непременно вас здесь поискать, но, повторяю, я теперь в таком настроении духа… и так умственно разбит с самого с марта месяца…

– Ах да! разбит с марта месяца… Постойте, вы не курите?

– Я ведь, вы знаете, при Наталье Васильевне…

– Ну да, ну да; а с марта-то месяца?

– Папиросочку разве.

– Вот папироска; закуривайте и – продолжайте! продолжайте, вы ужасно меня…

И, закурив сигару, Вельчанинов быстро уселся опять на постель. Павел Павлович приостановился.

– Но в каком вы сами-то, однакоже, волнении, здоровы ли вы-с?

– Э, к черту об моем здоровье! – обозлился вдруг Вельчанинов. – Продолжайте!

С своей стороны гость, смотря на волнение хозяина, становился довольнее и самоувереннее.

– Да что продолжать-то-с? – начал он опять. – Представьте вы себе, Алексей Иванович, во-первых, человека убитого, то есть не просто убитого, а, так сказать, радикально; человека, после двадцатилетнего супружества переменяющего жизнь и слоняющегося по пыльным улицам без соответственной цели, как бы в степи, чуть не в самозабвении, и в этом самозабвении находящего даже некоторое упоение. Естественно после того, что я и встречу иной раз знакомого или даже истинного друга, да и обойду нарочно, чтоб не подходить к нему в такую минуту, самозабвения-то то есть. А в другую минуту – так все припомнишь и так возжаждешь видеть хоть какого-нибудь свидетеля и соучастника того недавнего, но невоз-

вратимого прошлого, и так забьется при этом сердце, что не только днем, но и ночью рискнешь броситься в объятия друга, хотя бы даже и нарочно пришлось его для этого разбудить в четвертом часу-с. Я вот только в часе ошибся, но не в дружбе; ибо в сию минуту слишком вознагражден-с. А насчет часу, право, думал, что лишь только двенадцатый, будучи в настроении. Пьешь собственную грусть и как бы упиваешься ею. И даже не грусть, а именно новосостояние-то это и бьет по мне…

– Как вы, однакоже, выражаетесь! – как-то мрачно заметил Вельчанинов, ставший вдруг опять ужасно серьезным.

– Да-с, странно и выражаюсь-с…

– А вы… не шутите!

– Шучу! – воскликнул Павел Павлович в скорбном недоумении, – и в ту минуту, когда возвещаю…

– Ах, замолчите об этом, прошу вас!

Вельчанинов встал и опять зашагал по комнате.

Так и прошло минут пять. Гость тоже хотел было привстать, но Вельчанинов крикнул: «Сидите, сидите!» – и тот тотчас же послушно опустился в кресла.

– А как, однакоже, вы переменились! – заговорил опять Вельчанинов, вдруг останавливаясь перед ним – точно как бы внезапно пораженный этою мыслию. – Ужасно переменились! Чрезвычайно! Совсем другой человек!

– Не мудрено-с: девять лет-с.

– Нет-нет-нет, не в годах дело! вы наружностию еще не

бог знает как изменились; вы другим изменились!

– Тоже, может быть, девять лет-с.

– Или с марта месяца!

– Хе-хе, – лукаво усмехнулся Павел Павлович, – у вас игривая мысль какая-то… Но, если осмелюсь, – в чем же собственно изменение-то?

– Да чего тут! Прежде был такой солидный и приличный Павел Павлович, такой умник Павел Павлович, а теперь – совсем vaurien[15] Павел Павлович!

Он был в той степени раздражения, в которой самые выдержанные люди начинают иногда говорить лишнее.

– Vaurien! вы находите? И уж больше не умник? Не умник? – с наслаждением хихикал Павел Павлович.

– Какой черт умник! Теперь, пожалуй, и совсем *умный*.

«Я нагл, а эта каналья еще наглее! И… и какая у него цель?» – все думал Вельчанинов.

– Ах, дражайший, ах, бесценнейший Алексей Иванович! – заволновался вдруг чрезвычайно гость и заворочался в креслах. – Да ведь нам что? Ведь не в свете мы теперь, не в великосветском блистательном обществе! Мы – два бывшие искреннейшие и стариннейшие приятеля и, так сказать, в полнейшей искренности сошлись и вспоминаем обоюдно ту драгоценную связь, в которой покойница составляла такое драгоценнейшее звено нашей дружбы!

И он как бы до того увлекся восторгом своих чувств,

---

[15] Здесь: повеса (*фр.*).

что склонил опять, по-давешнему, голову, лицо же закрыл теперь шляпой. Вельчанинов с отвращением и с беспокойством приглядывался.

«А что, если это просто шут? – мелькнуло в его голове. – Но н-нет, н-нет! кажется, он не пьян, – впрочем, может быть, и пьян; красное лицо. Да хотя бы и пьян, – все на одно выйдет. С чем он подъезжает? Чего хочется этой каналье?»

– Помните, помните, – выкрикивал Павел Павлович, помаленьку отнимая шляпу и как бы все сильнее и сильнее увлекаясь воспоминаниями, – помните ли вы наши загородные поездки, наши вечера и вечеринки с танцами и невинными играми у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича? А наши вечерние чтения втроем? А наше первое с вами знакомство, когда вы вошли ко мне утром, для справок по вашему делу, и стали даже кричать-с, и вдруг вышла Наталья Васильевна, и через десять минут вы уже стали нашим искреннейшим другом дома ровно на целый год-с – точь-в-точь как в «Провинциалке», пиесе господина Тургенева…

Вельчанинов медленно прохаживался, смотрел в землю, слушал с нетерпением и отвращением, но – сильно слушал.

– Мне и в голову не приходила «Провинциалка», – перебил он, несколько теряясь, – и никогда вы прежде не говорили таким пискливым голосом и таким… не своим слогом. К чему это?

– Я действительно прежде больше молчал-с, то есть был

молчаливее-с, – поспешно подхватил Павел Павлович, – вы знаете, я прежде больше любил слушать, когда заговаривала покойница. Вы помните, как она разговаривала, с каким остроумием-с… А насчет «Провинциалки» и собственно насчет Ступендьева, – то вы и тут правы, потому что мы это сами, потом, с бесценной покойницей в иные тихие минуты вспоминая о вас-с, когда вы уже уехали, – приравнивали к этой театральной пиесе нашу первую встречу… потому что ведь и в самом деле было похоже-с. А собственно уж насчет Ступендьева…

– Какого это Ступендьева, черт возьми! – закричал Вельчанинов и даже топнул ногой, совершенно уже смутившись при слове «Ступендьев», по поводу некоторого беспокойного воспоминания, замелькавшего в нем при этом слове.

– А Ступендьев – это роль-с, театральная роль, роль мужа в пиесе «Провинциалка», – пропищал сладчайшим голоском Павел Павлович, – но это уже относится к другому разряду дорогих и прекрасных наших воспоминаний, уже после вашего отъезда, когда Степан Михайлович Багаутов подарил нас своею дружбою, совершенно как вы-с, и уже на целых пять лет.

– Багаутов? Что такое? Какой Багаутов? – как вкопанный остановился вдруг Вельчанинов.

– Багаутов, Степан Михайлович, подаривший нас своею дружбою ровно через год после вас и… подобно вам-с.

– Ах, боже мой, ведь я же это знаю! – вскричал Вельчани-

нов, сообразив, наконец. – Багаутов! да ведь он же служил у вас…

– Служил, служил! при губернаторе! Из Петербурга, самого высшего общества изящнейший молодой человек! – в решительном восторге выкрикивал Павел Павлович.

– Да-да-да! Что ж я! ведь и он тоже…

– И он тоже, и он тоже! – в том же восторге вторил Павел Павлович, подхватив неосторожное словцо хозяина, – и он тоже! И вот тут-то мы и играли «Провинциалку», на домашнем театре, у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича, – Степан Михайлович – графа, я – мужа, а покойница – провинциалку, – но только у меня отняли роль мужа по настоянию покойницы, так что я и не играл мужа, будто бы по неспособности-с…

– Да какой черт вы Ступендьев! Вы прежде всего Павел Павлович Трусоцкий, а не Ступендьев! – грубо, не церемонясь и чуть не дрожа от раздражения, проговорил Вельчанинов. – Только позвольте: этот Багаутов здесь, в Петербурге; я сам его видел, весной видел! Что ж вы к нему-то тоже не идете?

– Каждый божий день захожу, вот уже три недели-с. Не принимают! Болен, не может принять! И представьте, из первейших источников узнал, что ведь и вправду чрезвычайно опасно болен! Этакой-то шестилетний друг! Ах, Алексей Иванович, говорю же вам и повторяю, что в таком настроении иногда провалиться сквозь землю желаешь, даже вза-

правду-с; а в другую минуту так бы, кажется, взял да и обнял, и именно кого-нибудь вот из прежних-то этих, так сказать, очевидцев и соучастников, и единственно для того только, чтоб заплакать, то есть совершенно больше ни для чего, как чтоб только заплакать!..

– Ну, однакоже, довольно с вас на сегодня, ведь так? – резко проговорил Вельчанинов.

– Слишком, слишком довольно! – тотчас же поднялся с места Павел Павлович. – Четыре часа, и, главное, я вас так эгоистически потревожил…

– Слушайте же: я к вам сам зайду, непременно, и тогда уж надеюсь… Скажите мне прямо, откровенно скажите: вы не пьяны сегодня?

– Пьян? Ни в одном глазу…

– Не пили перед приходом или раньше?

– Знаете, Алексей Иванович, у вас совершенная лихорадка-с.

– Завтра же зайду, утром, до часу…

– И давно уже замечаю, что вы почти как в бреду-с, – с наслаждением перебивал и налегал на эту тему Павел Павлович. – Мне так, право, совестно, что я моею неловкостию… но иду, иду! А вы лягте-ка и засните-ка!

– А что ж вы не сказали, где живете? – спохватился и закричал ему вдогонку Вельчанинов.

– А разве не сказал-с? в Покровской гостинице…

– В какой еще Покровской гостинице?

– Да у самого Покрова, тут, в переулке-с, – вот забыл, в каком переулке, да и номер забыл, только близ самого Покрова…

– Отыщу!

– Милости просим дорогого гостя.

Он уже выходил на лестницу.

– Стойте! – крикнул опять Вельчанинов, – вы не удерете?

– То есть как «удерете»? – вытаращил глаза Павел Павлович, поворачиваясь и улыбаясь с третьей ступеньки.

Вместо ответа Вельчанинов шумно захлопнул дверь, тщательно запер ее и насадил в петлю крюк. Воротясь в комнату, он плюнул, как бы чем-нибудь опоганившись.

Простояв минут пять неподвижно среди комнаты, он бросился на постель, совсем уже не раздеваясь, и в один миг заснул. Забытая свечка так и догорела до конца на столе.

IV
Жена, муж и любовник

Он спал очень крепко и проснулся ровно в половине десятого; мигом приподнялся, сел на постель и тотчас же начал думать о смерти «этой женщины».

Потрясающее вчерашнее впечатление при внезапном известии об этой смерти оставило в нем какое-то смятение и даже боль. Это смятение и боль были только заглушены в нем на время одной странной идеей вчера, при Павле Павло-

виче. Но теперь, при пробуждении, все, что было девять лет назад, предстало вдруг перед ним с чрезвычайною яркостью.

Эту женщину, покойную Наталью Васильевну, жену «этого Трусоцкого», он любил и был ее любовником, когда по своему делу (и тоже по поводу процесса об одном наследстве) он оставался в Т. целый год, – хотя собственно дело и не требовало такого долгого срока его присутствия; настоящей же причиной была эта связь. Связь и любовь эта до того сильно владели им, что он был как бы в рабстве у Натальи Васильевны и, наверно, решился бы тотчас на что-нибудь даже из самого чудовищного и бессмысленного, если б этого потребовал один только малейший каприз этой женщины. Ни прежде, ни потом никогда не было с ним ничего подобного. В конце года, когда разлука была уже неминуема, Вельчанинов был в таком отчаянии при приближении рокового срока, – в отчаянии, несмотря на то, что разлука предполагалась на самое короткое время, – что предложил Наталье Васильевне похитить ее, увезти от' мужа, бросить все и уехать с ним за границу навсегда. Только насмешки и твердая настойчивость этой дамы (вполне одобрявшей этот проект вначале, но, вероятно, только от скуки или чтобы посмеяться) могли остановить его и понудить уехать одного. И что же? Не прошло еще двух месяцев после разлуки, как он в Петербурге уже задавал себе тот вопрос, который так и остался для него навсегда неразрешенным: любил ли в самом деле он эту женщину, или все это было только одним

«наваждением»? И вовсе не от легкомыслия или под влиянием начавшейся в нем новой страсти зародился в нем этот вопрос: в эти первые два месяца в Петербурге он был в каком-то исступлении и вряд ли заметил хоть одну женщину, хотя тотчас же пристал к прежнему обществу и успел увидеть сотню женщин. Впрочем, он отлично хорошо знал, что очутись он тотчас опять в Т., то немедленно подпадет снова под все гнетущее обаяние этой женщины, несмотря на все зародившиеся вопросы. Даже пять лет спустя он был в том же самом убеждении. Но пять лет спустя он уже признавался в этом себе с негодованием и даже об самой «женщине этой» вспоминал с ненавистью. Он стыдился своего т-ского года; он не мог пенять даже возможности такой «глупой» страсти для него, Вельчанинова! Все воспоминания об этой страсти обратились для него в позор; он краснел до слез и мучился угрызениями. Правда, еще через несколько лет он уже несколько успел себя успокоить; он постарался все это забыть – и почти успел. И вот вдруг, девять лет спустя, все это так внезапно и странно воскресает перед ним опять после вчерашнего известия о смерти Натальи Васильевны.

Теперь, сидя на своей постели, с смутными мыслями, беспорядочно толпившимися в его голове, он чувствовал и сознавал ясно только одно, – что, несмотря на все вчерашнее «потрясающее впечатление» при этом известии, он все-таки очень спокоен насчет того, что она умерла. «Неужели я о ней даже и не пожалею?» – спрашивал он себя. Правда, он уже

не ощущал к ней теперь ненависти и мог беспристрастнее, справедливее судить о ней. По его мнению, уже давно, впрочем, сформировавшемуся в этот девятилетний срок разлуки, Наталья Васильевна принадлежала к числу самых обыкновенных провинциальных дам из «хорошего» провинциального общества, и – «кто знает, может, так оно и было, и только я один составил из нее такую фантазию?» Он, впрочем, всегда подозревал, что в этом мнении могла быть и ошибка; почувствовал это и теперь. Да и факты противоречили; этот Багаутов был несколько лет тоже с нею в связи и, кажется, тоже «под всем обаянием». Багаутов, действительно, был молодой человек из лучшего петербургского общества и, так как он «человек пустейший» (говорил об нем Вельчанинов), то, стало быть, мог сделать свою карьеру только в одном Петербурге. Но вот, однакоже, он пренебрег Петербургом, то есть главнейшею своею выгодою, и потерял же пять лет в Т. единственно для этой женщины! Да и воротился, наконец, в Петербург, может, потому-только, что и его тоже выбросили, как «старый изношенный башмак». Значит, было же в этой женщине что-то такое необыкновенное – дар привлечения, порабощения и владычества!

А между тем, казалось бы, она и средств не имела, чтобы привлекать и порабощать: «собой была даже и не так чтобы хороша, а может быть, и просто нехороша»; Вельчанинов застал ее уже двадцати восьми лет. Не совсем красивое ее лицо могло иногда приятно оживляться, но глаза были нехороши:

какая-то излишняя твердость была в ее взгляде. Она была очень худа. Умственное образование ее было слабое; ум был бесспорный и проницательный, но почти всегда односторонний. Манеры светской провинциальной дамы и при этом, правда, много такту; изящный вкус, но преимущественно в одном только уменье одеться. Характер решительный и владычествующий; примирения наполовину с нею быть не могло ни в чем: «или все, или ничего». В делах затруднительных твердость и стойкость удивительные. Дар великодушия и почти всегда с ним же рядом – безмерная несправедливость. Спорить с этой барыней было невозможно: дважды два для нее никогда ничего не значили. Никогда ни в чем не считала она себя несправедливою или виноватою. Постоянные и бесчисленные измены ее мужу нисколько не тяготили ее совести. По сравнению самого Вельчанинова, она была как «хлыстовская богородица», которая в высшей степени сама верует в то, что она и в самом деле богородица, – в высшей степени веровала и Наталья Васильевна в каждый из своих поступков. Любовнику она была верна – впрочем, только до тех пор, пока он не наскучил. Она любила мучить любовника, но любила и награждать. Тип был страстный, жестокий и чувственный. Она ненавидела разврат, осуждала его с неимоверным ожесточением и – сама была развратна. Никакие факты не могли бы никогда привести ее к сознанию в своем собственном разврате. «Она, наверно, *искренно* не знает об этом», – думал Вельчанинов об ней еще в Т. (За-

метим мимоходом, сам участвуя в ее разврате.) «Это одна из тех женщин, – думал он, – которые как будто для того и родятся, чтобы быть неверными женами. Эти женщины никогда не падают в девицах; закон природы их – непременно быть для этого замужем. Муж – первый любовник, но не иначе, как после венца. Никто ловче и легче их не выходит замуж. В первом любовнике всегда муж виноват. И все происходит в высшей степени искренно; они до конца чувствуют себя в высшей степени справедливыми и, конечно, совершенно невинными».

Вельчанинов был убежден, что действительно существует такой тип таких женщин; но зато был убежден, что существует и соответственный этим женщинам тип мужей, которых единое назначение заключается только в том, чтобы соответствовать этому женскому типу. По его мнению, сущность таких мужей состоит в том, чтоб быть, так сказать, «вечными мужьями» или, лучше сказать, быть в жизни *только* мужьями и более уж ничем. «Такой человек рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись, немедленно обратиться в придаточное своей жены, даже и в том случае, если б у него случился и свой собственный, неоспоримый характер. Главный признак такого мужа – известное украшение. Не быть рогоносцем он не может, точно так же, как не может солнце не светить; но он об этом не только никогда не знает, но даже и никогда не может узнать по самым законам природы». Вельчанинов глубоко верил,

что существуют эти два типа и что Павел Павлович Трусоцкий в Т. был совершенным представителем одного из них. Вчерашний Павел Павлович, разумеется, был не тот Павел Павлович, который был ему известен в Т. Он нашел, что он до невероятности изменился, но Вельчанинов знал, что он и не мог не измениться и что все это было совершенно естественно; господин Трусоцкий мог быть всем тем, чем был прежде, только при жизни жены, а теперь это была только часть целого, выпущенная вдруг на волю, то есть что-то удивительное и ни на что не похожее.

Что же касается до т-ского Павла Павловича, то вот что упомнил о нем и припомнил теперь Вельчанинов:

«Конечно, Павел Павлович в Т. был только муж» и ничего более. Если, например, он был, сверх того, и чиновник, то единственно потому, что для него и служба обращалась, так сказать, в одну из обязанностей его супружества; он служил для жены и для ее светского положения в Т., хотя и сам по себе был весьма усердным чиновником. Ему было тогда тридцать пять лет, и обладал он некоторым состоянием, даже и не совсем маленьким. На службе особенных способностей не выказывал, но не выказывал и неспособности. Водился со всем, что было высшего в губернии, и слыл на прекрасной ноге. Наталью Васильевну в Т. совершенно уважали; она, впрочем, и не очень это ценила, принимая как должное, но у себя умела всегда принять превосходно, причем Павел Павлович был так ею вышколен, что мог иметь облаго-

роженные манеры даже и при приеме самых высших губернских властей. Может быть (казалось Вельчанинову), у него был и ум; но так как Наталья Васильевна не очень любила, когда супруг ее много говорил, то ума и нельзя было очень заметить. Может быть, он имел много прирожденных хороших качеств, равно как и дурных. Но хорошие качества были как бы под чехлом, а дурные поползновения были заглушены почти окончательно. Вельчанинов помнил, например, что у господина Трусоцкого рождалось иногда поползновение посмеяться над своим ближним; но это было ему строго запрещено. Любил он тоже иногда что-нибудь рассказать; но и над этим наблюдалось: рассказать позволялось только что-нибудь понезначительнее и покороче. Он склонен был к приятельскому кружку вне дома и даже – выпить с приятелем; но последнее даже в корень было истреблено. И при этом черта: взглянув снаружи, никто не мог бы сказать, что это муж под башмаком; Наталья Васильевна казалась совершенно послушною женой и даже, может быть, сама была в этом уверена. Могло быть, что Павел Павлович любил Наталью Васильевну без памяти; но заметить этого не мог никто, и даже было невозможно, вероятно, тоже по домашнему распоряжению самой Натальи Васильевны. Несколько раз в продолжение своей т-ской жизни спрашивал себя Вельчанинов: подозревает ли его этот муж хоть сколько-нибудь в связи с своей женой? Несколько раз он спрашивал об этом серьезно Наталью Васильевну и всегда получал в ответ, высказан-

ный с некоторой досадой, что муж ничего не знает и никогда ничего не может узнать, и что «все, что есть – совсем не его дело». Еще черта с ее стороны: над Павлом Павловичем она никогда не смеялась и ни в чем не находила его ни смешным, ни очень дурным, и даже очень бы заступилась за него, если бы кто осмелился оказать ему какую-нибудь неучтивость. Не имея детей, она, естественно, должна была обратиться преимущественно в светскую женщину; но и свой дом был ей необходим. Светские удовольствия никогда не царили над нею вполне, и дома она очень любила заниматься хозяйством и рукодельями. Павел Павлович вспомнил вчера об их семейных чтениях в Т. по вечерам; это бывало: читал Вельчанинов, читал и Павел Павлович; к удивлению Вельчанинова, он очень хорошо умел читать вслух. Наталья Васильевна при этом что-нибудь вышивала и выслушивала чтение всегда спокойно и ровно. Читались романы Диккенса, что-нибудь из русских журналов, а иногда что-нибудь и из «серьезного». Наталья Васильевна высоко ценила образованность Вельчанинова, но молчаливо, как дело поконченное и решенное, о котором уже нечего больше и говорить; вообще же ко всему книжному и ученому относилась равнодушно, как совершенно к чему-то постороннему, хотя, может быть, и полезному; Павел же Павлович иногда с некоторым жаром.

Т-ская связь порвалась вдруг, достигнув со стороны Вельчанинова самого полного верха и даже почти безумия. Его просто и вдруг прогнали, хотя все устроилось так, что он

уехал совершенно не ведая, что уже выброшен, «как старый, негодный башмак». Тут в Т., месяца за полтора до его отбытия, появился один молоденький артиллерийский офицерик, только что выпущенный из корпуса, и повадился ездить к Трусоцким; вместо троих очутилось четверо. Наталья Васильевна принимала мальчика благосклонно, но обращалась с ним как с мальчиком. Вельчанинову было решительно ничего невдомек, да и не до того ему было тогда, так как ему вдруг объявили о необходимости разлуки. Одною из сотни причин для непременного и скорейшего его отъезда, выставленных Натальей Васильевной, была и та, что ей показалось, будто она беременна; а потому и естественно, что ему надо непременно и сейчас же скрыться хоть месяца на три или на четыре, чтобы через девять месяцев мужу труднее было в чем-нибудь усумниться, если б и вышла потом какая-нибудь клевета. Аргумент был довольно натянутый. После бурного предложения Вельчанинова бежать в Париж или в Америку он уехал один в Петербург, «без сомнения, на одну только минутку», то есть не более как на три месяца, иначе он не уехал бы ни за что, несмотря ни на какие причины и аргументы. Ровно через два месяца он получил в Петербурге от Натальи Васильевны письмо с просьбою не приезжать никогда, потому что она уже любила другого; про беременность же свою уведомляла, что она ошиблась. Уведомление об ошибке было лишнее, ему все уже было ясно: он вспомнил про офицерика. Тем дело и кончилось навсегда. Слышал как-то

он потом, уже несколько лет спустя, что там очутился Багаутов и пробыл целые пять лет. Такую безмерную продолжительность связи он объяснил себе, между прочим, и тем, что Наталья Васильевна, верно, уже сильно постарела, а потому и сама стала привязчивее.

Он просидел на своей кровати почти час; наконец, опомнился, позвонил Мавру с кофеем, выпил наскоро, оделся и ровно в одиннадцать часов отправился к Покрову отыскивать Покровскую гостиницу. Насчет собственно Покровской гостиницы в нем сформировалось теперь особое, уже утрешнее впечатление. Между прочим, ему было даже несколько совестно за вчерашнее свое обращение с Павлом Павловичем, и это надо было теперь разрешить.

Всю вчерашнюю фантасмагорию с замком у дверей он объяснял случайностию, пьяным видом Павла Павловича и, пожалуй, еще кое-чем, но, в сущности, не совсем точно знал, зачем он идет теперь завязывать какие-то новые отношения с прежним мужем, тогда как все так естественно и само собою между ними покончилось. Его что-то влекло; было тут какое-то особое впечатление, и вследствие этого впечатления его влекло…

V
Лиза

Павел Павлович «удирать» и не думал, да и бог знает для

чего Вельчанинов ему сделал вчера этот вопрос; подлинно сам был в затмении. По первому спросу в мелочной лавочке у Покрова ему указали Покровскую гостиницу, в двух шагах в переулке. В гостинице объяснили, что господин Трусоцкий «стали» теперь тут же на дворе, во флигеле, в меблированных комнатах у Марьи Сысоевны. Поднимаясь по узкой, залитой и очень нечистой каменной лестнице флигеля во второй этаж, где были эти комнаты, он вдруг услышал плач. Плакал как будто ребенок, лет семи-восьми; плач был тяжелый, слышались заглушаемые, но прорывающиеся рыдания, а вместе с ними топанье ногами и тоже как бы заглушаемые, но яростные окрики, какой-то сиплой фистулой, но уже взрослого человека. Этот взрослый человек, казалось, унимал ребенка и очень не желал, чтобы плач слышали, но шумел больше его. Окрики были безжалостные, а ребенок точно как бы умолял о прощении. Вступив в небольшой коридор, по обеим сторонам которого было по две двери, Вельчанинов встретил одну очень толстую и рослую бабу, растрепанную по-домашнему, и спросил ее о Павле Павловиче. Она ткнула пальцем на дверь, из-за которой слышен был плач. Толстое и багровое лицо этой сорокалетней бабы было в некотором негодовании.

– Вишь, ведь потеха ему! – пробасила она вполголоса и прошла на лестницу. Вельчанинов хотел было постучаться, но раздумал и прямо отворил дверь к Павлу Павловичу. В небольшой комнате грубо, но обильно меблированной про-

стой крашеной мебелью, посредине стоял Павел Павлович, одетый лишь до половины, без сюртука и без жилета, и с раздраженным красным лицом унимал криком, жестами, а может быть (показалось Вельчанинову), и пинками, маленькую девочку, лет восьми, одетую бедно, хотя и барышней, в черном шерстяном коротеньком платьице. Она, казалось, была в настоящей истерике, истерически всхлипывала и тянулась руками к Павлу Павловичу, как бы желая охватить его, обнять его, умолить и упросить о чем-то. В одно мгновение все изменилось: увидев гостя, девочка вскрикнула и стрельнула в соседнюю крошечную комнатку, а Павел Павлович, на мгновение озадаченный, тотчас же весь растаял в улыбке, точь-в-точь как вчера, когда Вельчанинов вдруг отворил дверь к нему на лестницу.

– Алексей Иванович! – вскричал он в решительном удивлении. – Никоим образом не мог ожидать… но вот сюда, сюда! Вот здесь, на диван, или сюда, в кресла, а я… – И он бросился одевать сюртук, забыв надеть жилет.

– Не церемоньтесь, оставайтесь в чем вы есть, – Вельчанинов уселся на стул.

– Нет, уж позвольте-с поцеремониться; вот я теперь и поприличнее. Да куда ж вы уселись в углу? Вот сюда, в кресла, к столу бы… Ну, не ожидал, не ожидал!

Он тоже уселся на краешке плетеного стула, но не рядом с «неожиданным» гостем, а поворотив стул углом, чтобы сесть более лицом к Вельчанинову.

– Почему ж не ожидали? Ведь я именно назначил вчера, что приду к вам в это время?

– Думал, что не придете-с; и как сообразил все вчерашнее, проснувшись, так решительно уж отчаялся вас увидеть, даже навсегда-с.

Вельчанинов меж тем осмотрелся кругом. Комната была в беспорядке, кровать не убрана, платье раскидано, на столе стаканы с выпитым кофеем, крошки хлеба и бутылка шампанского, до половины недопитая, без пробки и со стаканом подле. Он накосился взглядом в соседнюю комнату, но там все было тихо; девочка притаилась и замерла.

– Неужто вы пьете это теперь? – указал Вельчанинов на шампанское.

– Остатки-с… – сконфузился Павел Павлович.

– Ну переменились же вы!

– Дурные привычки и вдруг-с. Право, с того срока; не лгу-с! Удержать себя не могу. Теперь не беспокойтесь, Алексей Иванович, я теперь не пьян и не стану нести околесины, как вчера у вас-с, но верно вам говорю: все с того срока-с! И скажи мне кто-нибудь еще полгода назад, что я вдруг так расшатаюсь, как вот теперь-с, покажи мне тогда меня самого в зеркале – не поверил бы!

– Стало быть, вы были же вчера пьяны?

– Был-с, – вполголоса признался Павел Павлович, конфузливо опуская глаза, – и видите ли-с: не то что пьян, а уж несколько позже-с. Я это для того объяснить желаю, что поз-

же у меня хуже-с: хмелю уж немного, а жестокость какая-то и безрассудство остаются, да и горе сильнее ощущаю. Для горя-то, может, и пью-с. Тут-то я и накуролесить могу совсем даже глупо-с и обидеть лезу. Должно быть, себя очень странно вам представил вчера?

– Вы разве не помните?

– Как не помнить, все помню-с…

– Видите, Павел Павлович, я совершенно так же подумал и объяснил себе, – примирительно сказал Вельчанинов, – сверх того, я сам вчера был с вами несколько раздражителен и… излишне нетерпелив, в чем сознаюсь охотно. Я не совсем иногда хорошо себя чувствую, и нечаянный приход ваш ночью…

– Да, ночью, ночью! – закачал головой Павел Павлович, как бы удивляясь и осуждая. – И как это меня натолкнуло! Ни за что бы я к вам не зашел, если б вы только сами не отворили-с; от дверей бы ушел-с. Я к вам, Алексей Иванович, с неделю тому назад заходил и вас не застал, но потом, может быть, и никогда не зашел бы в другой раз-с. Все-таки и я немножко горд тоже, Алексей Иванович, хоть и сознаю себя… в таком состоянии. Мы и на улице встречались, да все думаю: а ну как не узнает, а ну как отвернется, девять лет не шутка, – и не решался подойти. А вчера с Петербургской стороны брел, да и час забыл-с. Все от этого (он указал на бутылку), да от чувства-с. Глупо! очень-с! и будь человек не таков, как вы, – потому что ведь пришли же вы ко мне даже

после вчерашнего, вспомня старое, – так я бы даже надежду потерял знакомство возобновить.

Вельчанинов слушал со вниманием. Человек этот говорил, кажется, искренно и с некоторым даже достоинством; а между тем он ничему не верил с самой той минуты, как вошел к нему.

– Скажите, Павел Павлович, вы здесь, стало быть, не один? Чья это девочка, которую я застал при вас давеча?

Павел Павлович даже удивился и поднял брови, но ясно и приятно посмотрел на Вельчанинова.

– Как чья девочка? да ведь это Лиза! – проговорил он, приветливо улыбаясь.

– Какая Лиза? – пробормотал Вельчанинов, и что-то вдруг как бы дрогнуло в нем. Впечатление было слишком внезапное. Давеча, войдя и увидев Лизу, он хоть и подивился, но не ощутил в себе решительно никакого предчувствия, никакой особенной мысли.

– Да наша Лиза, дочь наша Лиза! – улыбался Павел Павлович.

– Как дочь? Да разве у вас с Натальей… с покойной Натальей Васильевной были дети? – недоверчиво и робко спросил Вельчанинов каким-то уж очень тихим голосом.

– Да как же-с? Ах, боже мой, да ведь и в самом деле от кого же вы могли знать? Что ж это я! это уже после вас нам Бог даровал!

Павел Павлович привскочил даже со стула от некоторого

волнения, впрочем, тоже как бы приятного.

– Я ничего не слыхал, – сказал Вельчанинов и – побледнел.

– Действительно, действительно, от кого же вам было и узнать-с! – повторил Павел Павлович расслабленно-умиленным голосом. – Мы ведь и надежду с покойницей потеряли, сами ведь вы помните, и вдруг благословляет Господь, и что со мной тогда было, – это ему только одному известно! ровно, кажется, через год после вас! или нет, не через год, далеко нет, постойте-с: вы ведь от нас тогда, если не ошибаюсь памятью, в октябре или даже в ноябре выехали?

– Я уехал из Т. в начале сентября, двенадцатого сентября; я хорошо помню…

– Неужели в сентябре? гм… что ж это я? – очень удивился Павел Павлович. – Ну, так если так, то позвольте же: вы выехали сентября двенадцатого-с, а Лиза родилась мая восьмого, это, стало быть, сентябрь – октябрь – ноябрь – декабрь – январь – февраль – март – апрель, – через восемь месяцев с чем-то-с, вот-с! и если б вы только знали, как покойница…

– Покажите же мне… позовите же ее… – каким-то срывавшимся голосом пролепетал Вельчанинов.

– Непременно-с! – захлопотал Павел Павлович, тотчас же прерывая то, что хотел сказать, как вовсе ненужное, – сейчас, сейчас вам представлю-с! – и торопливо отправился в комнату к Лизе.

Прошло, может быть, целых три или четыре минуты;

в комнатке скоро и быстро шептались, и чуть-чуть послышались звуки голоса Лизы; «она просит, чтобы ее не выводили», – думал Вельчанинов. Наконец, вышли.

– Вот-с, все конфузится, – сказал Павел Павлович, – стыдливая такая, гордая-с… и вся-то в покойницу!

Лиза вышла уже без слез, с опущенными глазами; отец вел ее за руку. Это была высоконькая, тоненькая и очень хорошенькая девочка. Она быстро подняла свои большие голубые глаза на гостя, с любопытством, но угрюмо посмотрела на него и тотчас же опять опустила глаза. Во взгляде ее была та детская важность, когда дети, оставшись одни с незнакомым, уйдут в угол и оттуда важно и недоверчиво поглядывают на нового, никогда еще и не бывшего гостя; но была, может быть, и другая, как бы уж и не детская мысль, – так показалось Вельчанинову. Отец подвел ее к нему вплоть.

– Вот этот дяденька мамашу знал прежде, друг наш был, ты не дичись, протяни руку-то.

Девочка слегка наклонилась и робко протянула руку.

– У нас Наталья Васильевна не хотела учить ее приседать в знак приветствия, а так на английский манер слегка наклониться и протянуть гостю руку, – прибавил он в объяснение Вельчанинову, пристально в него всматриваясь.

Вельчанинов знал, что он всматривается, но совсем уже не заботился скрывать свое волнение; он сидел на стуле не шевелясь, держал руку Лизы в своей руке и пристально вглядывался в ребенка. Но Лиза была чем-то очень озабочена и,

забыв свою руку в руке гостя, не сводила глаз с отца. Она боязливо прислушивалась ко всему, что он говорил. Вельчанинов тотчас же признал эти большие голубые глаза, но всего более поразили его удивительная, необычайно нежная белизна ее лица и цвет волос; эти признаки были слишком для него значительны. Оклад лица и склад губ, напротив того, резко напоминал Наталью Васильевну. Павел Павлович между тем давно уже начал что-то рассказывать, казалось с чрезвычайным жаром и чувством, но Вельчанинов совсем не слыхал его. Он захватил только одну последнюю фразу:

– …так что вы, Алексей Иванович, даже и вообразить не можете нашей радости при этом даре Господнем-с! Для меня она все составила своим появлением, так что если б и исчезло по воле Божьей мое тихое счастье, – так вот, думаю, останется мне Лиза; вот что по крайней мере я твердо знал-с!

– А Наталья Васильевна? – спросил Вельчанинов.

– Наталья Васильевна? – покривился Павел Павлович. – Ведь вы ее знаете, помните-с, она много высказывать не любила, но зато как прощалась с нею на смертном одре… тутто вот все и высказалось-с! И вот я вам сказал сейчас «на смертном одре-с»; а меж тем вдруг, за день уже до смерти, волнуется, сердится, – говорит, что ее лекарствами залечить хотят, что у ней одна только простая лихорадка, и оба наши доктора ничего не смыслят, и как только вернется Кох (помните, штаб-лекарь-то наш, старичок), так она через две недели встанет с постели! Да куда, уже за пять только часов

до отхода вспоминала, что через три недели непременно надо тетку, именинницу, посетить, в имении ее, Лизину крестную мать-с…

Вельчанинов вдруг поднялся со стула, все еще не выпуская ручку Лизы. Ему, между прочим, показалось, что в горячем взгляде девочки, устремленном на отца, было что-то укорительное.

– Она не больна? – как-то странно, торопливо спросил он.

– Кажется бы, нет-с, но… обстоятельства-то вот наши так здесь сошлись, – проговорил Павел Павлович с горестною заботливостью, – ребенок странный и без того-с, нервный, после смерти матери больна была две недели, истерическая-с. Давеча ведь какой у нас плач был, как вы вошли-с, – слышишь, Лиза, слышишь? – а ведь из-за чего-с? Все в том, что я ухожу и ее оставляю, значит, дескать, что уж и не люблю больше так, как ее при мамаше любил, – вот в чем обвиняет меня. И забредет же в голову такая фантазия такому еще ребенку-с, которому бы только в игрушки играть. А здесь и поиграть-то ей не с кем.

– Так как же вы… вы здесь разве совсем только вдвоем?

– Совсем одинокие-с; служанка только разве прислужить придет, раз на дню.

– А уходите, ее одну так и оставляете?

– А то как же-с? А вчера уходил, так даже запер ее, вот в той комнатке, из-за того у нас и слезы вышли сегодня. Да ведь что же было делать, посудите сами: третьего дня сошла

она вниз без меня, а мальчик ей в голову камнем пустил. А то заплачет, да и бросится у всех на дворе расспрашивать: куда я ушел? а ведь это нехорошо-с. Да и я-то хорош: уйду на час, а приду на другой день поутру, так и вчера сошлось. Хорошо еще, что хозяйка без меня отперла ей, слесаря призывала замок отворить, – даже срам-с, – подлинно сам себя извергом чувствую-с. Все от затмения-с…

– Папаша! – робко и беспокойно проговорила девочка.

– Ну, вот и опять! опять ты за то же! что я давеча говорил?

– Я не буду, я не буду, – в страхе, торопливо складывая перед ним руки, повторила Лиза.

– Так не может продолжаться у вас, при такой обстановке, – нетерпеливо заговорил вдруг Вельчанинов голосом власть имеющего. – Ведь вы… ведь вы человек с состоянием же; как же вы так – во-первых, в этом флигеле и при такой обстановке?

– Во флигеле-то-с? да ведь через неделю, может, уже и уедем-с, а денег и без того много потратили, хотя бы и с состоянием-с…

– Ну, довольно, довольно, – прервал его Вельчанинов все с более и более возраставшим нетерпением, как бы явно говоря: «Нечего говорить, все знаю, что ты скажешь, и знаю, с каким намерением ты говоришь!» – Слушайте, я вам делаю предложение: вы сейчас сказали, что останетесь неделю, пожалуй, может, и две. У меня здесь есть один дом, то есть такое семейство, где я как в родном своем углу, – вот уже два-

дцать лет. Это семейство одних Погорельцевых. Погорельцев Александр Павлович, тайный советник; даже вам, пожалуй, пригодится по вашему делу. Они теперь на даче. У них богатейшая своя дача. Клавдия Петровна Погорельцева мне как сестра, как мать. У них восемь человек детей. Дайте я сейчас же свезу к ним Лизу… я для того, чтоб времени не терять. Они с радостью примут, на все это время, обласкают, как родную дочь, как родную дочь!

Он был в ужасном нетерпении и не скрывал этого.

– Это как-то уж невозможно-с, – проговорил Павел Павлович с ужимкою и хитро, как показалось Вельчанинову, засматривая ему в глаза.

– Почему? Почему невозможно?

– Да как же-с, отпустить так ребенка, и вдруг-с – положим, с таким искренним благоприятелем, как вы, я не про то-с, но все-таки в дом незнакомый, и такого уж высшего общества-с, где я еще и не знаю, как примут.

– Да я же сказал вам, что я у них как родной, – почти в гневе закричал Вельчанинов. – Клавдия Петровна за счастье почтет по одному моему слову. Как бы мою дочь… да черт возьми, ведь вы сами же знаете, что вы только так, чтобы болтать… чего же уж тут говорить!

Он даже топнул ногой.

– Я к тому, что не странно ли очень уж будет-с? Все-таки надо бы и мне хоть раз-другой к ней наведаться, а то как же совсем без отца-то-с? хе-хе… и в такой важный дом-с.

– Да это простейший дом, а вовсе не «важный»! – кричал Вельчанинов, – говорю вам, там детей много. Она там воскреснет, все для этого… А вас я сам завтра же отрекомендую, коли хотите. Да и непременно даже нужно будет вам съездить поблагодарить; каждый день будем ездить, если хотите…

– Все как-то-с…

– Вздор! Главное в том, что вы сами это знаете! Слушайте, заходите ко мне сегодня с вечера и ночуйте, пожалуй, а поутру пораньше и поедем, чтобы в двенадцать там быть.

– Благодетель вы мой! Даже и ночевать у вас… – с умилением согласился вдруг Павел Павлович, – подлинно благодеяние оказываете… а где ихняя дача-с?

– Дача их в Лесном.

– Только вот как же ее костюм-с? Потому-с в такой знатный дом, да еще на даче-с, сами знаете… Сердце отца-с!

– А какой ее костюм? Она в трауре. Разве может быть у ней другой костюм? Самый приличный, какой только можно вообразить! Только вот белье бы почище, косыночку… (Косыночка и выглядывавшее белье были действительно очень грязны.)

– Сейчас же, непременно переодеться, – захлопотал Павел Павлович, – а прочее необходимое белье мы ей тоже сейчас соберем; оно у Марьи Сысоевны в стирке-с.

– Так велеть бы послать за коляской, – перебил Вельчанинов, – и скорей, если б возможно.

Но оказалось препятствие: Лиза решительно воспротивилась, все время она со страхом прислушивалась, и если бы Вельчанинов, уговаривая Павла Павловича, имел время пристально к ней приглядеться, то увидел бы совершенное отчаяние на ее личике.

– Я не поеду, – сказала она твердо и тихо.

– Вот, вот видите-с, вся в мамашу!

– Я не в мамашу, я не в мамашу! – выкрикивала Лиза, в отчаянии ломая свои маленькие руки и как бы оправдываясь перед отцом в страшном упреке, что она в мамашу. – Папаша, папаша, если вы меня кинете…

Она вдруг накинулась на испугавшегося Вельчанинова.

– Если вы возьмете меня, так я…

Но она не успела ничего выговорить далее; Павел Павлович схватил ее за руку, чуть не за шиворот, и уже с нескрываемым озлоблением потащил ее в маленькую комнатку. Там опять несколько минут происходило шептанье, слышался заглушенный плач. Вельчанинов хотел было уже идти туда сам, но Павел Павлович вышел к нему и с искривленной улыбкой объявил, что сейчас она выйдет-с. Вельчанинов старался не глядеть на него и смотрел в сторону.

Явилась и Марья Сысоевна, та самая баба, которую встретил он, входя давеча в коридор, и стала укладывать в хорошенький маленький сак, принадлежавший Лизе, принесенное для нее белье.

– Вы, что ли, батюшка, девочку-то отвезете? – обратилась

она к Вельчанинову, – семейство, что ли, у вас? Хорошо, батюшка, сделаете: ребенок смирный, от содома избавите.

– Уж вы, Марья Сысоевна, – пробормотал было Павел Павлович.

– Что Марья Сысоевна! Меня и все так величают. Аль у тебя не содом? Прилично ли робеночку с понятием на такой срам смотреть? Коляску-то привели вам, батюшка, – до Лесного, что ли?

– Да, да.

– Ну и в добрый час!

Лиза вышла бледненькая, с потупленными глазками, и взяла сак. Ни одного взгляда в сторону Вельчанинова; она сдержала себя и не бросилась, как давеча, обнимать отца, даже при прощанье; видимо, даже не хотела поглядеть на него. Отец прилично поцеловал ее в головку и погладил; у ней закривилась при этом губка и задрожал подбородок, но глаз она на отца все-таки не подняла. Павел Павлович был как будто бледен, и руки у него дрожали – это ясно заметил Вельчанинов, хотя всеми силами старался не смотреть на него. Одного ему хотелось: поскорей уж уехать. «А там что ж, чем же я виноват? – думал он. – Так должно было быть». Сошли вниз, тут расцеловалась с Лизой Марья Сысоевна, и, только уже усевшись в коляску, Лиза подняла глаза на отца – и вдруг всплеснула руками и вскрикнула; еще миг, и она бы бросилась к нему из коляски, но лошади уже тронулись.

VI
Новая фантазия праздного человека

– Уж не дурно ли вам? – испугался Вельчанинов. – Я велю остановить, я велю вынести воды…

Она вскинула на него глазами и горячо, укорительно поглядела.

– Куда вы меня везете? – проговорила она резко и отрывисто.

– Это прекрасный дом, Лиза. Они теперь на прекрасной даче; там много детей, они вас там будут любить, они добрые… Не сердитесь на меня, Лиза, я вам добра хочу…

Странен бы показался он в эту минуту кому-нибудь из знавших его, если бы кто из них мог его видеть.

– Как вы, – как вы, – как вы… у, какие вы злые! – сказала Лиза, задыхаясь от подавляемых слез и засверкав на него озлобленными прекрасными глазами.

– Лиза, я…

– Вы злые, злые, злые! – Она ломала свои руки. Вельчанинов совсем потерялся.

– Лиза, милая, если б вы знали, в какое отчаяние вы меня приводите!

– Это правда, что он завтра приедет? Правда? – спросила она повелительно.

– Правда, правда! Я его сам привезу; я его возьму и при-

везу.

– Он обманет, – прошептала Лиза, опуская глаза в землю.

– Разве он вас не любит, Лиза?

– Не любит.

– Он вас обижал? Обижал?

Лиза мрачно посмотрела на него и промолчала. Она опять отвернулась от него и сидела, упорно потупившись. Он начал ее уговаривать, он говорил ей с жаром, он был сам в лихорадке. Лиза слушала недоверчиво, враждебно, но слушала. Внимание ее обрадовало его чрезвычайно: он даже стал объяснять ей, что такое пьющий человек. Он говорил, что сам ее любит и будет наблюдать за отцом. Лиза подняла, наконец, глаза и пристально на него поглядела. Он стал рассказывать, как он знал еще ее мамашу, и видел, что завлекает ее рассказами. Мало-помалу она начала понемногу отвечать на его вопросы, – но осторожно и односложно, с упорством. На главные вопросы она все-таки ничего не ответила: она упорно молчала обо всем, что касалось прежних ее отношений к отцу. Говоря с нею, Вельчанинов взял ее ручку в свою, как давеча, и не выпускал ее; она не отнимала. Девочка, впрочем, не все молчала; она все-таки проговорилась в неясных ответах, что отца она больше любила, чем мамашу, потому что он всегда прежде ее больше любил, а мамаша прежде ее меньше любила; но что когда мамаша умирала, то очень ее целовала и плакала, когда все вышли из комнаты и они остались вдвоем… и что она теперь ее больше всех любит, боль-

ше всех, всех на свете, и каждую ночь больше всех любит ее. Но девочка была действительно гордая: спохватившись о том, что она проговорилась, она вдруг опять замкнулась и примолкла; даже с ненавистью взглянула на Вельчанинова, заставившего ее проговориться. Под конец пути истерическое состояние ее почти прошло, но она стала ужасно задумчива и смотрела как дикарка, угрюмо, с мрачным, предрешенным упорством. Что же касается до того, что ее везут теперь в незнакомый дом, в котором она никогда не бывала, то это, кажется, мало ее покамест смущало. Мучило ее другое, это видел Вельчанинов; он угадывал, что ей стыдно его, что ей именно стыдно того, что отец так легко ее с ним отпустил, как будто бросил ее ему на руки.

«Она больна, – думал он, – может быть, очень; ее измучили… О пьяная, подлая тварь! Я теперь понимаю его!» Он торопил кучера; он надеялся на дачу, на воздух, на сад, на детей, на новую, незнакомую ей жизнь, а там, потом… Но в том, что будет после, он уже не сомневался нисколько; там были полные, ясные надежды. Об одном только он знал совершенно: что никогда еще он не испытывал того, что ощущает теперь, и что это останется при нем на всю его жизнь! «Вот цель, вот жизнь!» – думал он восторженно.

Много мелькало в нем теперь мыслей, но он не останавливался на них и упорно избегал подробностей: без подробностей все становилось ясно, все было нерушимо. Главный план его сложился сам собою: «Можно будет подействовать

на этого мерзавца, – мечтал он, – соединенными силами, и он оставит в Петербурге у Погорельцевых Лизу, хотя сначала только на время, на срок, и уедет один; а Лиза останется мне; вот и все, чего же тут более? И… и, конечно, он сам этого желает; иначе зачем бы ему ее мучить». Наконец, приехали. Дача Погорельцевых была действительно прелестное местечко; встретила их прежде всех шумная ватага детей, высыпавшая на крыльцо дачи. Вельчанинов уже слишком давно тут не был, и радость детей была неистовая: его любили. Постарше тотчас же закричали ему, прежде чем он вышел из коляски:

– А что процесс, что ваш процесс? – Это подхватили и самые маленькие и со смехом визжали вслед за старшими. Его здесь дразнили процессом. Но, увидев Лизу, тотчас же окружили ее и стали ее рассматривать с молчаливым и пристальным детским любопытством. Вышла Клавдия Петровна, а за нею ее муж. И она и муж ее тоже начали, с первого слова и смеясь, вопросом о процессе.

Клавдия Петровна была дама лет тридцати семи, полная и еще красивая брюнетка, с свежим и румяным лицом. Муж ее был лет пятидесяти пяти, человек умный и хитрый, но добряк прежде всего. Их дом был в полном смысле «родной угол» для Вельчанинова, как сам он выражался. Но тут скрывалось еще особое обстоятельство: лет двадцать назад эта Клавдия Петровна чуть было не вышла замуж за Вельчанинова, тогда еще почти мальчика, еще студента. Любовь

была первая, пылкая, смешная и прекрасная. Кончилось, однакоже, тем, что она вышла за Погорельцева. Лет через пять опять встретились, и все кончилось ясной и тихою дружбой. Осталась навсегда какая-то теплота в их отношениях, какой-то особенный свет, озарявший эти отношения. Тут все было чисто и безупречно в воспоминаниях Вельчанинова и тем дороже для него, что, может быть, единственно только тут это и было. Здесь, в этой семье, он был прост, наивен, добр, нянчил детей, не ломался никогда, сознавался во всем и исповедовался во всем. Он клялся не раз Погорельцевым, что поживет еще немного в свете, а там переедет к ним совсем и станет жить с ними, уже не разлучаясь. Про себя он думал об этом намерении вовсе не шутя.

Он довольно подробно изложил им о Лизе все, что было надо; но достаточно было одной его просьбы, безо всяких особенных изложений. Клавдия Петровна расцеловала «сиротку» и обещала сделать все с своей стороны. Дети подхватили Лизу и увели играть в сад. Через полчаса живого разговора Вельчанинов встал и стал прощаться. Он был в таком нетерпении, что всем это стало заметно. Все удивились: не был три недели и теперь уезжает через полчаса. Он смеялся и клялся, что приедет завтра. Ему заметили, что он в слишком сильном волнении; он вдруг взял за руки Клавдию Петровну и под предлогом, что забыл сказать что-то очень важное, отвел ее в другую комнату.

– Помните вы, что я вам говорил, – вам одной, и чего даже

муж ваш не знает, – о т-ском годе моей жизни?

– Слишком помню; вы часто об этом говорили.

– Я не говорил, а я исповедовался, и вам одной, вам одной! Я никогда не называл вам фамилии этой женщины; она – Трусоцкая, жена этого Трусоцкого. Это она умерла, а Лиза, ее дочь, – моя дочь!

– Это наверно? Вы не ошибаетесь? – спросила Клавдия Петровна с некоторым волнением.

– Совершенно, совершенно не ошибаюсь! – восторженно проговорил Вельчанинов.

И он рассказал сколько мог вкратце, спеша и волнуясь ужасно, – все. Клавдия Петровна и прежде знала это все, но фамилии этой дамы не знала. Вельчанинову до того становилось всегда страшно при одной мысли, что кто-нибудь из знающих его встретит когда-нибудь m-me Трусоцкую и подумает, что *он* мог *так* любить эту женщину, что даже Клавдии Петровне, единственному своему другу, он не посмел открыть до сих пор имени «этой женщины».

– И отец ничего не знает? – спросила та, выслушав рассказ.

– Н-нет, он знает… Это-то меня и мучит, что я еще не разглядел тут всего! – горячо продолжал Вельчанинов. – Он знает, знает; я это заметил сегодня и вчера. Но мне надо знать, сколько именно он тут знает? Я потому и спешу теперь. Сегодня вечером он придет. Недоумеваю, впрочем, откуда бы ему знать, – то есть всего знать? Про Багаутова он знает все,

в этом нет сомнения. Но про меня? Вы знаете, как в этом случае жены умеют заверить своих мужей! Сойди сам ангел с небеси – муж и тому не поверит, а поверит ей! Не качайте головой, не осуждайте меня, я сам себя осуждаю и осудил во всем давно, давно!.. Видите, давеча у него я до того был уверен, что он знает все, что компрометировал перед ним себя сам. Верите ли: мне так стыдно и тяжело, что я его вчера так грубо встретил. (Я вам потом все еще подробнее расскажу!) Он и зашел вчера ко мне из непобедимого злобного желания дать мне знать, что он знает свою обиду и что ему известен обидчик! Вот вся причина его глупого прихода в пьяном виде. Но это так естественно с его стороны! Он именно зашел укорить! Вообще я слишком горячо вел это давеча и вчера! Неосторожно, глупо! Сам себя ему выдал! Зачем он в такую расстроенную минуту подъехал? Говорю же вам, что он даже Лизу мучил, мучил ребенка, и, наверно, тоже чтоб укорить, чтоб зло сорвать хоть на ребенке! Да, он озлоблен, – как он ни ничтожен, но он озлоблен; очень даже. Само собою, это не более как шут, хотя прежде, ей-богу, он имел вид порядочного человека, насколько мог, но ведь это так естественно, что он пошел беспутничать! Тут, друг мой, по-христиански надо взглянуть! И знаете, милая, добрая моя, – я хочу к нему совсем перемениться: я хочу обласкать его. Это будет даже «доброе дело» с моей стороны. Потому что ведь все-таки я же перед ним виноват! Послушайте, знаете, я вам еще скажу: мне раз в Т. вдруг четыре тысячи рублей понадобились, и он

мне выдал их в одну минуту, безо всякого документа, с искреннею радостью, что мог угодить, и ведь я же взял тогда, я ведь из рук его взял, я деньги брал от него, слышите, брал как у друга!

– Только будьте осторожнее, – с беспокойством заметила на все это Клавдия Петровна, – и как вы восторженны, я, право, боюсь за вас! Конечно, Лиза теперь и моя дочь, но тут так много, так много еще неразрешенного! А главное, будьте теперь осмотрительнее; вам непременно надо быть осмотрительнее, когда вы в счастье или в таком восторге; вы слишком великодушны, когда вы в счастье, – прибавила она с улыбкою.

Все вышли провожать Вельчанинова; дети привели Лизу, с которой играли в саду. Они смотрели на нее теперь, казалось, еще с большим недоумением, чем давеча. Лиза задичилась совсем, когда Вельчанинов поцеловал ее при всех, прощаясь, и с жаром повторил обещание приехать завтра с отцом. До последней минуты она молчала и на него не смотрела, но тут вдруг схватила его за рукав и потянула куда-то в сторону, устремив на него умоляющий взгляд; ей хотелось что-то сказать ему. Он тотчас отвел ее в другую комнату.

– Что такое, Лиза? – нежно и ободрительно спросил он, но она, все еще боязливо оглядываясь, потащила его дальше в угол; ей хотелось совсем от всех спрятаться.

– Что такое, Лиза, что такое?

Она молчала и не решалась; неподвижно глядела в его гла-

за своими голубыми глазами, и во всех чертах ее личика выражался один только безумный страх.

– Он… повесится! – прошептала она как в бреду.

– Кто повесится? – спросил Вельчанинов в испуге.

– Он, он! Он ночью хотел на петле повеситься! – торопясь и задыхаясь, говорила девочка. – Я сама видела! Он давеча хотел на петле повеситься, он мне говорил, говорил! Он и прежде хотел, всегда хотел… Я видела ночью…

– Не может быть! – прошептал Вельчанинов в недоумении. Она вдруг бросилась целовать ему руки; она плакала, едва переводя дыхание от рыданий, просила и умоляла его, но он ничего не мог понять из ее истерического лепета. И навсегда потом остался ему памятен, мерещился наяву и снился во сне этот измученный взгляд замученного ребенка, в безумном страхе и с последней надеждой смотревший на него.

«И неужели, неужели она так его любит? – ревниво и завистливо думал он, с лихорадочным нетерпением возвращаясь в город. – Она давеча сама сказала, что мать больше любит… может быть, она его ненавидит, а вовсе не любит…»

«И что такое: «повесится»? Что такое она говорила? Ему, дураку, повеситься?.. Надо узнать; надо непременно узнать! Надо все как можно скорее решить, – решить окончательно!»

VII
Муж и любовник целуются

Он ужасно спешил «узнать». «Давеча меня ошеломило; давеча некогда было соображать, – думал он, вспоминая первую встречу свою с Лизой, – ну а теперь, надо узнать». Чтобы поскорее узнать, он в нетерпении велел было прямо везти себя к Трусоцкому, но тотчас одумался: «Нет, пусть лучше он сам ко мне придет, а я тем временем поскорее с этими проклятыми делами покончу».

За дела он принялся лихорадочно; но в этот раз сам почувствовал, что очень рассеян, и что ему нельзя сегодня заниматься делами. В пять часов, когда уже он отправился обедать, вдруг, в первый раз, пришла ему в голову смешная мысль: что ведь и в самом деле он, может быть, только мешает дело делать, вмешиваясь сам в эту тяжбу, сам суетясь и толкаясь по присутственным местам и ловя своего адвоката, который стал от него прятаться. Он весело рассмеялся над своим предположением. «А ведь приди вчера мне в голову эта мысль, я бы ужасно огорчился», – прибавил он еще веселее. Несмотря на веселость, он становился все рассеяннее и нетерпеливее: стал, наконец, задумчив; и хоть за многое цеплялась его беспокойная мысль, в целом ничего не выходило из того, что ему было нужно.

«Мне его нужно, этого человека! – решил он, наконец. –

Его надо разгадать, а уж потом и решать. Тут – дуэль!»

Воротясь домой в семь часов, он Павла Павловича у себя не застал и пришел от того в крайнее удивление, потом в гнев, потом даже в уныние; наконец, стал и бояться. «Бог знает, бог знает, чем это кончится!» – повторял он, то расхаживая по комнате, то протягиваясь на диване и все смотря на часы. Наконец, уже около девяти часов появился и Павел Павлович. «Если бы этот человек хитрил, то никогда бы лучше не подсидел меня, как теперь, – до того я в эту минуту расстроен», – подумал он, вдруг совершенно ободрившись и ужасно повеселев.

На бойкий и веселый вопрос: зачем долго не приходил, – Павел Павлович криво улыбнулся, развязно, не по-вчерашнему, уселся и как-то небрежно отбросил на другой стул свою шляпу с крепом. Вельчанинов тотчас заметил эту развязность и принял к сведенью.

Спокойно и без лишних слов, без давешнего волнения, рассказал он, в виде отчета, как он отвез Лизу, как ее мило там приняли, как это ей будет полезно, и мало-помалу, как бы совсем и забыв о Лизе, незаметно свел речь исключительно только на Погорельцевых, – то есть какие это милые люди, как он с ними давно знаком, какой хороший и даже влиятельный человек Погорельцев, и тому подобное. Павел Павлович слушал рассеянно и изредка, исподлобья с брюзгливой и плутоватой усмешкой поглядывал на рассказчика.

– Пылкий вы человек, – пробормотал он, как-то особенно

скверно улыбаясь.

– Однако вы сегодня какой-то злой, – с досадой заметил Вельчанинов.

– А отчего же бы мне злым не быть-с, подобно всем другим? – вскинулся вдруг Павел Павлович, точно выскочил из-за угла; даже точно того только и ждал, чтобы выскочить.

– Полная ваша воля, – усмехнулся Вельчанинов, – я подумал, не случилось ли с вами чего?

– И случилось-с! – воскликнул тот, точно хвастаясь, что случилось.

– Что ж это такое?

Павел Павлович несколько подождал отвечать:

– Да вот-с все наш Степан Михайлович чудасит… Багаутов, изящнейший петербургский молодой человек, высшего общества-с.

– Не приняли вас опять, что ли?

– Н-нет, именно в этот-то раз и приняли, в первый раз допустили-с, и черты созерцал… только уж у покойника!..

– Что-о-о! Багаутов умер? – ужасно удивился Вельчанинов, хотя, казалось, и нечему было ему-то так удивиться.

– Он-с! Неизменный и шестилетний друг! Еще вчера чуть не в полдень помер, а я и не знал! Я, может, в самую-то эту минуту и заходил тогда о здоровье наведаться. Завтра вынос и погребение, уж в гробике лежит-с. Гроб обит бархатом цвету масака, позумент золотой… от нервной горячки помер-с. Допустили, допустили, созерцал черты! Объявил при входе,

что истинным другом считался, потому и допустили. Что ж он со мной изволил теперь сотворить истинный-то и шестилетний друг, – я вас спрашиваю? Я, может, единственно для него одного и в Петербург ехал!

– Да за что же вы на него-то сердитесь, – засмеялся Вельчанинов, – ведь он не нарочно же умер!

– Да ведь я и сожалея говорю; друг-то драгоценный; ведь он вот что для меня значил-с.

И Павел Павлович вдруг, совсем неожиданно, сделал двумя пальцами рога над своим лысым лбом и тихо, продолжительно захихикал. Он просидел так, с рогами и хихикая, целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел как бы при виде какого-то призрака. Но столбняк его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновение; насмешливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губах.

– Это что ж такое означало? – спросил он небрежно, растягивая слова.

– Это означало рога-с, – отрезал Павел Павлович, отнимая, наконец, свои пальцы от лба.

– То есть… ваши рога?

– Мои собственные, благоприобретенные! – ужасно скверно скривился опять Павел Павлович.

Оба помолчали.

– Храбрый вы, однакоже, человек! – проговорил Вельча-

нинов.

– Это оттого, что я рога-то вам показал? Знаете ли что, Алексей Иванович, вы бы меня лучше чем-нибудь угостили! Ведь угощал же я вас в Т., целый год-с, каждый божий день-с… Пошлите-ка за бутылочкой, в горле пересохло.

– С удовольствием; вы бы давно сказали. Вам чего?

– Да что *вам*, говорите *нам*; вместе ведь выпьем, неужто нет? – с вызовом, но в то же время и с странным каким-то беспокойством засматривал ему в глаза Павел Павлович.

– Шампанского?

– А то чего же? До водки еще черед не дошел-с…

Вельчанинов неторопливо встал, позвонил вниз Мавру и распорядился.

– На радость веселой встречи-с, после девятилетней разлуки, – ненужно и неудачно подхихикивал Павел Павлович, – теперь вы, и один уж только вы у меня и остались истинным другом-с! Нет Степана Михайловича Багаутова! Это как у поэта:

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Ферсит!

И при слове «Ферсит» он пальцем ткнул себе в грудь.

«Да ты, свинья, объяснился бы скорее, а намеков я не люблю», – думал про себя Вельчанинов. Злоба кипела в нем, и он давно уже едва себя сдерживал.

– Вы мне вот что скажите, – начал он досадливо, – если вы так прямо обвиняете Степана Михайловича (он уже теперь не назвал его просто Багаутовым), то ведь вам же, кажется, радость, что обидчик ваш умер; чего ж вы злитесь?

– Какая же радость-с? Почему же радость?

– Я по вашим чувствам сужу.

– Хе-хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь-с, по изречению одного мудреца: «Хорош враг мертвый, но еще лучше живой», хи-хи!

– Да вы живого-то лет пять, я думаю, каждый день видели, было время наглядеться, – злобно и нагло заметил Вельчанинов.

– А разве тогда… разве я тогда знал-с? – вскинулся вдруг Павел Павлович, опять точно из-за угла выскочил, даже как бы с какою-то радостью, что ему, наконец, сделали вопрос, которого он так давно ожидал. – За кого же вы меня, Алексей Иванович, стало быть, почитаете?

И во взгляде его блеснуло вдруг какое-то совершенно новое и неожиданное выражение, как бы преобразившее совсем в другой вид злобное и доселе только подло кривлявшееся его лицо.

– Так неужели же вы ничего не знали! – проговорил озадаченный Вельчанинов с самым внезапным удивлением.

– Так неужто же знал-с? Неужто знал! О, порода – Юпитеров наших! У вас человек все равно, что собака, и вы всех по своей собственной натуришке судите! Вот вам-с! Проглоти-

те-ка! – и он с бешенством стукнул по столу кулаком, но тотчас же сам испугался своего стука и уже поглядел боязливо.

Вельчанинов приосанился.

– Послушайте, Павел Павлович, мне решительно ведь все равно, согласитесь сами, знали вы там или не знали? Если вы не знали, то это делает вам во всяком случае честь, хотя… впрочем, я даже не понимаю, почему вы меня выбрали своим конфидентом[16]?..

– Я не об вас… не сердитесь, не об вас… – бормотал Павел Павлович, смотря в землю.

Мавра вошла с шампанским.

– Вот и оно! – закричал Павел Павлович, видимо обрадовавшись исходу. – Стаканчиков, матушка, стаканчиков; чудесно! Больше ничего от вас, милая, не потребуется. И уж откупорено? Честь вам и слава, милое существо! Ну, отправляйтесь!

И, вновь ободрившись, он опять с дерзостью посмотрел на Вельчанинова.

– А признайтесь, – хихикнул он вдруг, – что вам ужасно все это любопытно-с, а вовсе не «решительно все равно», как вы изволили выговорить, так что вы даже и огорчились бы, если бы я сию минуту встал и ушел-с, ничего вам не объяснивши.

– Право, не огорчился бы.

«Ой, лжешь!» – говорила улыбка Павла Павловича.

---

[16] Конфидент (confident – *фр.*) – наперсник, доверенное лицо.

– Ну-с, приступим! – и он розлил вино в стаканы.

– Выпьем тост, – провозгласил он, поднимая стакан, – за здоровье в бозе почившего друга Степана Михайловича!

Он поднял стакан и выпил.

– Я такого тоста не стану пить, – поставил свой стакан Вельчанинов.

– Почему же? Тостик приятный.

– Вот что: вы, войдя теперь, пьяны не были?

– Пил немного. А что-с?

– Ничего особенного, но мне показалось, что вчера и особенно сегодня утром вы искренно сожалели о покойной Наталье Васильевне.

– А кто вам сказал, что я не искренно сожалею о ней и теперь? – тотчас же выскочил опять Павел Павлович, точно опять дернули его за пружинку.

– Я и не к тому; но согласитесь сами, вы могли ошибиться насчет Степана Михайловича, а это – дело важное.

Павел Павлович хитро улыбнулся и подмигнул.

– А уж как бы вам хотелось узнать про то, как сам-то я узнал про Степана Михайловича!

Вельчанинов покраснел:

– Повторяю вам опять, что мне все равно. «А не вышвырнуть ли его сейчас вон, вместе с бутылкой?» – яростно подумал он и покраснел еще больше.

– Ничего-с! – как бы ободряя его, проговорил Павел Павлович и налил себе еще стакан.

– Я вам сейчас объясню, как я «все» узнал-с, и тем удовлетворю ваши пламенные желания… потому что пламенный вы человек, Алексей Иванович, страшно пламенный человек-с! хе-хе! дайте только мне папиросочку, потому что я с марта месяца…

– Вот вам папироска.

– Развратился я с марта месяца, Алексей Иванович, и вот как все это произошло-с, прислушайте-ка-с. Чахотка, как вы сами знаете, милейший друг, – фамильярничал он все больше и больше, – есть болезнь любопытная-с. Сплошь да рядом чахоточный человек умирает, почти и не подозревая, что он завтра умрет-с. Говорю вам, что за пять еще часов Наталья Васильевна располагалась недели через две к своей тетеньке верст за сорок отправиться. Кроме того, вероятно, известна вам привычка, или, лучше сказать, повадка, общая многим дамам, а может, и кавалерам-с: сохранять у себя старый хлам по части переписки любовной-с. Всего вернее бы в печь, не так ли-с? Нет, всякий-то лоскуточек бумажки у них в ящичках и в несессерах бережно сохраняется; даже пронумеровано по годам, по числам и по разрядам. Утешает это, что ли, уж очень – не знаю-с; а должно быть, для приятных воспоминаний. Располагаясь за пять часов до кончины ехать на праздник к тетеньке, Наталья Васильевна, естественно, и мысли о смерти не имела, даже до самого последнего часу-с, и все Коха ждала. Так и случилось-с, что померла Наталья Васильевна, а ящичек черного дерева, с перламутровой ин-

крустацией и с серебром-с, остался у ней в бюро. И красивенький такой ящичек, с ключом-с, фамильный, от бабушки ей достался. Ну-с – в этом вот ящичке все и открылось-с, то есть все-с, безо всякого исключения, по дням и по годам, за все двадцатилетие. А так как Степан Михайлович решительную склонность к литературе имел, даже страстную повесть одну в журнал отослал, то его произведений в шкатулочке чуть не до сотни нумеров оказалось, – правда, что за пять лет-с. Иные нумера так с собственноручными пометками Натальи Васильевны. Приятно супругу, как вы думаете-с?

Вельчанинов быстро сообразил и припомнил, что он никогда ни одного письма, ни одной записки не написал к Наталье Васильевне. А из Петербурга хотя и написал два письма, но на имя обоих супругов, как и было условлено. На последнее же письмо Натальи Васильевны, в котором ему предписывалась отставка, он и не отвечал.

Кончив рассказ, Павел Павлович молчал целую минуту, назойливо улыбаясь и напрашиваясь.

– Что же вы ничего мне не ответили на вопросик-то-с? – проговорил он, наконец, с явным мучением.

– На какой это вопросик?

– Да вот о приятных-то чувствах супруга-с, открывающего шкатулочку.

– Э, какое мне дело! – желчно махнул рукой Вельчанинов, встал и начал ходить по комнате.

– И бьюсь об заклад, вы теперь думаете: «Свинья же ты,

что сам на рога свои указал», хе, хе! Брезгливейший человек… вы-с.

– Ничего я про это не думаю. Напротив, вы слишком раздражены смертью вашего оскорбителя и к тому же вина много выпили. Ничего я не вижу во всем этом необыкновенного; слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Багаутов, и готов уважать вашу досаду, но…

– А для чего нужен был мне Багаутов, по вашему мнению-с?

– Это ваше дело.

– Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевали-с?

– Черт возьми! – все более и более не сдерживался Вельчанинов. – Я думал, что как всякий порядочный человек… в подобных случаях – не унижается до комической болтовни, до глупых кривляний, до смешных жалоб и гадких намеков, которыми сам себя еще больше марает, а действует явно, прямо, открыто, как порядочный человек!

– Хе-хе, да, может, я и не порядочный человек-с?

– Это опять-таки ваше дело… а, впрочем, на какой же черт после этого надо было вам живого Багаутова?

– Да хоть бы только поглядеть на дружка-с. Вот бы взяли с ним бутылочку, да и выпили вместе.

– Он бы с вами и пить не стал.

– Почему? Noblesse oblige?[17] Ведь вот пьете же вы со мной-с; чем он вас лучше?

---

[17] Здесь: Честь не позволяет? (*фр.*)

– Я с вами не пил.

– Почему же такая вдруг гордость-с?

Вельчанинов вдруг нервно и раздражительно расхохотался:

– Фу, черт! да вы решительно «хищный тип» какой-то! Я думал, что вы только «вечный муж» и больше ничего!

– Это как же так «вечный муж», что такое? – насторожил вдруг уши Павел Павлович.

– Так, один тип мужей… долго рассказывать. Убирайтесь-ка лучше, да и пора вам; надоели вы мне!

– А хищно-то что ж? Вы сказали хищно?

– Я сказал, что вы «хищный тип», – в насмешку вам сказал.

– Какой такой «хищный тип»-с? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради Бога-с, или ради Христа-с.

– Ну да довольно же, довольно! – ужасно вдруг опять рассердился и закричал Вельчанинов, – пора вам, убирайтесь!

– Нет, не довольно-с! – вскочил и Павел Павлович, – даже хоть и надоел я вам, так и тут не довольно, потому что мы еще прежде должны с вами выпить и чокнуться! Выпьем, тогда я уйду-с, а теперь не довольно!

– Павел Павлович, можете вы сегодня убраться к черту или нет?

– Я могу убраться к черту-с, но сперва мы выпьем! Вы сказали, что не хотите пить именно *со мной*; ну, а *я хочу*, чтобы вы именно со мной-то и выпили!

Он уже не кривлялся более, он уже не подхихикивал. Все в нем опять вдруг как бы преобразилось и до того стало противоположно всей фигуре и всему тону еще сейчашнего Павла Павловича, что Вельчанинов был решительно озадачен.

– Эй, выпьем, Алексей Иванович, эй, не отказывайте! – продолжал Павел Павлович, схватив крепко его за руку и странно смотря ему в лицо. Очевидно, дело шло не об одной только выпивке.

– Да, пожалуй, – пробормотал тот, – где же… тут бурда…

– Ровно на два стакана осталось, бурда чистая-с, но мы выпьем и чокнемся-с! Вот-с, извольте принять ваш стакан.

Они чокнулись и выпили.

– Ну, а коли так, коли так… ах! – Павел Павлович вдруг схватился за лоб рукой и несколько мгновений оставался в таком положении. Вельчанинову померещилось, что он вот-вот да и выговорит сейчас самое последнее слово. Но Павел Павлович ничего ему не выговорил; он только посмотрел на него и тихо, во весь рот, улыбнулся опять давешней хитрой и подмигивающей улыбкой.

– Чего вы от меня хотите, пьяный вы человек! Дурачите вы меня! – неистово закричал Вельчанинов, затопав ногами.

– Не кричите, не кричите, зачем кричать? – торопливо замахал рукой Павел Павлович. – Не дурачу, не дурачу! Вы знаете ли, что вы теперь – вот чем для меня стали.

И вдруг он схватил его руку и поцеловал. Вельчанинов не успел опомниться.

– Вот вы мне теперь кто-с! А теперь – я ко всем чертям!

– Подождите, постойте! – закричал опомнившийся Вельчанинов. – Я забыл вам сказать…

Павел Павлович повернулся от дверей.

– Видите, – забормотал Вельчанинов чрезвычайно скоро, краснея и смотря совсем в сторону, – вам бы следовало завтра непременно быть у Погорельцевых… познакомиться и поблагодарить, – непременно…

– Непременно, непременно, уж как и не понять-с! – с чрезвычайною готовностью подхватил Павел Павлович, быстро махая рукой в знак того, что и напоминать бы не надо.

– И к тому же вас и Лиза очень ждет. Я обещал…

– Лиза, – вернулся вдруг опять Павел Павлович, – Лиза? Знаете ли вы, что такое была для меня Лиза-с, была и есть-с? Была и есть! – закричал он вдруг почти в исступлении, – но… Хе! Это после-с; все будет после-с… а теперь – мне мало уж того, что мы с вами выпили, Алексей Иванович, мне другое удовлетворение необходимо-с!..

Он положил на стул шляпу и, как давеча, задыхаясь немного, смотрел на него.

– Поцелуйте меня, Алексей Иванович, – предложил он вдруг.

– Вы пьяны? – закричал тот и отшатнулся.

– Пьян-с, а вы все-таки поцелуйте меня, Алексей Иванович, эй, поцелуйте! Ведь поцеловал же я вам сейчас ручку!

Алексей Иванович несколько мгновений молчал, как буд-

то от удару дубиной по лбу. Но вдруг он наклонился к бывшему ему по плечо Павлу Павловичу и поцеловал его в губы, от которых очень пахло вином. Он не совсем, впрочем, был уверен, что поцеловал его.

– Ну уж теперь, теперь… – опять в пьяном исступлении крикнул Павел Павлович, засверкав своими пьяными глазами, – теперь вот что-с: я тогда подумал – «неужто и этот? уж если этот, думаю, если уж и он тоже, так кому же после этого верить!»

Павел Павлович вдруг залился слезами.

– Так понимаете ли, какой вы теперь друг для меня остались?!

И он выбежал с своей шляпой из комнаты. Вельчанинов опять простоял несколько минут на одном месте, как и после первого посещения Павла Павловича.

«Э, пьяный шут и больше ничего!» – махнул он рукой.

«Решительно больше ничего!» – энергически подтвердил он, когда уже разделся и лег в постель.

VIII
Лиза больна

На другой день поутру, в ожидании Павла Павловича, обещавшего не запоздать, чтобы ехать к Погорельцевым, Вельчанинов ходил по комнате, прихлебывал свой кофе, курил и каждую минуту сознавался себе, что он похож на челове-

ка, проснувшегося утром и каждый миг вспоминающего о том, как он получил накануне пощечину. «Гм… он слишком понимает, в чем дело, и отмстит мне Лизой!» – думал он в страхе.

Милый образ бедного ребенка грустно мелькнул перед ним. Сердце его забилось сильнее от мысли, что он сегодня же, скоро, через два часа, опять увидит *свою* Лизу. «Э, что тут говорить! – решил он с жаром, – теперь в этом вся жизнь и вся моя цель! Что там все эти пощечины и воспоминания!.. И для чего я только жил до сих пор? Беспорядок и грусть… а теперь – все другое, все по-другому!»

Но, несмотря на свой восторг, он задумывался все более и более.

«Он замучает меня Лизой, – это ясно! И Лизу замучает. Вот на этом-то он меня и доедет, за *всё*. Гм… без сомнения, я не могу же позволить вчерашних выходок с его стороны, – покраснел он вдруг, – и… и вот, однакоже, он не идет, а уж двенадцатый час!»

Он ждал долго, до половины первого, и тоска его возрастала все более и более. Павел Павлович не являлся. Наконец, давно уж шевелившаяся мысль о том, что тот не придет нарочно, единственно для того, чтобы выкинуть еще выходку по-вчерашнему, раздражила его вконец: «Он знает, что я от него завишу, и что будет теперь с Лизой! И как я явлюсь к ней без него!»

Наконец, он не выдержал и ровно в час пополудни поска-

кал сам к Покрову. В номерах ему объявили, что Павел Павлович дома и не ночевал, а пришел лишь поутру в девятом часу, побыл всего четверть часика да и опять отправился. Вельчанинов стоял у двери Павла Павловичева номера, слушал говорившую ему служанку и машинально вертел ручку запертой двери и потягивал ее взад и вперед. Опомнившись, он плюнул, оставил замок и попросил сводить его к Марье Сысоевне. Но та, услыхав о нем, и сама охотно вышла.

Это была добрая баба, «баба с благородными чувствами», как выразился о ней Вельчанинов, когда передавал потом свой разговор с нею Клавдии Петровне. Расспросив коротко о том, как он отвез вчера «девочку», Марья Сысоевна тотчас же пустилась в рассказы о Павле Павловиче. По ее словам, не будь только робеночка, давно бы она его выжила. Его и из гостиницы сюда выжили, потому что очень уж безобразничал. Ну, не грех ли, с собой девку ночью привел, когда тут же робеночек с понятием! Кричит: «Это вот тебе будет мать, коли я того захочу!» Так верите ли, чего уж девка, а и та ему плюнула в харю. Кричит: «Ты, говорит, мне не дочь, а в…док».

– Что вы? – испугался Вельчанинов.

– Сама слышала. Оно хоть и пьяный человек, ровно как в бесчувствии, да все же при робенке не годится; хоть и малолеток, а все умом про себя дойдет! Плачет девочка, совсем, вижу, замучилась. А намедни тут на дворе у нас грех вышел: комиссар, что ли, люди сказывали, номер в гостинице с ве-

чера занял, а к утру и повесился. Сказывали, деньги прогулял. Народ сбежался, Павла-то Павловича самого дома нет, а робенок без призору ходит, гляжу, и она там в коридоре меж народом, да из-за других и выглядывает, чудно так на висельника-то глядит. Я ее поскорей сюда отвела. Что ж ты думаешь, – вся дрожью дрожит, почернела вся, и только что привела – она и грохнулась. Билась-билась, насилу очнулась. Родимчик, что ли, а с того часу и хворать начала. Узнал он, пришел – исщипал ее всю – потому он не то чтобы драться, а все больше щипится, а потом нахлестался винища-то, пришел, да и пужает ее: «Я, говорит, тоже повешусь, от тебя повешусь; вот на этом самом, говорит, шнурке, на сторе повешусь»; и петлю при ней делает. А та-то себя не помнит – кричит, ручонками его обхватила: «Не буду, кричит, никогда не буду». Жалость!

Вельчанинов хотя и ожидал кой-чего очень странного, но эти рассказы его так поразили, что он даже и не поверил. Марья Сысоевна много еще рассказывала; был, например, один случай, что если бы не Марья Сысоевна, то Лиза из окна бы, может, выбросилась. Он вышел из номера сам точно пьяный. «Я убью его палкой, как собаку, по голове!» – мерещилось ему. И он долго повторял это про себя.

Он нанял коляску и отправился к Погорельцевым. Еще не выезжая из города, коляска принуждена была остановиться на перекрестке, у мостика через канаву, через который пробиралась большая похоронная процессия. И с той и с дру-

гой стороны моста стеснилось несколько поджидавших экипажей; останавливался и народ. Похороны были богатые, и поезд провожавших карет был очень длинен, и вот в окошке одной из этих провожавших карет мелькнуло вдруг перед Вельчаниновым лицо Павла Павловича. Он не поверил бы, если бы Павел Павлович не выставился сам из окна и не закивал ему улыбаясь. Повидимому, он ужасно был рад, что узнал Вельчанинова; даже начал делать из кареты ручкой. Вельчанинов выскочил из коляски и, несмотря на тесноту, на городовых и на то, что карета Павла Павловича въезжала уже на мост, подбежал к самому окошку. Павел Павлович сидел один.

– Что с вами, – закричал Вельчанинов, – зачем вы не пришли? как вы здесь?

– Долг отдаю-с, – не кричите, не кричите, – долг отдаю, – захихикал Павел Павлович, весело прищуриваясь, – бренные останки истинного друга провожаю, Степана Михайловича.

– Нелепость это все, пьяный вы, безумный человек! – еще сильнее прокричал озадаченный было на миг Вельчанинов. – Выходите сейчас и садитесь со мной; сейчас!

– Не могу-с, долг-с…

– Я вас вытащу! – вопил Вельчанинов.

– А я закричу-с! А я закричу-с! – все так же весело подхихикивал Павел Павлович – точно с ним играют, – прячась, впрочем, в задний угол кареты.

– Берегись, берегись, задавят! – закричал городовой. Действительно, при спуске с моста чья-то посторонняя карета, прорвавшая поезд, наделала тревоги. Вельчанинов принужден был отскочить; другие экипажи и народ тотчас же оттеснили его далее. Он плюнул и пробрался к своей коляске.

«Все равно, такого и без того нельзя с собой везти!» – подумал он с продолжавшимся тревожным изумлением.

Когда он передал Клавдии Петровне рассказ Марьи Сысоевны и странную встречу на похоронах, та сильно задумалась: «Я за вас боюсь, – сказала она ему, – вы должны прервать с ним всякие отношения, и чем скорее, тем лучше».

– Шут он пьяный, и больше ничего! – запальчиво вскричал Вельчанинов, – стану я его бояться! И как я прерву отношения, когда тут Лиза. Вспомните про Лизу!

Между тем Лиза лежала больная; вчера вечером с нею началась лихорадка, и из города ждали одного известного доктора, за которым чем свет послали нарочного. Все это окончательно расстроило Вельчанинова. Клавдия Петровна повела его к больной.

– Я вчера к ней очень присматривалась, – заметила она, остановившись перед комнатой Лизы, – это гордый и угрюмый ребенок; ей стыдно, что она у нас и что отец ее так бросил; вот в чем вся болезнь, по-моему.

– Как бросил? Почему вы думаете, что бросил?

– Уж одно то, как он отпустил ее сюда, совсем в незнакомый дом, и с человеком… тоже почти незнакомым или в та-

ких отношениях…

– Да я ее сам взял, силой взял; я не нахожу…

– Ах, боже мой, это уж Лиза, ребенок, находит! По-моему, он просто никогда не приедет.

Увидев Вельчанинова одного, Лиза не изумилась; она только скорбно улыбнулась и отвернула свою горевшую в жару головку к стене. Она ничего не отвечала на робкие утешения и на горячие обещания Вельчанинова завтра же наверно привезти ей отца. Выйдя от нее, он вдруг заплакал.

Доктор приехал только к вечеру. Осмотрев больную, он с первого слова всех напугал, заметив, что напрасно его не призвали раньше. Когда ему объявили, что больная заболела всего только вчера вечером, он сначала не поверил. «Все зависит от того, как пройдет эта ночь», – решил он, наконец, и, сделав свои распоряжения, уехал, обещав прибыть завтра как можно раньше. Вельчанинов хотел было непременно остаться ночевать, но Клавдия Петровна сама упросила его еще раз «попробовать привезти сюда этого изверга».

– Еще раз? – в исступлении переговорил Вельчанинов. – Да я его теперь свяжу и в своих руках привезу!

Мысль связать и привезти Павла Павловича в руках овладела им вдруг до крайнего нетерпения. «Ничем, ничем не чувствую я теперь себя пред ним виноватым! – говорил он Клавдии Петровне, прощаясь с нею. – Отрекаюсь от всех моих вчерашних низких, плаксивых слов, которые здесь говорил!» – прибавил он в негодовании.

Лиза лежала с закрытыми глазами и, повидимому, спала; казалось, ей стало лучше. Когда Вельчанинов нагнулся осторожно к ее головке, чтобы, прощаясь, поцеловать хоть краешек ее платья, – она вдруг открыла глаза, точно поджидала его, и прошептала: «Увезите меня».

Это была тихая, скорбная просьба, безо всякого оттенка вчерашней раздражительности, но вместе с тем послышалось и что-то такое, как будто она и сама была вполне уверена, что просьбу ее ни за что не исполнят. Чуть только Вельчанинов, совсем в отчаянии, стал уверять ее, что это невозможно, она молча закрыла глаза и ни слова более не проговорила, как будто и не слушала и не видела его.

Въехав в город, он прямо велел везти себя к Покрову. Было уже десять часов; Павла Павловича в номерах не было. Вельчанинов прождал его целые полчаса, расхаживая по коридору в болезненном нетерпении. Марья Сысоевна уверила его, наконец, что Павел Павлович вернется разве только к утру чем свет. «Ну так и я приеду чем свет», – решил Вельчанинов и вне себя отправился домой.

Но каково же было его изумление, когда он, еще не входя к себе, услышал от Мавры, что вчерашний гость уже с десятого часу его ожидает.

«И чай изволили у нас кушать, и за вином опять посылали, за тем самым, синюю бумажку выдали».

IX
Привидение

Павел Павлович расположился чрезвычайно комфортно. Он сидел на вчерашнем стуле, курил папироски и только что налил себе четвертый, последний стакан из бутылки. Чайник и стакан с недопитым чаем стояли тут же подле него на столе. Раскрасневшееся лицо его сияло благодушием. Он даже снял с себя фрак, по-летнему, и сидел в жилете.

– Извините, вернейший друг! – вскричал он, завидев Вельчанинова и схватываясь с места, чтоб надеть фрак, – снял для пущего наслаждения минутой…

Вельчанинов грозно к нему приблизился.

– Вы не совершенно еще пьяны? Можно еще с вами поговорить?

Павел Павлович несколько оторопел.

– Нет, не совершенно… Помянул усопшего, но – не совершенно-с…

– Поймете вы меня?

– С тем и явился, чтобы вас понимать-с.

– Ну так я же вам прямо начинаю с того, что вы – негодяй! – закричал Вельчанинов сорвавшимся голосом.

– Если с этого начинаете-с, то чем кончите-с? – чуть-чуть протестовал было Павел Павлович, видимо сильно струсивший, но Вельчанинов кричал не слушая:

– Ваша дочь умирает, она больна; бросили вы ее или нет?

– Неужто уж умирает-с?

– Она больна, больна, чрезвычайно опасно больна!

– Может, припадочки-с…

– Не говорите вздору! Она чрез-вы-чайно опасно больна! Вам следовало ехать уж из того одного…

– Чтоб возблагодарить-с, за гостеприимство возблагодарить! Слишком понимаю-с! Алексей Иванович, дорогой, совершенный, – ухватил он его вдруг за руку обеими своими руками и с пьяным чувством, чуть не со слезами, как бы испрашивая прощения, выкрикивал: – Алексей Иванович, не кричите, не кричите! Умри я, провались я сейчас пьяный в Неву – что ж из того-с, при настоящем значении дел-с? А к господину Погорельцеву и всегда по-спеем-с…

Вельчанинов спохватился и капельку сдержал себя.

– Вы пьяны, а потому я не понимаю, в каком смысле вы говорите, – заметил он строго, – я объясниться всегда с вами готов; даже рад поскорей… Я и ехал… Но прежде всего знайте, что я принимаю меры: вы сегодня должны у меня ночевать! Завтра утром я вас беру, и мы едем. Я вас не выпущу! – завопил он опять, – я вас скручу и в руках привезу!.. Удобен вам этот диван? – указал он ему, задыхаясь, на широкий и мягкий диван, стоявший напротив того дивана, на котором спал он сам, у другой стены.

– Помилуйте, да я и везде-с…

– Не везде, а на этом диване! Берите, вот вам простыня,

одеяло, подушка (все это Вельчанинов вытащил из шкафа и, торопясь, выбрасывал Павлу Павловичу, покорно подставившему руку) – стелите сейчас, сте-ли-те же!

Навьюченный Павел Павлович стоял среди комнаты как бы в нерешимости, с длинной, пьяной улыбкой на пьяном лице; но при вторичном грозном окрике Вельчанинова вдруг, со всех ног, бросился хлопотать, отставил стол и пыхтя стал расправлять и настилать простыню. Вельчанинов подошел ему помочь; он был отчасти доволен покорностию и испугом своего гостя.

– Допивайте ваш стакан и ложитесь, – скомандовал он опять; он чувствовал, что не мог не командовать, – это вы сами за вином распорядились послать?

– Сам-с, за вином… Я, Алексей Иванович, знал, что вы уже более не пошлете-с.

– Это хорошо, что вы знали, но нужно, чтоб вы еще больше узнали. Объявляю вам еще раз, что я теперь принял меры: кривляний ваших больше не потерплю, пьяных вчерашних поцелуев не потерплю!

– Я ведь и сам, Алексей Иванович, понимаю, что это всего один только раз было возможно-с, – ухмыльнулся Павел Павлович.

Услышав ответ, Вельчанинов, шагавший по комнате, почти торжественно остановился вдруг перед Павлом Павловичем:

– Павел Павлович, говорите прямо! Вы умны, я опять со-

знаюсь в этом, но уверяю вас, что вы на ложной дороге! Говорите прямо, действуйте прямо, и, честное слово даю вам, – я отвечу на все, что угодно!

Павел Павлович ухмыльнулся снова своей длинной улыбкой, которая одна уже так бесила Вельчанинова.

– Стойте! – закричал тот опять. – Не прикидывайтесь, я насквозь вас вижу! Повторяю: даю вам честное слово, что я готов вам ответить на все, и вы получите всякое возможное удовлетворение, то есть всякое, даже и невозможное! О, как бы я желал, чтоб вы меня поняли!..

– Если уж вы так добры-с, – осторожно придвинулся к нему Павел Павлович, – то вот-с очень меня заинтересовало то, что вы вчера упомянули про хищный тип-с!..

Вельчанинов плюнул и пустился опять, еще скорее, шагать по комнате.

– Нет-с, Алексей Иванович, вы не плюйтесь, потому что я очень заинтересован и именно пришел про-верить-с… У меня язык плохо вяжется, но вы прости-те-с. Я ведь об «хищном» этом типе и об «смирном»-с, сам в журнале читал, в отделении критики-с, – припомнил сегодня поутру… только забыл-с, а по правде, тогда и не понял-с. Я вот именно желал разъяснить: Степан Михайлович Багаутов, покойник-с – что он, «хищный» был или «смирный-с»? Как причислить-с?

Вельчанинов все еще молчал, не переставая шагать.

– Хищный тип это тот, – остановился он вдруг в ярости, – это тот человек, который скорей бы отравил в стакане Багау-

това, когда стал бы с ним «шампанское пить» во имя приятной с ним встречи, как вы со мной вчера пили, – а не поехал бы его гроб на кладбище провожать, как вы давеча поехали, черт знает из каких ваших сокрытых, подпольных, гадких стремлений и марающих вас самих кривляний! Вас самих!

– Это точно, что не поехал бы-с, – подтвердил Павел Павлович, – только как уж вы, однако, на меня-то-с…

– Это не тот человек, – горячился и кричал Вельчанинов не слушая, – не тот, который напредставит сам себе бог знает чего, итоги справедливости и юстиции подведет, обиду свою как урок заучит, ноет, кривляется, ломается, на шее у людей виснет – и глядь – на то все и время свое употребил! Правда, что вы хотели повеситься? Правда?

– В хмелю, может, сбредил что, – не помню-с. Нам, Алексей Иванович, как-то и неприлично уж яд-то подсыпать. Кроме того, что чиновник на хорошем счету, – у меня и капитал ведь найдется-с, а может, к тому жениться опять захочу-с.

– Да и в каторгу сошлют.

– Ну да-с, и эта вот неприятность тоже-с, хотя нынче, в судах, много облегчающих обстоятельств подводят. А я вам, Алексей Иванович, один анекдотик преуморительный, давеча в карете вспомнил-с, хотел сообщить-с. Вот вы сказали сейчас: «У людей на шее виснет». Семена Петровича Ливцова, может, припомните-с, к нам в Т. при вас заезжал; ну, так брат его младший, тоже петербургский молодой человек

считается, в В – ом при губернаторе служил и тоже блистал-с разными качествами-с. Поспорил он раз с Голубенко, полковником, в собрании, в присутствии дам и дамы его сердца, и счел себя оскорбленным, но обиду скушал и затаил; а Голубенко тем временем даму сердца его отбил и руку ей предложил. Что ж вы думаете? Этот Ливцов – даже искренно ведь в дружбу с Голубенкой вошел, совсем помирился, да мало того-с – в шафера к нему сам напросился, венец держал, а как приехали из-под венца, он подошел поздравлять и целовать Голубенку, да при всем-то благородном обществе и при губернаторе, сам во фраке и завитой-с, – как пырнет его в живот ножом – так Голубенко и покатился! Это собственный-то шафер, стыд-то какой-с! Да это еще что-с! Главное, что ножом-то пырнул, да и бросился кругом: «Ах, что я сделал! Ах, что такое я сделал!» – слезы льются, трясется, всем на шею кидается, даже к дамам-с: «Ах, что я сделал! Ах, что, дескать, такое я теперь сделал!» – хе-хе-хе! уморил-с. Вот только разве жаль Голубенку; да и то выздоровел-с.

– Я не вижу, для чего вы мне рассказали, – строго нахмурился Вельчанинов.

– Да все к тому же-с, что пырнул же ведь но-жом-с, – захихикал Павел Павлович, – ведь уж видно, что не тип-с, а сопля-человек, когда уж самое приличие от страху забыл и к дамам на шею кидается в присутствии губернатора-с, – а ведь пырнул же-с, достиг своего! Вот я только про это-с.

– Убир-райтесь вы к черту, – завопил вдруг не своим го-

лосом Вельчанинов, точно как бы что сорвалось в нем, – убирайтесь с вашею подпольною дрянью, сам вы подпольная дрянь – пугать меня вздумал – мучитель ребенка, – низкий человек, – подлец, подлец, подлец! – выкрикивал он, себя не помня и задыхаясь на каждом слове.

Павла Павловича всего передернуло, даже хмель соскочил; губы его задрожали:

– Это меня-то вы, Алексей Иванович, подлецом называете, *вы-с* и *меня-с*?

Но Вельчанинов уже очнулся.

– Я готов извиниться, – ответил он, помолчав в мрачном раздумье, – но в таком только случае, если вы сами и сейчас же захотите действовать прямо.

– А я бы и во всяком случае извинился на вашем месте, Алексей Иванович.

– Хорошо, пусть так, – помолчал еще немного Вельчанинов, – извиняюсь перед вами; но согласитесь сами, Павел Павлович, что после всего этого я уже ничем более не считаю себя перед вами обязанным, то есть я в отношении *всего* дела говорю, а не про один теперешний случай.

– Ничего-с, что считаться? – ухмыльнулся Павел Павлович, смотря, впрочем, в землю.

– А если так, то тем лучше, тем лучше! Допивайте ваше вино и ложитесь, потому что я все-таки вас не пущу…

– Да что ж вино-с… – немного как бы смутился Павел Павлович, однако подошел к столу и стал допивать свой дав-

но уже налитый последний стакан. Может, он уже и много пил перед этим, так что теперь рука его дрожала, и он расплескал часть вина на пол, на рубашку и на жилет, но все-таки допил до дна, – точно как будто и не мог оставить невыпитым, и, почтительно поставив опорожненный стакан на стол, покорно пошел к своей постели раздеваться.

– А не лучше ли… не ночевать? – проговорил он вдруг с чего-то, уже сняв один сапог и держа его в руках.

– Нет, не лучше! – гневливо ответил Вельчанинов, неустанно шагавший по комнате, не взглядывая на него.

Тот разделся и лег. Чрез четверть часа улегся и Вельчанинов и потушил свечу.

Он засыпал беспокойно. Что-то новое, еще более спутавшее дело, вдруг откудова-то появившееся, тревожило его теперь, и он чувствовал в то же время, что ему, почему-то, стыдно было этой тревоги. Он уже стал было забываться, но какой-то шорох вдруг его разбудил. Он тотчас же оглянулся на постель Павла Павловича. В комнате было темно (гардины были совсем спущены), но ему показалось, что Павел Павлович не лежит, а привстал и сидит на постели.

– Чего вы! – окликнул Вельчанинов.

– Тень-с, – подождав немного, чуть слышно выговорил Павел Павлович.

– Что такое, какая тень?

– Там, в той комнате, в дверь, как бы тень видел-с.

– Чью тень? – спросил, помолчав немного, Вельчанинов.

– Натальи Васильевны-с.

Вельчанинов привстал на ковер и сам заглянул через переднюю в ту комнату, двери в которую всегда стояли отперты. Там на окнах гардин не было, а были только сторы, и потому было гораздо светлее.

– В той комнате нет ничего, а вы пьяны, ложитесь! – сказал Вельчанинов, лег и завернулся в одеяло. Павел Павлович не сказал ни слова и улегся тоже.

– А прежде вы никогда не видали тени? – спросил вдруг Вельчанинов, минут уж десять спустя.

– Однажды как бы и видел-с, – слабо и тоже помедлив откликнулся Павел Павлович. Затем опять наступило молчание.

Вельчанинов не мог бы сказать наверно, спал ли он или нет, но прошло уже с час – и вдруг он опять обернулся: шорох ли какой его опять разбудил – он тоже не знал, но ему показалось, что среди совершенной темноты что-то стояло над ним, белое, еще не доходя до него, но уже посредине комнаты. Он присел на постели и целую минуту всматривался.

– Это вы, Павел Павлович? – проговорил он ослабевшим голосом. Этот собственный голос его, раздавшийся вдруг в тишине и в темноте, показался ему как-то странным.

Ответа не последовало, но в том, что стоял кто-то, уже не было никакого сомнения.

– Это вы… Павел Павлович? – повторил он громче и даже так громко, что если б Павел Павлович спокойно спал на

своей постели, то непременно бы проснулся и дал ответ.

Но ответа опять не последовало, зато показалось ему, что эта белая и чуть различаемая фигура еще ближе к нему придвинулась. Затем произошло нечто странное: что-то вдруг в нем как бы сорвалось, точь-в-точь как давеча, и он закричал из всех сил самым нелепым, бешеным голосом, задыхаясь чуть не на каждом слове:

– Если вы, пьяный шут, осмелитесь только подумать – что вы можете – меня испугать, – то я обернусь к стене, завернусь с головой и ни разу не обернусь во всю ночь, – чтобы тебе доказать, во что я ценю – хоть бы вы простояли до утра… шутом… и на вас плюю!

И он, яростно плюнув в сторону предполагаемого Павла Павловича, вдруг обернулся к стене, завернулся, как сказал, в одеяло и как бы замер в этом положении не шевелясь. Настала мертвая тишина. Придвигалась ли тень или стояла на месте – он не мог узнать, но сердце его билось – билось – билось… Прошло по крайней мере полных минут пять; и вдруг, в двух шагах от него, раздался слабый, совсем жалобный голос Павла Павловича:

– Я, Алексей Иванович, встал поискать… – (и он назвал один необходимейший домашний предмет) – я там не нашел у себя-с… хотел потихоньку подле вас посмотреть-с, у постели-с.

– Что же вы молчали… когда я кричал! – прерывающимся голосом спросил Вельчанинов, переждав с полминуты.

– Испугался-с. Вы так закричали… я и испугался-с.

– Там в углу налево, к дверям, в шкапике, зажгите свечу…

– Да я и без свечки-с… – смиренно промолвил Павел Павлович, направляясь в угол, – вы уж простите, Алексей Иванович, что вас так потревожил-с… совсем вдруг так охмелел-с…

Но тот уже ничего не ответил. Он все продолжал лежать лицом к стене и пролежал так всю ночь, ни разу не обернувшись. Уж хотелось ли ему так исполнить слово и показать презрение? Он сам не знал, что с ним делается; нервное расстройство его перешло, наконец, почти в бред, и он долго не засыпал. Проснувшись на другое утро, в десятом часу, он вдруг вскочил и присел на постели, точно его подтолкнули, – но Павла Павловича уже не было в комнате! Оставалась одна только пустая, неубранная постель, а сам он улизнул чем свет.

– Я так и знал! – хлопнул себя Вельчанинов по лбу.

X
На кладбище

Опасения доктора оправдались, и Лизе вдруг сделалось хуже, – так худо, как и не воображали накануне Вельчанинов и Клавдия Петровна. Вельчанинов поутру застал больную еще в памяти, хотя вся она горела в жару; он уверял потом, что она ему улыбнулась и даже протянула ему свою

горячую ручку. Правда ли это было, или только он сам выдумал себе это невольно, в утешение, – проверить ему было некогда; к ночи больная была уже без памяти, и так продолжалось во все время болезни. На десятый день своего переезда на дачу она умерла.

Это было скорбное время для Вельчанинова; Погорельцевы даже боялись за него. Большую часть этих тяжелых дней он прожил у них. В самые последние дни болезни Лизы он по целым часам просиживал один где-нибудь в углу и, повидимому, ни об чем не думал; Клавдия Петровна подходила его развлекать, но он отвечал мало, иногда видимо тяготясь с нею разговаривать. Клавдия Петровна даже не ожидала, что на него «все это произведет такое впечатление». Всего больше развлекали его дети; он с ними даже иногда смеялся; но каждый почти час вставал со стула и на цыпочках шел взглянуть на больную. Иногда ему казалось, что она его узнает. Надежды на выздоровление он не имел никакой, как и все, но от комнаты, в которой умирала Лиза, не отходил и обыкновенно сидел в комнате рядом.

Раза два, впрочем, и в эти дни он вдруг обнаруживал чрезвычайную деятельность: вдруг подымался, бросался в Петербург к докторам, приглашал самых известнейших и составлял консилиумы. Второй, последний консилиум был накануне смерти больной. Дня за три до этого Клавдия Петровна заговорила с Вельчаниновым настойчиво о необходимости отыскать где-нибудь, наконец, господина Трусоцкого: «в

случае несчастия Лизу и похоронить без него нельзя было». Вельчанинов промямлил, что он ему напишет. Тогда старик Погорельцев объявил, что он сам разыщет его через полицию. Вельчанинов написал, наконец, уведомление в двух строчках и отвез его в Покровскую гостиницу. Павла Павловича по обыкновению не было дома, и он вручил письмо для передачи Марье Сысоевне.

Наконец, умерла Лиза, в прекрасный летний вечер, вместе с закатом солнца, и тут только как бы очнулся Вельчанинов. Когда мертвую убрали, нарядив ее в праздничное белое платьице одной из дочерей Клавдии Петровны, и положили в зале на столе, с цветами в сложенных ручках, – он подошел к Клавдии Петровне и, сверкая глазами, объявил ей, что он сейчас же привезет и «убийцу». Не слушая советов повременить до завтра, он немедленно отправился в город.

Он знал, где застать Павла Павловича; не за одними докторами отправлялся он в Петербург. Иногда в эти дни ему казалось, что привези он к умиравшей Лизе отца, и она, услыхав его голос, очнется; тогда он как отчаянный пускался его разыскивать. Павел Павлович квартировал попрежнему в номерах, но в номерах и спрашивать было нечего. «По три дня не ночует и не приходит, – рапортовала Марья Сысоевна, – а придет невзначай пьяный, часу не пробудет и опять потащится; совсем растрепался». Половой из Покровской гостиницы сообщил Вельчанинову, между прочим, что Павел Павлович, еще прежде, посещал каких-то де-

виц на Вознесенском проспекте. Вельчанинов немедленно разыскал девиц. Задаренные и угощенные особы припомнили тотчас своего гостя, главное, по его шляпе с крепом, причем тут же его обругали, конечно, за то, что он к ним больше не ходил. Одна из них, Катя, взялась «во всякое время Павла Павловича разыскать, потому что он от Машки Простаковой теперь не выходит, а денег у него и дна нет, а Машка эта – не Простакова, а Прохвостова, и в больнице лежала, и захоти только она, Катя, так сейчас же ее в Сибирь упрячет, всего одно слово скажет». Катя, однакоже, не разыскала в тот раз, но зато крепко обещалась в другой. Вот на ее-то содействие и надеялся теперь Вельчанинов.

Прибыв в город уже в десять часов, он немедленно ее вытребовал, заплатив кому следовало за ее отсутствие, и отправился с нею на поиски. Он еще и сам не знал, что собственно он теперь сделает с Павлом Павловичем: убьет ли его за что-то или просто ищет его, чтобы сообщить о смерти дочери и о необходимости его содействия при погребении? На первый раз вышла неудача: оказалось, что Машка Прохвостова разодралась с Павлом Павловичем еще третьего дня и что какой-то казначей «Павлу Павловичу голову скамейкой прошиб». Одним словом, долго он не отыскивался, и, наконец, уже только в два часа пополуночи Вельчанинов, при выходе из одного указанного ему заведения, вдруг и неожиданно сам на него натолкнулся.

Павла Павловича подводили к этому заведению две да-

мы совершенно пьяного; одна из дам придерживала его под руку, а сзади сопутствовал им один рослый и размашистый претендент, кричавший во все горло и страшно грозивший Павлу Павловичу какими-то ужасами. Он кричал, между прочим, что тот его «эксплуатировал и отравил ему жизнь». Дело, кажется, шло о каких-то деньгах; дамы очень трусили и спешили. Завидев Вельчанинова, Павел Павлович кинулся к нему с распростертыми руками и закричал, точно его резали:

– Братец родной, защити!

При виде атлетической фигуры Вельчанинова претендент мигом стушевался; торжествующий Павел Павлович простер ему вслед свой кулак и завопил в знак победы; тут Вельчанинов яростно схватил его за плечи и, сам не зная для чего, стал трясти обеими руками, так что у того зубы застучали. Павел Павлович тотчас же перестал кричать и с тупоумным пьяным испугом смотрел на своего истязателя. Вероятно, не зная, что с ним делать далее, Вельчанинов крепко нагнул его и посадил на тротуарную тумбу.

– Лиза умерла! – проговорил он ему.

Павел Павлович, все еще не спуская с него глаз, сидел на тумбе, поддерживаемый одною из дам. Он понял, наконец, и лицо его как-то вдруг осунулось.

– Умерла… – как-то странно прошептал он. Усмехнулся ли он спьяна своею скверною длинною улыбкой, или у него скривилось что-то в лице, – Вельчанинов не мог разобрать,

но мгновение спустя Павел Павлович поднял с усилием свою дрожавшую правую руку, чтоб перекреститься; крест, однакож, не сложился, и дрожавшая рука опустилась. Немного погодя он медленно привстал с тумбы, схватился за свою даму и, опираясь на нее, пошел своей дорогой далее, как бы в забытьи, – точно и не было тут Вельчанинова. Но тот ухватил его опять за плечо.

– Понимаешь ли ты, пьяный изверг, что без тебя ее и похоронить нельзя будет! – прокричал он задыхаясь.

Тот повернул к нему голову.

– Артиллерии… прапорщика… помните? – промямлил он тупо ворочавшимся языком.

– Что-о-о? – завопил Вельчанинов, болезненно вздрогнув.

– Вот тебе и отец! Ищи его… хоронить…

– Лжешь! – закричал Вельчанинов, как потерянный, – ты со злости… я так и знал, что ты это мне приготовишь!

Не помня себя, он занес свой страшный кулак над головою Павла Павловича. Еще мгновение – и он, может быть, убил бы его одним ударом; дамы взвизгнули и отлетели прочь, но Павел Павлович не смигнул даже глазом. Какое-то исступление самой зверской злобы исказило ему все лицо.

– А знаешь ты, – произнес он гораздо тверже, почти как не пьяный, – нашу русскую…? (И он проговорил самое невозможное в печати ругательство.) Ну так и убирайся к ней! – Затем с силою рванулся из рук Вельчанинова, оступился и чуть не упал. Дамы подхватили его и в этот раз уже побежа-

ли, визжа и почти волоча Павла Павловича за собою. Вельчанинов не преследовал.

Назавтра, в час пополудни, на дачу Погорельцевых явился один весьма приличный чиновник, средних лет, в вицмундире и вежливо вручил Клавдии Петровне адресованный на ее имя пакет от имени Павла Павловича Трусоцкого. В пакете заключалось письмо со вложением трехсот рублей и с необходимыми свидетельствами о Лизе. Павел Павлович писал коротко, чрезвычайно почтительно и весьма прилично. Он весьма благодарил ее превосходительство Клавдию Петровну за ее добродетельное участие к сироте, за которое может ей воздать только один Бог. Неясно упоминал, что крайнее нездоровье не позволит ему явиться лично похоронить нежно им любимую и несчастную дочь, и возлагал в этом все надежды на ангельскую доброту души ее превосходительства. Триста же рублей назначались, как разъяснил он далее в письме, – на похороны и вообще на расходы, причиненные болезнию. Если же бы и осталось что из этой суммы, то покорнейше и почтительнейше просит употребить их на вечное поминовение за упокой души усопшей Лизы. Чиновник, доставивший письмо, не мог ничего более объяснить; даже оказалось из некоторых его слов, что он только по усиленной просьбе Павла Павловича взялся доставить лично пакет ее превосходительству. Погорельцев почти обиделся выражением «о расходах, причиненных болезнию», и определил, оставив пятьдесят рублей на погребение, – так как нельзя

же было воспретить отцу хоронить свое дитя, – остальные двести пятьдесят рублей возвратить немедленно господину Трусоцкому. Клавдия Петровна решила окончательно возвратить не двести пятьдесят рублей, а расписку из кладбищенской церкви в получении этих денег на вечное поминовение души усопшей отроковицы Елизаветы. Расписка была выдана потом Вельчанинову для вручения немедленно; он отослал ее по почте в номер.

После похорон он исчез с дачи. Целые две недели слонялся он по городу, безо всякой цели, один, и натыкался на людей в задумчивости. Иногда же по целым дням лежал, протянувшись у себя на диване, забывая о самых обыкновенных вещах. Погорельцевы много раз присылали звать его к себе; он обещал и тотчас же забывал. Клавдия Петровна даже приезжала к нему сама, но не заставала его дома. То же случилось и с его адвокатом; а между тем адвокату было что сообщить: тяжебное дело было им весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую с вознаграждением весьма незначительной долею оспариваемого ими наследства. Оставалось получить только согласие самого Вельчанинова. Застав его, наконец, у себя, адвокат был удивлен чрезвычайною вялостью и равнодушием, с которым он, еще недавно такой беспокойный клиент, его выслушал.

Настали самые жаркие июльские дни, но Вельчанинов забывал самое время. Его горе наболело в его душе, как созревший нарыв, и выяснялось ему поминутно в мучитель-

но-сознательной мысли. Главное страдание его состояло в том, что Лиза не успела узнать его и умерла, не зная, как он мучительно любил ее! Вся цель его жизни, мелькнувшая перед ним в таком радостном свете, вдруг померкла в вечной тьме. Эта цель состояла бы именно в том, – поминутно думал он об этом теперь, – чтобы Лиза каждый день, каждый час и всю жизнь беспрерывно ощущала его любовь на себе. «Выше нет никакой цели ни у кого из людей и не может быть! – задумывался он иногда в мрачном восторге. – Если и есть другие цели, то ни одна из них не может быть святее этой!» «Любовью Лизы, – мечтал он, – очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная и бесполезная жизнь; взамен меня, праздного, порочного и отжившего, – я взлелеял бы для жизни чистое и прекрасное существо, и за это существо все было бы мне прощено, и все бы я сам простил себе».

Все эти *сознательные* мысли представлялись ему всегда нераздельно с ярким, всегда близким и всегда поражавшим его душу воспоминанием об умершем ребенке. Он воссоздавал себе ее бледное личико, припоминал каждое выражение его; он вспоминал ее и в гробу, в цветах, и прежде бесчувственную в жару, с открытыми и неподвижными глазами. Он вспомнил вдруг, что, когда она лежала уже на столе, он заметил у ней один бог знает от чего почерневший в болезни пальчик; это так его поразило тогда, и так жалко ему стало этот бедный пальчик, что тут и вошло ему тогда в голову, в первый раз, отыскать сейчас же и убить Павла Павлови-

ча, – до того же времени он «был как бесчувственный». Гордость ли оскорбленная замучила это детское сердечко, три ли месяца страданий от отца, переменившего вдруг любовь на ненависть и оскорбившего ее позорным словом, смеявшегося над ее испугом и выбросившего ее, наконец, к чужим людям? Все это он представлял себе беспрерывно и варьировал на тысячу ладов. «Знаете ли, что такое была для меня Лиза?» – припомнил он вдруг восклицание пьяного Трусоцкого и чувствовал, что это восклицание было уже не кривлянье, а правда, и что тут была любовь. «Как же мог быть так жесток этот изверг к ребенку, которого так любил, и вероятно ли это?» Но каждый раз он поскорее бросал этот вопрос и как бы отмахивался от него; что-то ужасное было в этом вопросе, что-то невыносимое для него и – нерешенное.

В один день, и почти сам не помня как, он забрел на кладбище, на котором похоронили Лизу, и отыскал ее могилку. Ни разу с самых похорон он не был на кладбище; ему все казалось, что будет уже слишком много муки, и он не смел пойти. Но странно, когда он приник на ее могилку и поцеловал ее, ему вдруг стало легче. Был ясный вечер, солнце закатывалось; кругом, около могил, росла сочная, зеленая трава; недалеко в шиповнике жужжала пчела; цветы и венки, оставленные на могилке Лизы после погребения детьми и Клавдией Петровной, лежали тут же, с облетевшими наполовину листочками. Какая-то даже надежда в первый раз после долгого времени освежила ему сердце. «Как легко!» – подумал

он, чувствуя эту тишину кладбища и глядя на ясное, спокойное небо. Прилив какой-то чистой безмятежной веры во что-то наполнил ему душу. «Это Лиза послала мне, это она говорит со мной», – подумалось ему.

Совсем уже смеркалось, когда он пошел с кладбища обратно домой. Не так далеко от кладбищенских ворот, по дороге, в низеньком деревянном домике, помещалось что-то вроде харчевни или распивочной; в отворенных окнах виднелись посетители, сидевшие за столами. Ему вдруг показалось, что один из них, помещавшийся у самого окна, – Павел Павлович, и что он тоже видит его и любопытно его высматривает из окошка. Он пошел далее и вскоре услышал, что его догоняют; за ним бежал и в самом деле Павел Павлович; должно быть, примирительное выражение в лице Вельчанинова привлекло и ободрило его, когда он наблюдал из окошка. Поравнявшись, он, робея, улыбнулся, но уже не прежней пьяной улыбкой; он даже и совсем не был пьян.

– Здравствуйте, – сказал он.

– Здравствуйте, – отвечал Вельчанинов.

XI
Павел Павлович женится

Ответив это «здравствуйте», он сам себе удивился. Ужасно странно показалось ему, что встречает теперь этого человека вовсе без злобы и что в его чувствах к нему в эту ми-

нуту что-то совсем другое и даже какой-то позыв к чему-то новому.

– Вечер какой приятный, – проговорил, засматривая ему в глаза, Павел Павлович.

– Вы еще не уехали? – промолвил Вельчанинов, как бы не спрашивая, а только обдумывая и продолжая идти.

– Затянулось у меня, но – место я получил-с, с повышением-с. Отъезжаю послезавтра наверно.

– Получили место? – на этот раз уже спросил он.

– Почему же бы и нет-с? – покривился вдруг Павел Павлович.

– Я только так сказал… – отговорился Вельчанинов и, нахмурившись, покосился на Павла Павловича. К его удивлению, одежда, шляпа с крепом и весь вид г-на Трусоцкого были несравненно приличнее, чем две недели назад. «Зачем он сидел в этой распивочной?» – все думалось ему.

– Я вам, Алексей Иванович, намеревался и про другую мою радость сообщить, – начал опять Павел Павлович.

– Радость?

– Я женюсь-с.

– Как?

– После скорби и радость-с, так всегда в жизни-с; я, Алексей Иванович, очень бы желал-с… но – не знаю, может, вы теперь спешите, потому что у вас такой вид-с…

– Да, я спешу и… да, я нездоров.

Ему ужасно вдруг захотелось отделаться; готовность к ка-

кому-то новому чувству вмиг исчезла.

– А я бы желал-с…

Павел Павлович не договорил, чего он желал; Вельчанинов промолчал.

– В таком случае уже после-с, если только повстречаемся…

– Да, да, после, после, – скороговоркой бормотал Вельчанинов, не глядя на него и не останавливаясь. Еще помолчали с минуту; Павел Павлович все еще продолжал идти подле.

– В таком случае до свиданья-с, – вымолвил он, наконец.

– До свиданья; желаю…

Вельчанинов воротился домой опять совсем расстроенный. Столкновение с «этим человеком» было ему не под силу. Ложась спать, он опять подумал: «Зачем он был у кладбища?»

На другой день поутру он решился, наконец, съездить к Погорельцевым, решился неохотно; ему слишком тяжело было теперь чье-нибудь участие, даже и от Погорельцевых. Но они так о нем беспокоились, что непременно надо было поехать. Ему вдруг представилось, что ему станет почему-то очень стыдно при первой с ними встрече. «Ехать или не ехать?» – думал он, спеша окончить завтрак, как вдруг, к чрезвычайному его изумлению, к нему вошел Павел Павлович.

Несмотря на вчерашнюю встречу, Вельчанинов и представить не мог, что этот человек когда-нибудь опять зайдет

к нему, и был так озадачен, что глядел на него и не знал, что сказать. Но Павел Павлович распорядился сам, поздоровался и уселся на том же самом стуле, на котором сидел три недели назад в последнее свое посещение. Вельчанинову вдруг особенно ярко припомнилось то посещение. Беспокойно и с отвращением смотрел он на гостя.

– Удивляетесь-с? – начал Павел Павлович, угадавший взгляд Вельчанинова.

Вообще он казался гораздо развязнее, чем вчера, и в то же время проглядывало, что он и робел еще больше вчерашнего. Наружный вид его был особенно любопытен. Г-н Трусоцкий был не только прилично, но и франтовски одет – в легком летнем пиджаке, в светлых брюках в обтяжку, в светлом жилете; перчатки, золотой лорнет, для чего-то вдруг появившийся, белье – были безукоризненны; от него даже пахло духами. Во всей фигуре его было что-то и смешное и в то же время наводившее на какую-то странную и неприятную мысль.

– Конечно, Алексей Иванович, – продолжал он коробясь, – я вас удивил приходом-с, и – чувствую-с. Но между людьми, я так думаю-с, всегда сохраняется, – а по-моему, так и должно храниться-с, – нечто высшее, так ли-с? То есть высшее относительно всех условий и даже самых неприятностей, могущих выйти… так ли-с?

– Павел Павлович, скажите все поскорее и без церемоний, – нахмурился Вельчанинов.

– В двух словах-с, – заспешил Павел Павлович, – я женюсь и отправляюсь теперь к невесте, сейчас-с. Они тоже на даче-с. Я желал бы получить глубокую честь, чтобы осмелиться познакомить вас с этим домом-с, и пришел-с с необычайною просьбою (Павел Павлович покорно нагнул голову) просить вас, чтобы мне сопутствовать-с…

– Куда сопутствовать? – Вельчанинов вытаращил глаза.

– К ним-с, то есть на дачу-с. Простите, я как в лихорадке говорю и, может, спутал; но я так уж вашего отказа боюсь-с…

И он плачевно посмотрел на Вельчанинова.

– Вы хотите, чтобы я с вами ехал теперь к вашей невесте? – переговорил Вельчанинов, быстро его оглядывая и не веря ни ушам, ни глазам своим.

– Да-с, – ужасно оробел вдруг Павел Павлович. – Вы не рассердитесь, Алексей Иванович, тут не дерзость-с; я только покорнейше и необычайно прошу. Я помечтал, что, может быть, вы и не захотели бы при этом отказать…

– Во-первых, это вовсе невозможно, – беспокойно заворочался Вельчанинов.

– Это только мое чрезмерное желание и не более-с, – продолжал тот умолять, – я не скрою тоже, что есть тут и причина-с. Но о причине этой хотел бы открыть лишь после-с, а теперь лишь необычайно прошу-с…

И он даже встал со стула от почтения.

– Но во всяком случае это невозможно же, согласитесь са-

ми… – Вельчанинов тоже встал с места.

– Это очень возможно-с, Алексей Иванович, – я при этом вас располагал познакомить-с, так как приятеля-с; а во-вторых, вы ведь и без того там знакомы-с; ведь это к Захлебинину, на дачу. Статский советник Захлебинин-с.

– Как так? – вскричал Вельчанинов. Это был тот самый статский советник, которого он с месяц назад все искал и не заставал дома, действовавший, как оказалось, в пользу противной стороны в его тяжбе.

– Ну да, ну да, – улыбался Павел Павлович, как бы ободренный чрезвычайным удивлением Вельчанинова, – тот самый, вот еще помните, когда вы тогда шли с ним и разговаривали, а я глядел на вас и стоял напротив; я тогда выжидал, чтобы к нему подойти после вас. Назад лет двадцать вместе даже служили-с, а тогда, когда я подойти хотел после вас-с, у меня еще не было мысли. Теперь только внезапно пришла, с неделю назад-с.

– Но послушайте, ведь это, кажется, весьма порядочное семейство? – наивно удивился Вельчанинов.

– Так почему же-с, если порядочное? – покривился Павел Павлович.

– Нет, разумеется, я не про то… но сколько я заметил, там бывши…

– Они помнят, они помнят-с, как вы были, – радостно подхватил Павел Павлович, – только вы семейства не могли тогда увидеть-с; а сам он помнит-с и вас уважает. Я им почти-

тельно об вас говорил.

– Но как же, если вы только три месяца вдовеете?

– Да ведь не сейчас свадьба-то-с; свадьба через девять или через десять месяцев будет, так что ровно год траура и пройдет-с. Поверьте, что все хорошо-с. Во-первых, Федосей Петрович меня даже с малолетства знает, знал покойную супругу мою, знает, как я жил, на каком счету-с, и, наконец, у меня есть состояние, а теперь вот и место с повышением получаю, – так это все и на весу-с.

– Что ж, это дочь его?

– Я вам все это расскажу в подробности-с, – приятно съежился Павел Павлович, – позвольте папиросочку закурю. К тому же вы сами сегодня увидите. Во-первых, такие дельцы, как Федосей Петрович, здесь, в Петербурге, иногда очень на службе ценятся, если успеют обратить внимание-с. Но ведь кроме жалованья и пуще того – прибавочных, наградных, дополнительных, столовых или там единовременных пособий-с – ничего ведь и нет-с, то есть основного-то-с, составляющего капитал. Живут хорошо, а скопить никак невозможно, если при семействе-с. Сообразите сами: восемь девиц у Федосея Петровича и один только сын малолеток. Умри он сейчас – останется ведь только пенсия жиденькая-с. А тут восемь девиц, – нет, вы только сообразите-с, сообразите-с: ведь это если каждой по башмакам, так и тут что составит! Из восьми девиц пять уж невест-с, старшей-то двадцать четыре года (прелестнейшая девица, сами увидите-с!), а шестой

– пятнадцать лет, еще в гимназии учится. Ведь для пяти-то старших девиц надо женихов приискать, что по возможности заблаговременнее делать следует, отцу-с надо, стало быть, вывозить-с, – чего же это стоит, я вас спрошу-с? И вдруг я появляюсь, еще первый жених у них в доме-с, и им известен заведомо, то есть в том смысле, что при действительном состоянии-с. Ну вот и все-с.

Павел Павлович объяснял с упоением.

– Вы к старшей посватались?

– Н-нет-с, я… не к старшей; я вот к этой шестой посватался, вот которая еще продолжает учение в гимназии.

– Как? – невольно усмехнулся Вельчанинов. – Да ведь вы же говорите, ей пятнадцать лет!

– Пятнадцать-с теперь; но через девять месяцев ей будет шестнадцать, шестнадцать лет и три месяца, так почему же-с? А так как теперь все это неприлично-с, то гласного покамест и нет ничего, а только с родителями… Поверьте, что все хорошо-с!

– Стало быть, еще не решено?

– Нет, решено, все решено-с. Поверьте, что все хорошо-с.

– А она знает?

– То есть это только вид такой, для приличия, что будто и не говорят; а ведь как же не знать-с? – приятно прищурился Павел Павлович. – Что же, осчастливите, Алексей Иванович? – ужасно робко закончил он.

– Да зачем мне-то туда? Впрочем, – прибавил он тороп-

ливо, – так как я во всяком случае не поеду, то и не выставляйте мне никаких причин.

– Алексей Иванович…

– Да неужели же я с вами рядом сяду и поеду, подумайте!

Отвратительное и неприязненное ощущение возвратилось опять к нему после минутного развлечения болтовней Павла Павловича о невесте. Еще бы, кажется, минута, и он прогнал бы его вовсе. Он злился даже на себя за что-то.

– Сядьте, Алексей Иванович, сядьте рядом и не раскаетесь! – проникнутым голосом умолял Павел Павлович. – Нет-нет-нет! – замахал он руками, поймав нетерпеливый и решительный жест Вельчанинова. – Алексей Иванович, Алексей Иванович, подождите предрешать-с! Я вижу, что вы, может быть, превратно меня поняли: ведь я слишком хорошо понимаю, что ни вы мне, ни я вам – мы не товарищи-с; я ведь не до того уж нелеп-с, чтобы уж этого не понять-с. И что теперешняя услуга, о которой прошу, ни к чему в дальнейшем вам не вменяется. Да и сам я послезавтра уеду совсем-с, совершенно-с; значит, как бы и не было ничего. Пусть этот день будет один только случай-с. Я к вам шел и надежду основал на благородстве особенных чувств вашего сердца, Алексей Иванович, – именно на тех самых чувствах, которые в последнее время могли быть в вашем сердце возбуждены-с… Ясно ведь, кажется, я говорю или еще нет-с!

Волнение Павла Павловича возросло до чрезвычайности. Вельчанинов странно глядел на него.

– Вы просите о какой-то услуге с моей стороны, – спросил он задумываясь, – и ужасно настаиваете, – это мне подозрительно; я хочу больше знать.

– Вся услуга лишь в том, что вы со мной поедете. А потом, когда приедем обратно, я все разверну перед вами как на исповеди. Алексей Иванович, доверьтесь!

Но Вельчанинов все еще отказывался и тем упорнее, что ощущал в себе одну какую-то тяжелую, злобную мысль. Эта злая мысль уже давно зашевелилась в нем, с самого начала, как только Павел Павлович возвестил о невесте: простое ли это было любопытство, или какое-то совершенно еще неясное влечение, но его тянуло – согласиться. И чем больше тянуло, тем более он оборонялся. Он сидел, облокотясь на руку, и раздумывал. Павел Павлович юлил около него и упрашивал.

– Хорошо, поеду, – согласился он вдруг беспокойно и почти тревожно, вставая с места. Павел Павлович обрадовался чрезмерно.

– Нет уж вы, Алексей Иванович, теперь приоденьтесь, – юлил он радостно вокруг одевавшегося Вельчанинова, – получше, по-вашему оденьтесь.

«И чего он сам туда лезет, странный человек?» – думал про себя Вельчанинов.

– А ведь я не одной этой услуги от вас, Алексей Иванович, ожидаю-с. Уж коли дали согласие, так уж будьте и руководителем-с.

– Например?

– Например, большой вопрос-с: креп-с? Что приличнее: снять или с крепом остаться?

– Как хотите.

– Нет, я вашего решения желаю-с, как бы вы поступили сами, то есть, если бы имели креп-с? Моя собственная мысль была, что если сохранить, так это на постоянство чувств-с укажет-с, а стало быть, лестно отрекомендует.

– Разумеется, снимите.

– Неужто уж и разумеется? – Павел Павлович задумался. – Нет, уж я бы лучше сохранил-с…

– Как хотите. «Однако он мне не доверяет, это хорошо», – подумал Вельчанинов.

Они вышли; Павел Павлович с довольством приглядывался к принарядившемуся Вельчанинову; даже как будто больше почтения и важности проявилось в его лице. Вельчанинов дивился на него и еще больше на себя самого. У ворот стояла поджидавшая их превосходная коляска.

– А у вас уже и коляска была готова? Стало быть, вы были уверены, что я поеду?

– Коляску я взял для себя-с, но почти уверен был, что вы согласитесь поехать, – ответил Павел Павлович с видом совершенно счастливого человека.

– Эй, Павел Павлович, – как-то раздражительно засмеялся Вельчанинов, когда уже уселись и тронулись, – не слишком ли вы во мне уверены?

– Но ведь не вам же, Алексей Иванович, не вам же сказать мне за это, что я дурак? – твердо и проникнутым голосом ответил Павел Павлович.

«А Лиза?» – подумал Вельчанинов и тотчас же бросил об этом думать, как бы испугавшись какого-то кощунства. И вдруг ему показалось, что он сам так мелок, так ничтожен в эту минуту; показалось, что мысль, его соблазнявшая, – такая маленькая, такая скверненькая мысль… и во что бы то ни стало захотелось ему опять все бросить и хоть сейчас выйти из коляски, даже если б надо было для этого прибить Павла Павловича. Но тот заговорил, и соблазн опять охватил его сердце.

– Алексей Иванович, знаете вы толк в драгоценных вещах-с?

– В каких драгоценных вещах?

– В бриллиантовых-с.

– Знаю.

– Я бы хотел подарочек свезти. Руководите: надо или нет?

– По-моему – не надо.

– А я так бы очень хотел-с, – заворочался Павел Павлович, – только вот что же бы купить-с? Весь ли прибор, то есть брошь, серьги, браслет, или одну только вещицу?

– Вы сколько хотите заплатить?

– Да уж рублей четыреста или пятьсот-с.

– Ух!

– Много, что ли? – встрепенулся Павел Павлович.

– Купите один браслет, во сто рублей.

Павел Павлович даже огорчился. Ему ужасно как хотелось заплатить дороже и купить «весь» прибор. Он настаивал. Заехали в магазин. Кончилось тем, однакоже, что купили только один браслет и не тот, который хотелось Павлу Павловичу, а тот, на который указал Вельчанинов. Павлу Павловичу хотелось взять оба. Когда купец, запросивший сто семьдесят пять рублей за браслет, спустил за сто пятьдесят, – то ему стало даже досадно; он с приятностию заплатил бы и двести, если бы с него запросили, так уж хотелось ему заплатить подороже.

– Это ничего, что я так подарками спешу, – изливался он в упоении, когда опять поехали, – там ведь не высший свет, там просто-с. Невинность любит подарочки, – хитро и весело улыбнулся он. – Вы вот усмехнулись давеча, Алексей Иванович, на то, что пятнадцать лет; а ведь мне это-то и в голову стукнуло, – именно, что вот в гимназию еще ходит, с мешочком на руке, в котором тетрадки и перушки, хе-хе! Мешочек-то и пленил мои мысли! Я, собственно, для невинности, Алексей Иванович. Дело для меня не столько в красоте лица, сколько в этом-с. Хихикают там с подружкой в уголку, и как смеются, и боже мой! А чему-с: весь-то смех из того, что кошечка с комода на постельку соскочила и клубочком свернулась… Так тут ведь свежим яблочком пахнет-с! Аль снять уж креп?

– Как хотите.

– Сниму! – Он снял шляпу, сорвал креп и выбросил на дорогу. Вельчанинов видел, что лицо его засияло самой ясной надеждой, когда он надел опять шляпу на свою лысую голову.

«Да неужто он и в самом деле такой? – подумал он в настоящей уже злобе, – неужто тут нет никакой штуки в том, что он меня пригласил? Неужто и в самом деле на благородство мое рассчитывает? – продолжал он, почти обидевшись последним предположением. – Что это, шут, дурак или «вечный муж»? Да невозможно же, наконец!..»

XII
У Захлебининых

Захлебинины были действительно «очень порядочное семейство», как выразился давеча Вельчанинов, а сам Захлебинин был весьма солидный чиновник и на виду. Правда была и все то, что говорил Павел Павлович насчет их доходов: «Живут, кажется, хорошо, а умри человек, и ничего не останется».

Старик Захлебинин прекрасно и дружески встретил Вельчанинова и из прежнего «врага» совершенно обратился в приятеля.

– Поздравляю, так-то лучше, – заговорил он с первого слова, с приятным и осанистым видом, – я сам на мировой настаивал, а Петр Карлович (адвокат Вельчанинова) золотой

на этот счет человек. Что ж? Тысяч шестьдесят получите и без хлопот, без проволочек, без ссор! А на три года могло затянуться дело!

Вельчанинов тотчас был представлен и m-me Захлебининой, весьма расплывшейся пожилой даме, с простоватым и усталым лицом. Стали выплывать и девицы, одна за другой или парами. Но что-то очень уж много явилось девиц; мало-помалу собралось их до десяти или до двенадцати, – Вельчанинов и сосчитать не мог; одни входили, другие выходили. Но в числе их было много дачных соседок-подружек. Дача Захлебининых – большой деревянный дом, в неизвестном, но причудливом вкусе, с разновременными пристройками – пользовалась большим садом; но в этот сад выходили еще три или четыре другие дачи с разных сторон, так что большой сад был общий, что, естественно, и способствовало сближению девиц с дачными соседками. Вельчанинов с первых же слов разговора заметил, что его уже здесь ожидали и что приезд его в качестве Павла Павловичева друга, желающего познакомиться, был чуть ли не торжественно возвещен. Зоркий и опытный в этих делах его взгляд скоро отличил тут даже нечто особенное: по слишком любезному приему родителей, по некоторому особенному виду девиц и их наряду (хотя, впрочем, день был праздничный) у него замелькало подозрение, что Павел Павлович схитрил и очень могло быть, что внушил здесь, не говоря, разумеется, прямых слов, нечто вроде предположения об нем, как о скучающем

холостяке, «хорошего общества», с состоянием и который, очень и очень может быть, наконец, вдруг решится «положить предел» и устроиться, – «тем более что и наследство получил». Кажется, старшая m-lle Захлебинина, Катерина Федосеевна, именно та, которой было двадцать четыре года и о которой Павел Павлович выразился как о прелестной особе, была несколько настроена на этот тон. Она особенно выдавалась перед сестрами своим костюмом и какою-то оригинальною уборкою своих пышных волос. Сестры же и все другие девицы глядели так, как будто и им уже было твердо известно, что Вельчанинов знакомится «для Кати» и приехал ее «посмотреть». Их взгляды и некоторые даже словечки, промелькнувшие невзначай в продолжение дня, подтвердили ему потом эту догадку. Катерина Федосеевна была высокая, полная до роскоши блондинка, с чрезвычайно милым лицом, характера, очевидно, тихого и непредприимчивого, даже сонливого. «Странно, что такая засиделась, – невольно подумал Вельчанинов, с удовольствием к ней приглядываясь, – пусть без приданого и скоро совсем расплывется, но покамест на это столько любителей…» Все остальные сестры были тоже не совсем дурны собой, а между подружками мелькало несколько забавных и даже хорошеньких личик. Это стало его забавлять; а впрочем, он и вошел с особенными мыслями.

Надежда Федосеевна, шестая, гимназистка и предполагаемая невеста Павла Павловича, заставила себя подождать.

Вельчанинов ждал ее с нетерпением, чему сам дивился, и усмехался про себя. Наконец, она показалась, и не без эффекта, в сопровождении одной бойкой и вострой подружки, Марьи Никитишны, брюнетки с смешным лицом и которой, как оказалось сейчас же, чрезвычайно боялся Павел Павлович. Эта Марья Никитишна, девушка лет уже двадцати трех, зубоскалка и даже умница, была гувернанткой маленьких детей в одном соседнем и знакомом семействе, и давно уже считалась как родная у Захлебининых, а девицами ценилась ужасно. Видно было, что она особенно необходима теперь и Наде. С первого взгляда разглядел Вельчанинов, что девицы были все против Павла Павловича, даже и подружки, а во вторую минуту после выхода Нади он решил, что и она его *ненавидит*. Заметил тоже, что Павел Павлович совершенно этого не примечает или не хочет примечать. Бесспорно, Надя была лучше всех сестер – маленькая брюнетка, с видом дикарки и с смелостью нигилистки; вороватый бесенок с огненными глазками, с прелестной улыбкой, хотя часто и злой, с удивительными губками и зубками, тоненькая, стройненькая, с зачинавшеюся мыслью в горячем выражении лица, в то же время почти совсем еще детского. Пятнадцать лет сказывались в каждом ее шаге, в каждом слове. Оказалось потом, что и действительно Павел Павлович увидал ее в первый раз с клеенчатым мешочком в руках; но теперь уже она его не носила.

Подарок браслета совершенно не удался и произвел впе-

чатление даже неприятное. Павел Павлович, только лишь завидел вошедшую невесту, тотчас же подошел к ней ухмыляясь. Дарил он под предлогом «приятного удовольствия, ощущенного им в предыдущий раз по поводу спетого Надеждой Федосеевной приятного романса за фортепьянами…» Он сбился, не докончил и стоял как потерянный, протягивая и втыкая в руку Надежды Федосеевны футляр с браслетом, который та не хотела брать и, покраснев от стыда и гнева, отводила свои руки назад. Дерзко оборотилась она к мамаше, на лице которой выражалось замешательство, и громко сказала:

– Я не хочу брать, maman!

– Возьми и поблагодари, – промолвил отец с покойною строгостью, но и он был тоже недоволен. – Лишнее, лишнее! – пробормотал он назидательно Павлу Павловичу. Надя, нечего делать, футляр взяла и, опустив глазки, присела, как приседают маленькие девочки, то есть вдруг бултыхнулась вниз и вдруг тотчас же привскочила, как на пружинке. Одна из сестер подошла посмотреть, и Надя передала ей футляр, еще и нераскрытый, тем показывая, что сама и глядеть не хочет. Браслет вынули, и он стал обходить всех из рук в руки; но все смотрели молча, а иные так и насмешливо. Одна только мамаша промямлила, что браслет очень мил. Павел Павлович готов был провалиться сквозь землю.

Выручил Вельчанинов.

Он вдруг громко и охотно заговорил, схватив первую по-

павшуюся мысль, и не прошло еще пяти минут, как он уже овладел вниманием всех бывших в гостиной. Он великолепно изучил искусство болтать в светском обществе, то есть искусство казаться совершенно простодушным и показывать в то же время вид, что и слушателей своих считает за таких же простодушных, как сам, людей. Чрезвычайно натурально мог прикинуться он, когда надо, веселейшим и счастливейшим человеком. Очень ловко умел тоже вставить между словами острое и задирающее словцо, веселый намек, смешной каламбур, но совершенно как бы невзначай, как бы и не замечая, – тогда как и острота, и каламбур, и самый-то разговор, может быть, давным-давно уже были заготовлены и заучены и уже не раз употреблялись. Но в настоящую минуту к его искусству присоединилась и сама природа; он чувствовал, что настроен, что его что-то влечет; чувствовал в себе полнейшую и победительную уверенность, что через несколько минут все эти глаза будут обращены на него, все эти люди будут слушать только его одного, говорить только с ним, смеяться только тому, что он скажет. И действительно, вскоре послышался смех, мало-помалу в разговор ввязались и другие, – а он в совершенстве овладел умением затягивать в разговор и других, – раздавались уже по три и по четыре говорившие голоса разом. Скучное и усталое лицо госпожи Захлебининой озарилось почти радостью; то же было и с Катериной Федосеевной, которая слушала и смотрела как очарованная. Надя зорко вглядывалась в него исподлобья;

заметно было, что она против него уже предубеждена. Это еще более подожгло Вельчанинова. «Злая» Марья Никитишна сумела-таки ввернуть в разговор одну довольно чувствительную колкость на его счет; она выдумала и утверждала, что будто бы Павел Павлович отрекомендовал его здесь вчера своим другом детства, и таким образом прибавляла к его годам, ясно намекнув на это, целых семь лет лишних. Но и злой Марье Никитишне он понравился. Павел Павлович решительно был озадачен. Он, конечно, имел понятие о средствах, которыми обладает его друг, и вначале даже был рад его успеху, сам подхихикивал и вмешивался в разговор; но почему-то он мало-помалу стал впадать как бы в раздумье, даже, наконец, в уныние, что ясно выражалось в его встревоженной физиономии.

– Ну, вы такой гость, которого и занимать не надо, – весело порешил, наконец, старик Захлебинин, вставая со стула, чтобы отправиться к себе наверх, где у него, несмотря на праздничный день, уже приготовлено было несколько деловых бумаг для просмотру, – а ведь, представьте, я вас считал самым мрачным ипохондриком из всех молодых людей. Вот как ошибаешься!

В зале стоял рояль; Вельчанинов спросил, кто занимается музыкой, и вдруг обратился к Наде.

– А вы, кажется, поете?

– Кто вам сказал? – отрезала Надя.

– Павел Павлович говорил давеча.

– Неправда; я только на смех пою; у меня и голосу нет.

– Да и у меня голосу нет, а пою же.

– Так вы споете нам? Ну так и я вам спою, – сверкнула глазками Надя, – только не теперь, а после обеда. Я терпеть не могу музыки, – прибавила она, – надоели эти фортопьяны; у нас ведь с утра до ночи все играют и поют – одна Катя чего стоит.

Вельчанинов тотчас привязался к слову, и оказалось, что Катерина Федосеевна одна из всех серьезно занимается на фортепьяно. Он тотчас к ней обратился с просьбой сыграть. Всем, видимо, стало приятно, что он обратился к Кате, а maman так даже покраснела от удовольствия. Катерина Федосеевна встала, улыбаясь, и пошла к роялю, и вдруг, себе неожиданно, тоже вся закраснелась, и ужасно ей вдруг стало стыдно, что вот она такая большая и уже двадцати четырех лет, и такая полная, а краснеет как девочка, – и все это было написано на ее лице, когда она садилась играть. Сыграла она что-то из Гайдна и сыграла отчетливо, хотя и без выражения; но она оробела. Когда она кончила, Вельчанинов стал ужасно хвалить ей не ее, а Гайдна и особенно ту маленькую вещицу, которую она сыграла, – и ей, видимо, стало так приятно, и она так благодарно и счастливо слушала похвалы не себе, а Гайдну, что Вельчанинов невольно посмотрел на нее и ласковее и внимательнее. «Э, да ты славная?» – засветилось в его взгляде – и все как бы разом поняли этот взгляд, а особенно сама Катерина Федосеевна.

– У вас славный сад, – обратился он вдруг ко всем, смотря на стеклянные двери балкона, – знаете, пойдемте-ка все в сад!

– Пойдемте, пойдемте! – раздались радостные взвизги, – точно он угадал самое главное всеобщее желание.

В саду прогуляли до обеда. Госпожа Захлебинина, которой давно уже хотелось пойти заснуть, тоже не удержалась и вышла погулять со всеми, но благоразумно осталась посидеть и отдохнуть на балконе, где тотчас и задремала. В саду взаимные отношения Вельчанинова и всех девиц стали еще дружественнее. Он заметил, что с соседних дач присоединилось два-три очень молодых человека; один был студент, а другой и просто гимназист. Эти тотчас же подскочили каждый к своей девице, и видно было, что и пришли для них; третий же «молодой человек», очень мрачный и взъерошенный двадцатилетний мальчик, в огромных синих очках, стал торопливо и нахмуренно шептаться о чем-то с Марьей Никитишной и Надей. Он строго осматривал Вельчанинова и, казалось, считал себя обязанным относиться к нему с необыкновенным презрением. Некоторые девицы предлагали поскорее начать играть. На вопрос Вельчанинова, во что они играют, отвечали, что во все игры и в горелки, но что вечером будут играть в пословицы, то есть все садятся и один на время отходит; все же сидящие выбирают пословицу, например: «Тише едешь, дальше будешь», и когда того призовут, то каждый или каждая по порядку должны приготовить

и сказать ему по одной фразе. Первый непременно говорит такую фразу, в которой есть слово «тише», второй такую, в которой есть слово «едешь» и т. д. А тот должен непременно подхватить все эти словечки и по ним угадать пословицу.

– Это должно быть очень забавно, – заметил Вельчанинов.

– Ах нет, прескучно, – ответили два-три голоса разом.

– А то мы в театр тоже играем, – заметила Надя, обращаясь к нему. – Вот видите это толстое дерево, около которого скамьей обведено: там, за деревом, будто бы кулисы и там актеры сидят, ну там король, королева, принцесса, молодой человек – как кто захочет; каждый выходит, когда ему вздумается, и говорит, что на ум придет, ну что-нибудь и выходит.

– Да это славно! – похвалил еще раз Вельчанинов.

– Ах нет, прескучно! Сначала каждый раз весело выходит, а под конец каждый раз бестолково, потому что никто не умеет кончить; разве вот с вами будет занимательнее. А то мы думали про вас, что вы друг Павла Павловича, а выходит, что он просто нахвастал. Я очень рада, что вы приехали… по одному случаю, – весьма серьезно и внушительно посмотрела она на Вельчанинова и тотчас же отошла к Марье Никитишне.

– В пословицы вечером будут играть, – вдруг конфиденциально шепнула Вельчанинову одна подружка, которую он до сих пор едва даже заметил и ни слова еще с нею не выговорил, – вечером над Павлом Павловичем все станут сме-

яться, так и вы тоже.

– Ах, как хорошо, что вы приехали, а то у нас все так скучно, – дружески проговорила ему другая подружка, которую он уже и совсем до сих пор не заметил, бог знает вдруг откуда явившаяся, рыженькая, с веснушками и с ужасно смешно разгоревшимся от ходьбы и от жару лицом.

Беспокойство Павла Павловича возрастало все более и более. В саду под конец Вельчанинов совершенно уже успел сойтись с Надей; она уже не выглядывала, как давеча, исподлобья и отложила, кажется, мысль его осматривать подробнее, а хохотала, прыгала, взвизгивала и раза два даже схватила его за руку; она была счастлива ужасно, на Павла же Павловича продолжала не обращать ни малейшего внимания, как бы не замечая его. Вельчанинов убедился, что существует положительный заговор против Павла Павловича; Надя с толпой девушек отвлекала Вельчанинова в одну сторону, а другие подружки под разными предлогами заманивали Павла Павловича в другую; но тот вырывался и тотчас же опрометью прибегал прямо к ним, то есть к Вельчанинову и Наде, и вдруг вставлял свою лысую и беспокойно подслушивающую голову между ними. Под конец он уже даже и не стеснялся; наивность его жестов и движений была иногда удивительная. Не мог не обратить еще раз особенного внимания Вельчанинов и на Катерину Федосеевну; ей, конечно, уже стало ясно теперь, что он вовсе не для нее приехал, а слишком уже заинтересовался Надей; но лицо ее было так

же мило и благодушно, как давеча. Она, казалось, уже тем одним была счастлива, что находится тоже подле них и слушает то, что говорит новый гость; сама же, бедненькая, никак не умела ловко вмешаться в разговор.

– А какая славная у вас сестрица Катерина Федосеевна! – сказал Вельчанинов вдруг потихоньку Наде.

– Катя-то! Да добрее разве может быть душа, как у ней? Наш общий ангел, я в нее влюблена, – отвечала та восторженно.

Настал, наконец, и обед в пять часов, и тоже очень заметно было, что обед устроен не по-обыкновенному, а нарочно для гостя. Явилось два-три кушанья, очевидно, прибавочные к обычному столу, довольно мудреные, а одно из них так и совсем какое-то странное, так что его и назвать никто бы не мог. Кроме обыкновенных столовых вин, появилась тоже, очевидно, придуманная для гостя бутылка токайского; под конец обеда для чего-то подали и шампанское. Старик Захлебинин, выпив лишнюю рюмку, был в самом благодушном настроении и готов был смеяться всему, что говорил Вельчанинов. Кончилось тем, что Павел Павлович, наконец, не выдержал: увлекшись соревнованием, он вдруг задумал тоже сказать какой-нибудь каламбур и сказал: на конце стола, где он сидел подле m-me Захлебининой, послышался вдруг громкий смех обрадовавшихся девиц.

– Папаша, папаша! Павел Павлович тоже каламбур сказал, – кричали две средние Захлебинины в один голос, – он

говорит, что мы «девицы, на которых нужно дивиться…»

– А, и он каламбурит! Ну, какой же он сказал каламбур? – степенным голосом отозвался старик, покровительственно обращаясь к Павлу Павловичу и заранее улыбаясь ожидаемому каламбуру.

– Да вот же он и говорит, что мы «девицы, на которых нужно дивиться».

– Да-да! Ну так что ж? – старик все еще не понимал и еще добродушнее улыбался в ожидании.

– Ах, папаша, какой вы, не понимаете! Ну девицы и потом дивиться; девицы похоже на дивиться, девицы, на которых нужно дивиться…

– А-а-а! – озадаченно протянул старик. – Гм! Ну, – он в другой раз получше скажет! – и старик весело рассмеялся.

– Павел Павлович, нельзя же иметь все совершенства разом! – громко поддразнила Марья Никитишна. – Ах, боже мой, он костью подавился! – воскликнула она и вскочила со стула.

Поднялась даже суматоха, но Марье Никитишне только того и хотелось. Павел Павлович только захлебнулся вином, за которое он схватился, чтобы скрыть свой конфуз, но Марья Никитишна уверяла и клялась на все стороны, что это «рыбья кость, что она сама видела и что от этого умирают».

– Постукать по затылку! – крикнул кто-то.

– В самом деле и самое лучшее! – громко одобрил Захлебинин, но уже явились и охотницы: Марья Никитишна,

рыженькая подружка (тоже приглашенная к обеду) и, наконец, сама мать семейства, ужасно перепугавшаяся, – все хотели стукать Павла Павловича по затылку. Выскочивший из-за стола Павел Павлович отвертывался и целую минуту должен был уверять, что он только поперхнулся вином и что кашель сейчас пройдет, – пока наконец-то догадались, что все это – проказы Марьи Никитишны.

– Ну, однако, уж ты, забияка!.. – строго заметила m-me Захлебинина Марье Никитишне, – но тотчас не выдержала и расхохоталась так, как с нею редко случалось, что тоже произвело своего рода эффект. После обеда все вышли на балкон пить кофе.

– И какие славные стоят дни! – благосклонно похвалил природу старик, с удовольствием смотря в сад, – только бы вот дождя… Ну, а я пойду отдохнуть. С богом, с богом веселитесь! И ты веселись! – стукнул он, выходя, по плечу Павла Павловича.

Когда все опять сошли в сад, Павел Павлович вдруг подбежал к Вельчанинову и дернул его за рукав.

– На одну минутку-с, – прошептал он в нетерпении.

Они вышли в боковую, уединенную дорожку сада.

– Нет, уж здесь извините-с, нет, уж здесь я не дам-с… – яростно захлебываясь, прошептал он, ухватив Вельчанинова за рукав.

– Что? Чего? – спрашивал Вельчанинов, сделав большие глаза. Павел Павлович молча смотрел на него, шевелил гу-

бами и яростно улыбнулся.

– Куда же вы? Где же вы тут? Все уж готово! – послышались зовущие и нетерпеливые голоса девиц. Вельчанинов пожал плечами и воротился к обществу. Павел Павлович тоже бежал за ним.

– Бьюсь об заклад, что он у вас платка носового просил, – сказала Марья Никитишна, – прошлый раз он тоже забыл.

– Вечно забудет! – подхватила средняя Захлебинина.

– Платок забыл! Павел Павлович платок забыл! Maman, Павел Павлович опять платок носовой забыл, maman, у Павла Павловича опять насморк! – раздавались голоса.

– Так чего же он не скажет! Какой вы, Павел Павлович, щепетильный! – нараспев протянула m-me Захлебинина, – с насморком опасно шутить; я вам сейчас пришлю платок. И с чего у него все насморк! – прибавила она, уходя, обрадовавшись случаю воротиться домой.

– У меня два платка-с, и нет насморка-с! – прокричал ей вслед Павел Павлович, но та, видно, не разобрала, и через минуту, когда Павел Павлович трусил вслед за всеми и все поближе к Наде и Вельчанинову, запыхавшаяся горничная догнала его и принесла-таки ему платок.

– Играть, играть, в пословицы играть! – кричали со всех сторон, точно и бог знает чего ждали от «пословиц».

Выбрали место и уселись на скамейках; досталось отгадывать Марье Никитишне; потребовали, чтоб она ушла как можно дальше и не подслушивала; в отсутствие ее выбрали

пословицу и роздали слова. Марья Никитишна воротилась и мигом отгадала. Пословица была: «Страшен сон, да милостив Бог».

За Марьей Никитишной последовал взъерошенный молодой человек в синих очках. От него потребовали еще больше предосторожности, – чтоб он стал у беседки и оборотился лицом совсем к забору. Мрачный молодой человек исполнял свою должность с презрением и даже как будто ощущал некоторое нравственное унижение. Когда его кликнули, он ничего не мог угадать, обошел всех и выслушал, что ему говорили по два раза, долго и мрачно соображал, но ничего не выходило. Его пристыдили. Пословица была: «За Богом молитва, а за царем служба не пропадают!»

– И пословица-то мерзость! – с негодованием проворчал уязвленный юноша, ретируясь на свое место.

– Ах, как скучно! – послышались голоса.

Пошел Вельчанинов; его спрятали еще дальше всех; он тоже не угадал.

– Ах, как скучно! – послышалось еще больше голосов.

– Ну теперь я пойду, – сказала Надя.

– Нет, нет, теперь Павел Павлович пойдет, очередь Павлу Павловичу, – закричали все и оживились немножко.

Павла Павловича отвели к самому забору, в угол, и поставили туда лицом, а чтобы он не оглянулся, приставили за ним смотреть рыженькую. Павел Павлович, уже ободрившийся и почти снова развеселившийся, намерен был свято исполнить

свой долг и стоял, как пень, смотря на забор и не смея обернуться. Рыженькая сторожила его в двадцати шагах позади, ближе к обществу, у беседки, и о чем-то перемигивалась в волнении с девицами; видно было, что и все чего-то ожидали с некоторым даже беспокойством; что-то приготовлялось. Вдруг рыженькая замахала из-за беседки руками. Мигом все вскочили и бросились бежать куда-то сломя голову.

– Бегите, бегите и вы! – шептали Вельчанинову десять голосов чуть не в ужасе оттого, что он не бежит.

– Что такое? Что случилось? – спрашивал он, поспевая за всеми.

– Тише, не кричите! Пусть он там стоит и смотрит на забор, а мы все убежим. Вот и Настя бежит.

Рыженькая (Настя) бежала сломя голову, точно бог знает что случилось, и махала руками. Прибежали, наконец, все за пруд, совсем на другой конец сада. Когда дошел сюда и Вельчанинов, то увидел, что Катерина Федосеевна сильно спорила со всеми девицами и особенно с Надей и с Марьей Никитишной.

– Катя, голубчик, не сердись! – целовала ее Надя.

– Ну хорошо, я мамаше не скажу, но сама уйду, потому что это очень нехорошо. Что он, бедный, должен там у забора почувствовать.

Она ушла – из жалости, но все остальные пребыли неумолимы и безжалостны попрежнему. От Вельчанинова строго потребовали, чтобы и он, когда воротится Павел Павлович,

не обращал на него внимания, как будто ничего и не случилось. «А мы все давайте играть в горелки!» – прокричала в упоении рыженькая.

Павел Павлович присоединился к обществу по крайней мере только через четверть часа. Две трети этого времени он, наверно, простоял у забора. Горелки были в полном ходу и удались отлично, – все кричали и веселились. Обезумев от ярости, Павел Павлович прямо подскочил к Вельчанинову и опять схватил его за рукав.

– На одну минуточку-с!

– О Господи, что он все с своими минуточками!

– Опять платок просит, – прокричали им вслед.

– Ну уж этот раз это вы-с; тут уж теперь вы-с, вы причиной-с!.. – Павел Павлович даже стучал зубами, выговаривая это.

Вельчанинов прервал его и мирно посоветовал ему быть веселее, а то его совсем задразнят: «Оттого вас и дразнят, что вы злитесь, когда всем весело». К его удивлению, слова и совет ужасно поразили Павла Павловича; он тотчас притих, до того даже, что воротился к обществу, как виноватый, и покорно принял участие в общих играх; затем его несколько времени не беспокоили и играли с ним, как со всеми, – и не прошло получасу, как он опять почти что развеселился. Во всех играх он ангажировал себе в пару, когда надо было, преимущественно изменницу рыженькую или одну из сестер Захлебининых. Но, к еще пущему своему удивлению,

Вельчанинов заметил, что Павел Павлович ни разу почти не осмелился сам заговорить с Надей, хотя беспрерывно юлил подле или невдалеке от нее; по крайней мере свое положение непримечаемого и презираемого ею он принимал как бы так и должное, натуральное. Но под конец с ним все-таки опять сыграли штучку.

Игра была «прятаться». Спрятавшийся мог, впрочем, перебегать по всему тому месту, где позволено было ему спрятаться. Павлу Павловичу, которому удалось схоронить себя, влезши в густой куст, вдруг вздумалось, перебегая, вскочить в дом. Раздались крики, его увидели; он по лестнице поспешно улизнул в антресоли, зная там одно местечко за комодом, где хотел притаиться. Но рыженькая взлетела вслед за ним, подкралась на цыпочках к двери и защелкнула ее на замок. Все тотчас, как давеча, перестали играть и опять убежали за пруд, на другой конец сада. Минут через десять Павел Павлович, почувствовав, что его никто не ищет, выглянул из окошка. Никого не было. Кричать он не смел, чтобы не разбудить родителей; горничной и служанке дано было строгое приказание не являться и не отзываться на зов Павла Павловича. Могла бы отпереть ему Катерина Федосеевна, но она, возвратясь в свою комнатку и сев помечтать, неожиданно тоже заснула. Он просидел таким образом около часу. Наконец, стали появляться, как бы невзначай, проходя, по две и по три девицы.

– Павел Павлович, что вы к нам нейдете? Ах, как там ве-

село! Мы в театр играем. Алексей Иванович «молодого человека» представлял.

– Павел Павлович, что же вы нейдете, на вас нужно дивиться! – замечали проходившие другие девицы.

– Чему опять дивиться? – раздался вдруг голос m-me Захлебининой, только что проснувшейся и решившейся, наконец, пройтись по саду и взглянуть на «детские» игры в ожидании чаю.

– Да вот Павел Павлович, – указали ей на окно, в которое выглядывало, искаженно улыбаясь, лицо, побледневшее от злости, – лицо Павла Павловича.

– И охота человеку сидеть одному, когда всем так весело! – покачала головою мать семейства.

Тем временем Вельчанинов удостоился, наконец, получить от Нади объяснение ее давешних слов о том, что она «рада его приезду по одному случаю». Объяснение произошло в уединенной аллее. Марья Никитишна нарочно вызвала Вельчанинова, участвовавшего в каких-то играх и уже начинавшего сильно тосковать, и привела его в эту аллею, где и оставила его одного с Надей.

– Я совершенно убедилась, – затрещала она смелой и быстрой скороговоркой, – что вы вовсе не такой друг Павла Павловича, как он об вас нахвастал. Я рассчитала, что только вы один можете оказать мне одну чрезвычайно важную услугу; вот его давешний скверный браслет, – вынула она футляр из кармашка, – я вас покорнейше буду просить возвратить

ему немедленно, потому что сама я ни за что и никогда не заговорю с ним теперь во всю жизнь. Впрочем, можете сказать ему это от моего имени и прибавьте, чтоб он не смел вперед соваться с подарками. Об остальном я уже дам ему знать через других. Угодно вам сделать мне удовольствие, исполнить мое желание?

– Ах, ради бога, избавьте! – почти вскричал Вельчанинов, замахав руками.

– Как! Как избавьте? – неимоверно удивилась Надя его отказу и вытаращила на него глаза. Весь подготовленный тон ее порвался в один миг, и она чуть уж не плакала. Вельчанинов рассмеялся.

– Я не то, чтобы… я очень бы рад… но у меня с ним свои счеты…

– Я знала, что вы ему не друг и что он налгал! – пылко и скоро перебила его Надя. – Я никогда не выйду за него замуж, знайте это! Никогда! Я не понимаю даже, как он осмелился… Только вы все-таки должны передать ему его гадкий браслет, а то как же мне быть? Я непременно, непременно хочу, чтоб он сегодня же, в тот же день, получил обратно и гриб съел. А если он нафискалит папаше, то увидит, как ему достанется.

Из-за куста вдруг и совсем неожиданно выскочил взъерошенный молодой человек в синих очках.

– Вы должны передать браслет, – неистово накинулся он на Вельчанинова – уже во имя одних только прав женщины,

если вы сами стоите на высоте вопроса…

Но он не успел докончить; Надя рванула его изо всей силы за рукав и оттащила от Вельчанинова.

– Господи, как вы глупы, Предпосылов! – закричала она. – Ступайте вон! Ступайте вон, ступайте вон и не смейте подслушивать, я вам приказала далеко стоять!.. – затопала она на него ножками, и когда уже тот улизнул опять в свои кусты, она все-таки продолжала ходить поперек дорожки, как бы вне себя, взад и вперед, сверкая глазками и сложив перед собою обе руки ладошками.

– Вы не поверите, как они глупы! – остановилась она вдруг перед Вельчаниновым. – Вам вот смешно, а мне-то каково!

– Это ведь не *он*, не *он*? – смеялся Вельчанинов.

– Разумеется, не *он*, и как только вы могли это подумать! – улыбнулась и закраснелась Надя. – Это только его друг. Но каких он выбирает друзей, я не понимаю, они все там говорят, что это «будущий двигатель», а я ничего не понимаю… Алексей Иванович, мне не к кому обратиться; последнее слово, отдадите вы или нет.

– Ну хорошо, отдам, давайте.

– Ах, вы милый, ах, вы добрый! – обрадовалась вдруг она, передавая ему футляр. – Я вам за это целый вечер петь буду, потому что я прекрасно пою, знайте это, а я давеча налгала, что музыки не люблю. Ах, кабы вы еще хоть разочек приехали, как бы я была рада, я бы вам все, все, все рассказала, и много бы кроме того, потому что вы такой добрый, такой

добрый, как – как Катя!

И действительно, когда воротились домой к чаю, она ему спела два романса голосом совсем еще не обработанным и только что начинавшимся, но довольно приятным и с силой. Павел Павлович, когда все воротились из саду, солидно сидел с родителями за чайным столом, на котором уже кипел большой семейный самовар и расставлены были фамильные чайные чашки севрского фарфора. Вероятно, он рассуждал с стариками о весьма серьезных вещах, – так как послезавтра он уезжал на целые девять месяцев. На вошедших из сада, и преимущественно на Вельчанинова, он даже и не поглядел; очевидно было тоже, что он не «нафискалил» и что все покамест было спокойно.

Но когда Надя стала петь, явился тотчас и он. Надя нарочно не ответила на один его прямой вопрос, но Павла Павловича это не смутило и не поколебало; он стал за спинкой ее стула, и весь вид его показывал, что это его место и что он его никому не уступит.

– Алексею Ивановичу петь, maman, Алексей Иванович хочет спеть! – закричали почти все девицы, теснясь к роялю, за который самоуверенно усаживался Вельчанинов, располагаясь сам себе аккомпанировать. Вышли и старики и Катерина Федосеевна, сидевшая с ними и разливавшая чай.

Вельчанинов выбрал один, почти никому теперь не известный романс Глинки:

Когда в час веселый откроешь ты губки
И мне заворкуешь, нежнее голубки…

Он спел его, обращаясь к одной только Наде, стоявшей у самого его локтя и всех к нему ближе. Голосу у него давно уже не было, но видно было по остаткам, что прежде был недурной. Этот романс Вельчанинову удалось слышать в первый раз лет двадцать перед этим, когда он был еще студентом, от самого Глинки, в доме одного приятеля покойного композитора, на литературно-артистической холостой вечеринке. Расходившийся Глинка сыграл и спел все свои любимые вещи из своих сочинений, в том числе этот романс. У него тоже не оставалось тогда голосу, но Вельчанинов помнил чрезвычайное впечатление, произведенное тогда именно этим романсом. Какой-нибудь искусник, салонный певец никогда бы не достиг такого эффекта. В этом романсе напряжение страсти идет, возвышаясь и увеличиваясь с каждым стихом, с каждым словом; именно от силы этого необычайного напряжения малейшая фальшь, малейшая утрировка и неправда, которые так легко сходят с рук в опере, – тут погубили и исказили бы весь смысл. Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непременно – правда, непременно настоящее полное вдохновение, настоящая страсть или полное поэтическое ее усвоение. Иначе романс не только совсем бы не удался, но мог даже показаться безобразным и чуть ли не каким-то бесстыдным: невоз-

можно было бы выказать такую силу напряжения страстного чувства, не возбудив отвращения, а правда и *простодушие* спасали все. Вельчанинов помнил, что этот романс ему и самому когда-то удавался. Он почти усвоил манеру пения Глинки; но теперь с первого же звука, с первого стиха и настоящее вдохновение зажглось в его душе и дрогнуло в голосе. С каждым словом романса все сильней и смелее прорывалось и обнажалось чувство, в последних стихах послышались крики страсти, и когда он допел, сверкающим взглядом обращаясь к Наде, последние слова романса:

Теперь я смелее гляжу тебе в очи,
Уста приближаю и слушать нет мочи,
Хочу целовать, целовать, целовать!
Хочу целовать, целовать, целовать! —

то Надя вздрогнула почти от испуга, даже капельку отшатнулась назад; румянец залил ее щеки, и в то же мгновение как бы что-то отзывчивое промелькнуло Вельчанинову в застыдившемся и почти оробевшем ее личике. Очарование, а в то же время и недоумение проглядывали и на лицах всех слушательниц; всем как бы казалось, что невозможно и стыдно так петь, а в то же время все эти личики и глазки горели и сверкали, и как будто ждали и еще чего-то. Особенно между этими лицами промелькнуло перед Вельчаниновым лицо Катерины Федосеевны, сделавшееся чуть не прекрасным.

– Ну романс! – пробормотал несколько опешенный ста-

рик Захлебинин. – Но… не слишком ли сильно? Приятно, но сильно…

– Сильно… – отозвалась было и m-me Захлебинина, но Павел Павлович ей не дал докончить: он вдруг выскочил вперед и, как помешанный, забывшись до того, что сам своей рукой схватил за руку Надю и отвел ее от Вельчанинова, подскочил к нему и потерянно смотрел на него, шевеля трясущимися губами.

– На одну минутку-с, – едва выговорил он, наконец.

Вельчанинов ясно видел, что еще минута, и этот господин может решиться на что-нибудь в десять раз еще нелепее; он взял его поскорее за руку и, не обращая внимания на всеобщее недоумение, вывел на балкон и даже сошел с ним несколько шагов в сад, в котором уже почти совсем стемнело.

– Понимаете ли, что вы должны сейчас же, сию же минуту со мною уехать! – проговорил Павел Павлович.

– Нет, не понимаю…

– Помните ли, – продолжал Павел Павлович своим исступленным шепотом, – помните, как вы потребовали от меня тогда, чтобы я сказал вам все, *все-с*, откровенно-с, «самое последнее слово…», помните ли-с? Ну, так пришло время сказать это слово-с… поедемте-с!

Вельчанинов подумал, взглянул еще раз на Павла Павловича и согласился уехать.

Внезапно возвещенный их отъезд взволновал родителей

и возмутил всех девиц ужасно.

– Хотя бы по другой чашке чаю… – жалобно простонала m-me Захлебинина.

– Ну уж ты чего взволновался? – с строгим и недовольным тоном обратился старик к ухмылявшемуся и отмалчивавшемуся Павлу Павловичу.

– Павел Павлович, зачем вы увозите Алексея Ивановича? – жалобно заворковали девицы, в то же время ожесточенно на него посматривая. Надя же так злобно на него поглядела, что он весь покривился, но – не сдался.

– А ведь и в самом деле, Павел Павлович – спасибо ему – напомнил мне о чрезвычайно важном деле, которое я мог упустить, – смеялся Вельчанинов, пожимая руку хозяину, откланиваясь хозяйке и девицам и как бы особенно перед всеми ими Катерине Федосеевне, что было опять всеми замечено.

– Мы вам благодарны за посещение и вам всегда рады, все, – веско заключил Захлебинин.

– Ах, мы так рады… – с чувством подхватила мать семейства.

– Приезжайте, Алексей Иванович! приезжайте! – слышались многочисленные голоса с балкона, когда он уже уселся с Павлом Павловичем в коляску; чуть ли не было одного голоска, проговорившего потише других: «Приезжайте, милый, милый, Алексей Иванович!»

«Это рыженькая!» – подумал Вельчанинов.

XIII
На чьем краю больше

Он мог подумать о рыженькой, а между тем досада и раскаяние давно уже томили его душу. Да и во весь этот день, казалось бы так забавно проведенный, – тоска почти не оставляла его. Перед тем как петь романс, он уже не знал, куда от нее деваться: может, оттого и пропел с таким увлечением.

«И я мог так унизиться… оторваться от всего!» – начал было он упрекать себя, но поспешно прервал свои мысли. Да и унизительно показалось ему плакаться; гораздо приятнее было на кого-нибудь поскорей рассердиться.

– Дур-рак! – злобно прошептал он, накосившись на сидевшего с ним рядом в коляске и примолкшего Павла Павловича.

Павел Павлович упорно молчал, может быть, сосредоточиваясь и приготовляясь. С нетерпеливым жестом снимал он иногда с себя шляпу и вытирал себе лоб платком.

– Потеет! – злобился Вельчанинов.

Однажды только Павел Павлович отнесся с вопросом к кучеру: «Будет гроза или нет?»

– И-и какая! Непременно будет; весь день парило. – Действительно, небо темнело, и вспыхивали отдаленные молнии. В город въехали уже в половине одиннадцатого.

– Я ведь к вам-с, – предупредительно обратился Павел Павлович к Вельчанинову уже неподалеку от дома.

– Понимаю; но я вас уведомляю, что чувствую себя серьезно нездоровым…

– Не засижусь, не засижусь!

Когда стали входить в ворота, Павел Павлович забежал на минутку в дворницкую к Мавре.

– Чего вы туда забегали? – строго спросил Вельчанинов, когда тот догнал его и вошли в комнаты.

– Ничего-с, так-с… извозчик-с…

– Я вам пить не дам!

Ответа не последовало. Вельчанинов зажег свечи, а Павел Павлович тотчас же уселся в кресло. Вельчанинов нахмуренно остановился перед ним.

– Я вам тоже обещал сказать и мое «последнее» слово, – начал он с внутренним, еще подавляемым раздражением, – вот оно, это слово: считаю по совести, что все дела между нами обоюдно покончены, так что нам не об чем даже и говорить; слышите – не об чем; а потому не лучше ли вам сейчас уйти, а я за вами дверь запру.

– Поквитаемтесь, Алексей Иванович! – проговорил Павел Павлович, но как-то особенно кротко смотря ему в глаза.

– По-кви-таемтесь? – удивился ужасно Вельчанинов. – Странное слово вы выговорили! В чем же «поквитаемтесь»? Ба! Да это уж не то ли ваше «последнее слово», которое вы мне давеча обещали… открыть?

– Оно самое-с.

– Не в чем нам более сквитываться, мы – давно сквитались! – гордо произнес Вельчанинов.

– Неужели вы так думаете-с? – проникнутым голосом проговорил Павел Павлович, как-то странно сложив перед собою руки, пальцы в пальцы, и держа их перед грудью. Вельчанинов не ответил ему и пошел шагать по комнате. «Лиза? Лиза?» – стонало в его сердце.

– А впрочем, чем же вы хотели сквитаться? – нахмуренно обратился он к нему после довольно продолжительного молчания. Тот все это время провожал его по комнате глазами, держа перед собою попрежнему сложенные руки.

– Не ездите туда более-с, – почти прошептал он умоляющим голосом и вдруг встал со стула.

– Как? Так вы только про это? – Вельчанинов злобно рассмеялся. – Однакож дивили вы меня целый день сегодня! – начал было он ядовито, но вдруг все лицо его изменилось: – Слушайте меня, – грустно и с глубоким откровенным чувством проговорил он, – я считаю, что никогда и ничем я не унижал себя так, как сегодня, – во-первых, согласившись ехать с вами, и потом – тем, что было там… Это было так мелочно, так жалко… я опоганил и оподлил себя, связавшись… и позабыв… Ну да что! – спохватился он вдруг, – слушайте: вы напали на меня сегодня невзначай, на раздраженного и больного… ну да нечего оправдываться! Туда я больше не поеду и уверяю вас, что не имею никаких там ин-

тересов, – заключил он решительно.

– Неужели, неужели? – не скрывая своего радостного волнения, вскричал Павел Павлович. Вельчанинов с презрением посмотрел на него и опять пошел расхаживать по комнате.

– Вы, кажется, во что бы то ни стало решились быть счастливым? – не утерпел он, наконец, не заметить.

– Да-с, – тихо и наивно подтвердил Павел Павлович.

«Что мне в том, – думал Вельчанинов, – что он шут и зол только по глупости? Я его все-таки не могу не ненавидеть, – хотя бы он и не стоил того!»

– Я «вечный муж»-с! – проговорил Павел Павлович с приниженно-покорною усмешкой над самим собой. – Я это словечко давно уже знал от вас, Алексей Иванович, еще когда вы жили с нами там-с. Я много ваших слов тогда запомнил, в тот год. В прошлый раз, когда вы сказали здесь «вечный муж», я и сообразил-с.

Мавра вошла с бутылкой шампанского и с двумя стаканами.

– Простите, Алексей Иванович, вы знаете, что без этого я не могу-с. Не сочтите за дерзость; посмотрите как на постороннего и вас не стоящего-с.

– Да… – с отвращением позволил Вельчанинов, – но уверяю вас, что я чувствую себя нездоровым…

– Скоро, скоро, сейчас, в одну минуту! – захлопотал Павел Павлович. – Всего один только стаканчик, потому что

горло…

Он с жадностию и залпом выпил стакан и сел, – чуть не с нежностью посматривая на Вельчанинова. Мавра ушла.

– Экая мерзость! – шептал Вельчанинов.

– Это только подружки-с, – бодро проговорил вдруг Павел Павлович, совершенно оживившись.

– Как! Что? Ах да, вы все про то…

– Только подружки-с! И притом так еще молодо; из грациозности куражимся, вот-с! Даже прелестно. А там – там вы знаете: рабом ее стану; увидит почет, общество… совершенно перевоспитается-с.

«Однакож ему надо браслет отдать!» – нахмурился Вельчанинов, ощупывая футляр в кармане своего пальто.

– Вы вот говорите-с, что вот я решился быть счастливым? Мне надо жениться, Алексей Иванович, – конфиденциально и почти трогательно продолжал Павел Павлович, – иначе что же из меня выйдет? Сами видите-с! – указал он на бутылку. – А это лишь одна сотая – качеств-с. Я совсем не могу без женитьбы-с и – без новой веры-с; уверую и воскресну-с.

– Да мне-то для чего вы это сообщаете? – чуть не фыркнул со смеха Вельчанинов. Дико, впрочем, все это казалось ему.

– Да скажите же мне, наконец, – вскричал он, – для чего вы меня туда таскали? Я-то на что вам там надобился?

– Чтобы испытать-с… – как-то вдруг смутился Павел Павлович.

– Что испытать?

– Эффект-с… Я, вот видите ли, Алексей Иванович, всего только неделю как… там ищу-с (он конфузился все более и более). Вчера встретил вас и подумал: «Я ведь никогда еще ее не видал в постороннем, так сказать, обществе-с, то есть мужском-с, кроме моего-с…» Глупая мысль-с, сам теперь чувствую, излишняя-с. Слишком уж захотелось-с, от скверного моего характера-с… – Он вдруг поднял голову и покраснел.

«Неужели он всю правду говорит?» – дивился Вельчанинов до столбняка.

– Ну и что ж? – спросил он.

Павел Павлович сладко и как-то хитро улыбнулся.

– Одно лишь прелестное детство-с! Все подружки-с! Простите меня только за мое глупое поведение сегодня перед вами, Алексей Иванович; никогда не буду-с, да и более никогда этого не будет.

– Да и меня там не будет, – усмехнулся Вельчанинов.

– Я отчасти на этот счет и говорю-с.

Вельчанинов немного покоробился.

– Однакож ведь не один я на свете, – раздражительно заметил он.

Павел Павлович опять покраснел.

– Мне это грустно слышать, Алексей Иванович, и я так, поверьте, уважаю Надежду Федосеевну…

– Извините, извините, я ничего не хотел, – мне вот только странно немного, что вы так преувеличенно оценили мои

средства… – и… так искренно на меня понадеялись…

– Именно потому и понадеялся-с, что это было после всего-с… что уже было-с.

– Стало быть, вы и теперь считаете меня, коли так, за благороднейшего человека? – остановился вдруг Вельчанинов. Он бы сам в другую минуту ужаснулся наивности своего внезапного вопроса.

– Всегда и считал-с, – опустил глаза Павел Павлович.

– Ну да, разумеется… я не про то, то есть не в том смысле, – я хотел только сказать, что, несмотря ни на какие… предубеждения…

– Да-с, несмотря и на предубеждения-с.

– А когда в Петербург ехали? – не мог уже сдержаться Вельчанинов, сам чувствуя всю чудовищность своего любопытства.

– И когда в Петербург ехал, за наиблагороднейшего человека считал вас-с. Я всегда уважал вас, Алексей Иванович, – Павел Павлович поднял глаза и ясно, уже нисколько не конфузясь, глядел на своего противника. Вельчанинов вдруг струсил: ему решительно не хотелось, чтобы что-нибудь случилось или чтобы что-нибудь перешло за черту, тем более что сам вызвал.

– Я вас любил, Алексей Иванович, – произнес Павел Павлович, как бы вдруг решившись, – и весь тот год в Т. любил-с. Вы не заметили-с, – продолжал он немного вздрагивавшим голосом, к решительному ужасу Вельчанинова, –

я стоял слишком мелко в сравнении с вами-с, чтобы дать вам заметить. Да и не нужно, может быть, было-с. И во все эти девять лет я об вас запомнил-с, потому что я такого года не знал в моей жизни, как тот. (Глаза Павла Павловича как-то особенно заблистали.) Я многие ваши слова и изречения запомнил-с, ваши мысли-с. Я об вас как об пылком к доброму чувству и образованном человеке всегда вспоминал-с, высокообразованном-с и с мыслями-с. «Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства-с» – вы сами это сказали, может, забыли, а я запомнил-с. Я на вас всегда как на человека с великим чувством, стало быть, и рассчитывал-с… а стало быть, и верил-с – несмотря ни на что-с… – Подбородок его вдруг затрясся. Вельчанинов был в совершенном испуге; этот неожиданный тон надо было прекратить во что бы ни стало.

– Довольно, пожалуйста, Павел Павлович, – пробормотал он, краснея и в раздраженном нетерпении, – и зачем, зачем, – вскричал он вдруг, – зачем привязываетесь вы к больному, раздраженному человеку, чуть не в бреду человеку, и тащите его в эту тьму… тогда как – все призрак и мираж, и ложь, и стыд, и неестественность, и – не в меру, – а это главное, это всего стыднее, что не в меру! И все вздор: оба мы порочные, подпольные, гадкие люди… И хотите, хотите, я сейчас докажу вам, что вы меня не только не любите, а ненавидите изо всех сил, и что вы лжете, сами не зная того: вы взяли меня и повезли туда вовсе не для смешной этой цели, чтобы

невесту испытать (придет же в голову!), – а просто увидели меня вчера и *озлились*, и повезли меня, чтобы мне показать и сказать: «Видишь какая! Моя будет; ну-ка попробуй тут теперь!» Вы вызов мне сделали! Вы, может быть, сами не знали, а это было так, потому что вы все это чувствовали… А без ненависти такого вызова сделать нельзя; стало быть, вы меня ненавидели! – Он бегал по комнате, выкрикивая это, и всего более мучило и обижало его унизительное сознание, что он сам до такой степени снисходит до Павла Павловича.

– Я помириться с вами желал, Алексей Иванович! – вдруг решительно произнес тот скорым шепотом, и подбородок его снова запрыгал. Неистовая ярость овладела Вельчаниновым, как будто никогда и никто еще не наносил ему подобной обиды!

– Говорю же вам еще раз, – завопил он, – что вы на больного и раздраженного человека… повисли, чтобы вырвать у него какое-нибудь несбыточное слово, в бреду! Мы… да мы люди разных миров, поймите же это, и… и… между нами одна могила легла! – неистово прошептал он – и вдруг опомнился…

– А почем вы знаете, – исказилось вдруг и побледнело лицо Павла Павловича, – почем вы знаете, что значит эта могилка здесь… у меня-с! – вскричал он, подступая к Вельчанинову и с смешным, но ужасным жестом ударяя себя кулаком в сердце. – Я знаю эту здешнюю могилку-с, и мы оба по краям этой могилы стоим, только на моем краю больше, чем

на вашем, больше-с… – шептал он как в бреду, все продолжая себя бить в сердце, – больше-с, больше-с – больше-с… – Вдруг необыкновенный удар в дверной колокольчик заставил очнуться обоих. Позвонили так сильно, что, казалось, кто-то дал себе слово сорвать с первого удара звонок.

– Ко мне так не звонят, – в замешательстве проговорил Вельчанинов.

– Да ведь и не ко мне же-с, – робко прошептал Павел Павлович, тоже очнувшийся и мигом обратившийся в прежнего Павла Павловича. Вельчанинов нахмурился и пошел отворить дверь.

– Господин Вельчанинов, если не ошибаюсь? – послышался молодой, звонкий и необыкновенно самоуверенный голос из передней.

– Чего вам?

– Я имею точное сведение, – продолжал звонкий голос, – что некто Трусоцкий находится в настоящую минуту у вас. Я должен непременно его сейчас видеть. – Вельчанинову, конечно, было бы приятно – сейчас же выпихнуть хорошим пинком этого самоуверенного господина на лестницу. Но он подумал, посторонился и пропустил его.

– Вот господин Трусоцкий, войдите…

XIV
Сашенька и Наденька

В комнату вошел очень молодой человек, лет девятнадцати, даже, может быть, и несколько менее, – так уж моложаво казалось его красивое, самоуверенно вздернутое лицо. Он был недурно одет, по крайней мере все на нем хорошо сидело; ростом повыше среднего; черные, густые, разбитые космами волосы и большие, смелые, темные глаза – особенно выдавались в его физиономии. Только нос был немного широк и вздернут кверху; не будь этого, был бы совсем красавчик. Вошел он важно.

– Я, кажется, имею – случай – говорить с господином Трусоцким, – произнес он размеренно и с особенным удовольствием отмечая слово «случай», то есть тем давая знать, что никакой чести и никакого удовольствия в разговоре с господином Трусоцким для него быть не может.

Вельчанинов начинал понимать; кажется, и Павлу Павловичу что-то уже мерещилось. В лице его выразилось беспокойство; он, впрочем, себя поддержал.

– Не имея чести вас знать, – осанисто отвечал он, – полагаю, что не могу иметь с вами и никакого дела-с.

– Вы сперва выслушаете, а потом уже скажете ваше мнение, – самоуверенно и назидательно произнес молодой человек и, вынув черепаховый лорнет, висевший у него на шнур-

ке, стал разглядывать в него бутылку шампанского, стоявшую на столе. Спокойно кончив осмотр бутылки, он сложил лорнет и, обращаясь снова к Павлу Павловичу, произнес:

– Александр Лобов.

– А что такое это Александр Лобов-с?

– Это я. Не слыхали?

– Нет-с.

– Впрочем, где же вам знать. Я с важным делом, собственно до вас касающимся; позвольте, однакож, сесть, я устал…

– Садитесь, – пригласил Вельчанинов, – но молодой человек успел усесться еще и до приглашения. Несмотря на возраставшую боль в груди, Вельчанинов интересовался этим маленьким нахалом. В хорошеньком, детском и румяном его личике померещилось ему какое-то отдаленное сходство с Надей.

– Садитесь и вы, – предложил юноша Павлу Павловичу, указывая ему небрежным кивком головы место напротив.

– Ничего-с, постою.

– Устанете. Вы, господин Вельчанинов, можете, пожалуй, и не уходить.

– Мне и некуда уходить, я у себя.

– Как хотите. Я, признаюсь, даже желаю, чтобы вы присутствовали при моем объяснении с этим господином. Надежда Федосеевна довольно лестно вас мне отрекомендовала.

– Ба! Когда это она успела?

– Да сейчас после вас же, я ведь тоже оттуда. Вот что, гос-

подин Трусоцкий, – повернулся он к стоявшему Павлу Павловичу, – мы, то есть я и Надежда Федосеевна, – цедил он сквозь зубы, небрежно разваливаясь в креслах, – давно уже любим друг друга и дали друг другу слово. Вы теперь между нами помеха; я пришел вам предложить, чтобы вы очистили место. Угодно вам будет согласиться на мое предложение?

Павел Павлович даже покачнулся; он побледнел, но ехидная улыбка тотчас же выдавилась на его губах.

– Нет-с, нимало не угодно-с, – отрезал он лаконически.

– Вот как! – повернулся в креслах юноша, заломив нога за ногу.

– Даже не знаю, с кем и говорю-с, – прибавил Павел Павлович, – думаю даже, что не об чем нам и продолжать.

Высказав это, он тоже нашел нужным присесть.

– Я сказал, что устанете, – небрежно заметил юноша, – я имел сейчас случай известить вас, что мое имя Лобов и что я и Надежда Федосеевна, мы дали друг другу слово, – следовательно, вы не можете говорить, как сейчас сказали, что не знаете, с кем имеете дело; не можете тоже думать, что нам не об чем с вами продолжать разговор: не говоря уже обо мне, – дело касается Надежды Федосеевны, к которой вы так нагло пристаете. А уж одно это составляет достаточную причину для объяснений.

Все это он процедил сквозь зубы, как фат, чуть-чуть даже удостоивая выговаривать слова; даже опять вынул лорнет и на минутку на что-то направил его, пока говорил.

– Позвольте, молодой человек… – раздражительно воскликнул было Павел Павлович, но «молодой человек» тотчас же осадил его.

– Во всякое другое время я, конечно бы, запретил вам называть меня «молодым человеком», но теперь, сами согласитесь, что моя молодость есть мое главное перед вами преимущество и что вам и очень бы хотелось, например, сегодня, когда вы дарили ваш браслет, быть при этом хоть капельку помоложе.

– Ах ты пескарь! – прошептал Вельчанинов.

– Во всяком случае, милостивый государь, – с достоинством поправился Павел Павлович, – я все-таки не нахожу выставленных вами причин, – причин неприличных и весьма сомнительных, – достаточными, чтобы продолжать об них прение-с. Вижу, что все это дело детское и пустое; завтра же справлюсь у почтеннейшего Федосея Семеновича, а теперь прошу вас уволить-с.

– Видите ли вы склад этого человека! – вскричал тотчас же, не выдержав тона, юноша, горячо обращаясь к Вельчанинову. – Мало того, что его оттуда гонят, выставляя ему язык, – он еще хочет завтра на нас доносить старику! Не доказываете ли вы этим, упрямый человек, что вы хотите взять девушку насильно, покупаете ее у выживших из ума людей, которые вследствие общественного варварства сохраняют над нею власть? Ведь уж достаточно, кажется, она показала вам, что вас презирает; ведь вам возвратили же ваш сего-

дняшний неприличный подарок, ваш браслет? Чего же вам больше?

– Никакого браслета никто мне не возвращал, да и не может этого быть, – вздрогнул Павел Павлович.

– Как не может? Разве господин Вельчанинов вам не передал?

«Ах, черт бы тебя взял!» – подумал Вельчанинов.

– Мне действительно, – проговорил он хмурясь, – Надежда Федосеевна поручила давеча передать вам, Павел Павлович, этот футляр. Я не брал, но она – просила… вот он… мне досадно…

Он вынул футляр и положил его в смущении перед оцепеневшим Павлом Павловичем.

– Почему же вы до сих пор не передали? – строго обратился молодой человек к Вельчанинову.

– Не успел, стало быть, – нахмурился тот.

– Это странно.

– Что-о-о?

– Уж по крайней мере странно, согласитесь сами. Впрочем, я согласен признать, что тут – недоразумение.

Вельчанинову ужасно захотелось сейчас же встать и выдрать мальчишку за уши, но он не мог удержаться и вдруг фыркнул на него от смеха; мальчик тотчас же и сам засмеялся. Не то было с Павлом Павловичем; если бы Вельчанинов мог заметить его ужасный взгляд на себе, когда он расхохотался над Лобовым, – то он понял бы, что этот человек в это

мгновение переходит за одну роковую черту… Но Вельчанинов, хотя взгляда и не видал, но понял, что надо поддержать Павла Павловича.

– Послушайте, господин Лобов, – начал он дружественным тоном, – не входя в рассуждение о прочих причинах, которых я не хочу касаться, я бы заметил вам только то, что Павел Павлович все-таки приносит с собою, сватаясь к Надежде Федосеевне, – во-первых, полную о себе известность в этом почтенном семействе; во-вторых, отличное и почтенное свое положение, наконец состояние, а следовательно, он естественно должен удивляться, смотря на такого соперника, как вы, – человека, может быть, и с большими достоинствами, но до того уже молодого, что вас он никак не может принять за соперника серьезного… а потому и прав, прося вас окончить.

– Что это такое значит: «до того молодого»? Мне уж месяц, как минуло девятнадцать лет. По закону я давно могу жениться. Вот вам и все.

– Но какой же отец решится отдать за вас свою дочь теперь – будь вы хоть размиллионер в будущем или там какой-нибудь будущий благодетель человечества? Человек девятнадцати лет даже и за себя самого – отвечать не может, а вы решаетесь еще брать на совесть чужую будущность, то есть будущность такого же ребенка, как вы! Ведь это не совсем тоже благородно, как вы думаете? Я позволил себе высказать потому, что вы сами давеча обратились ко мне как к посред-

нику между вами и Павлом Павловичем.

– Ах да, кстати, ведь его зовут Павлом Павловичем! – заметил юноша. – Как же это мне все мерещилось, что Васильем Петровичем? Вот что-с, – оборотился он к Вельчанинову, – вы меня не удивили нисколько; я знал, что вы все такие! Странно, однакож, что об вас мне говорили, как об человеке даже несколько новом. Впрочем, это все пустяки, а дело в том, что тут не только нет ничего неблагородного с моей стороны, как вы позволили себе выразиться, но даже совершенно напротив, что и надеюсь вам растолковать: мы, во-первых, дали друг другу слово, и, кроме того, я прямо ей обещался, при двух свидетелях, в том, что если она когда полюбит другого или просто раскается, что за меня вышла, и захочет со мной развестись, то я тотчас же выдаю ей акт о моем прелюбодеянии, – и тем поддержу, стало быть, где следует, ее просьбу о разводе. Мало того: в случае, если бы я впоследствии захотел на попятный двор и отказался бы выдать этот акт, то, для ее обеспечения, в самый день нашей свадьбы, я выдам ей вексель в сто тысяч рублей на себя, так что в случае моего упорства насчет выдачи акта она сейчас же может передать мой вексель – и меня под сюркуп [18]! Таким образом все обеспечено, и ничьей будущностью я не рискую. Ну-с, это, во-первых.

– Бьюсь об заклад, что это тот – как его – Предпосылов

---

[18] Сюркуп (*фр.* – surcoupe) – карточный термин, здесь в смысле: привлечь к ответственности, взять на цугундер.

вам выдумал? – вскричал Вельчанинов.

– Хи-хи-хи! – ядовито захихикал Павел Павлович.

– Чего этот господин хихикает? Вы угадали, – это мысль Предпосылова; и согласитесь, что хитро. Нелепый закон совершенно парализован. Разумеется, я намерен любить ее всегда, а она ужасно хохочет, – но ведь все-таки ловко, и согласитесь, что уж благородно, что этак не всякий решится сделать?

– По-моему, не только не благородно, но даже гадко.

Молодой человек вскинул плечами.

– Опять-таки вы меня не удивляете, – заметил он после некоторого молчания, – все это слишком давно перестало меня удивлять. Предпосылов, так тот прямо бы вам отрезал, что подобное ваше непонимание вещей самых естественных происходит от извращения самых обыкновенных чувств и понятий ваших – во-первых, долгою нелепою жизнию, а во-вторых, долгою праздностью. Впрочем, мы, может быть, еще не понимаем друг друга; мне все-таки об вас говорили хорошо… Лет пятьдесят вам, однако, уже есть?

– Перейдите, пожалуйста, к делу.

– Извините за нескромность и не досадуйте; я без намерения. Продолжаю: я вовсе не будущий размиллионер, как вы изволили выразиться (и что у вас за идея была!). Я весь тут, как видите, но зато в будущности моей я совершенно уверен. Героем и благодетелем ничьим не буду, а себя и жену обеспечу. Конечно, у меня теперь ничего нет, я даже воспи-

тывался в их доме, с самого детства…

– Как так?

– А так, что я сын одного отдаленного родственника жены этого Захлебинина, и когда все мои померли и оставили меня восьми лет, то старик меня взял к себе и потом отдал в гимназию. Этот человек даже добрый, если хотите знать…

– Я это знаю-с…

– Да; но слишком уж древняя голова. Впрочем, добрый. Теперь, конечно, я давно уже вышел из-под его опеки, желая сам зарабатывать жизнь и быть одному себе обязанным.

– А когда вы вышли? – полюбопытствовал Вельчанинов.

– Да уж месяца с четыре будет.

– А, ну так это все теперь и понятно: друзья с детства! Что же, вы место имеете?

– Да, частное, в конторе одного нотариуса, на двадцати пяти в месяц. Конечно, только покамест, но когда я делал там предложение, то и того не имел. Я тогда служил на железной дороге, на десяти рублях, но все это только покамест.

– А разве вы делали и предложение?

– Формальное предложение, и давно уже, недели с три.

– Ну и что ж?

– Старик очень рассмеялся, а потом очень рассердился, а ее так заперли наверху в антресолях. Но Надя геройски выдержала. Впрочем, вся неудача была оттого, что он еще прежде на меня зуб точил за то, что я в департаменте место бросил, куда он меня определил четыре месяца назад, еще до

железной дороги. Он старик славный, я опять повторю, дома простой и веселый, но чуть в департаменте, вы и представить не можете! Это Юпитер какой-то сидит! Я, естественно, дал ему знать, что его манеры мне перестают нравиться, но тут главное все вышло из-за помощника столоначальника: этот господин вздумал нажаловаться, что я будто бы ему «нагрубил», а я ему всего только и сказал, что он неразвит. Я бросил их всех и теперь у нотариуса.

– А в департаменте много получали?

– Э, сверхштатным! Старик же и давал на содержание, – я говорю вам, он добрый; но мы все-таки не уступим. Конечно, двадцать пять рублей не обеспечение, но я вскорости надеюсь принять участие в управлении расстроенными имениями графа Завилейского, тогда прямо на три тысячи; не то в присяжные поверенные. Нынче людей ищут… Ба! какой гром, гроза будет, хорошо, что я до грозы успел; я ведь пешком оттуда, почти все бежал.

– Но позвольте, когда же вы успели, коли так, переговорить с Надеждой Федосеевной, – если к тому же вас и не принимают?

– Ах, да ведь через забор можно! рыженькую-то заметили давеча? – засмеялся он. – Ну вот и она тут хлопочет и Марья Никитишна; только змея эта Марья Никитишна!.. чего морщитесь? Не боитесь ли грому?

– Нет, я нездоров, очень нездоров… – Вельчанинов действительно, мучаясь от своей внезапной боли в груди, при-

встал с кресла и попробовал походить по комнате.

– Ах, так я вам, разумеется, мешаю, – не беспокойтесь, сейчас! – и юноша вскочил с места.

– Не мешаете, ничего, – поделикатничал Вельчанинов.

– Какое ничего, когда «у Кобыльникова живот болит», – помните у Щедрина? Вы любите Щедрина?

– Да…

– И я тоже. Ну-с, Василий… ах да, бишь, Павел Павлович, кончимте-с! – почти смеясь, обратился он к Павлу Павловичу. – Формулирую для вашего понимания еще раз вопрос: согласны ли вы завтра же отказаться официально перед стариками и в моем присутствии от всяких претензий ваших насчет Надежды Федосеевны?

– Не согласен нимало-с, – с нетерпеливым и ожесточенным видом поднялся и Павел Павлович, – и к тому же еще раз прошу меня избавить-с… потому что все это детство и глупости-с.

– Смотрите! – погрозил ему пальцем юноша с высокомерной улыбкой, – не ошибитесь в расчете! Знаете ли, к чему ведет подобная ошибка в расчете? А я так предупреждаю вас, что через девять месяцев, когда вы уже там израсходуетесь, измучаетесь и сюда воротитесь, – вы здесь сами от Надежды Федосеевны принуждены будете отказаться, а не откажетесь, – так вам же хуже будет; вот до чего вы дело доведете! Я вас должен предуведомить, что вы теперь, как собака на сене, – извините, это только сравнение, – ни себе, ни другим.

По гуманности повторяю: размыслите, принудьте себя хоть раз в жизни основательно размыслить.

– Прошу вас избавить меня от морали, – яростно вскричал Павел Павлович, – а насчет ваших скверных намеков я завтра же приму свои меры-с, строгие меры-с!

– Скверных намеков? Да вы про что ж это? Сами вы скверный, если это у вас в голове. Впрочем, я согласен подождать до завтра, но если… Ах, опять этот гром! До свиданья, очень рад знакомству, – кивнул он Вельчанинову и побежал, видимо спеша предупредить грозу и не попасть под дождь.

XV
Сквитались

– Видели-с? видели-с? – подскочил Павел Павлович к Вельчанинову, едва только вышел юноша.

– Да, не везет вам! – невзначай проговорился Вельчанинов. Он бы не сказал этих слов, если б не мучила и не злила его так эта возраставшая боль в груди. Павел Павлович вздрогнул, как от обжога.

– Ну-с, а вы-с – знать, меня жалеючи, браслета не возвращали – хе?

– Я не успел…

– От сердца жалеючи, как истинный друг истинного друга?

– Ну да, жалел, – озлобился Вельчанинов.

Он, однакоже, рассказал ему вкратце о том, как получил давеча браслет обратно и как Надежда Федосеевна почти насильно заставила его принять участие…

– Понимаете, что я ни за что бы не взял; столько и без того неприятностей!

– Увлеклись и взялись! – прохихикал Павел Павлович.

– Глупо это с вашей стороны; впрочем, вас извинить надо. Сами ведь видели сейчас, что не я в деле главный, а другие!

– Все-таки увлеклись-с.

Павел Павлович сел и налил свой стакан.

– Вы полагаете, что я мальчишке-то уступлю-с? В бараний рог согну, вот что-с! Завтра же поеду и все согну. Мы душок этот выкурим, из детской-то-с…

Он выпил почти залпом стакан и налил еще; вообще стал действовать с необычной до сих пор развязностью.

– Ишь, Наденька с Сашенькой, милые деточки, – хи-хи-хи!

Он не помнил себя от злобы. Раздался опять сильнейший удар грома; ослепительно сверкнула молния, и дождь пролился как из ведра. Павел Павлович встал и запер отворенное окно.

– Давеча он вас спрашивает: «Не боитесь ли грому» – хи-хи! Вельчанинов грому боится! У Кобыльникова – как это – у Кобыльникова… А про пятьдесят-то лет – а? Помните-с? – ехидничал Павел Павлович.

– Вы, однакоже, здесь расположились, – заметил Вельча-

нинов, едва выговаривая от боли слова, – я лягу… вы как хотите.

– Да и собаку в такую погоду не выгонят! – обидчиво подхватил Павел Павлович, впрочем почти радуясь, что имеет право обидеться.

– Ну да, сидите, пейте… хоть ночуйте! – промямлил Вельчанинов, протянулся на диване и слегка застонал.

– Ночевать-с? А вы – не побоитесь-с?

– Чего? – приподнял вдруг голову Вельчанинов.

– Ничего-с, так-с. В прошлый раз вы как бы испугались-с, али мне только померещилось…

– Вы глупы! – не выдержал Вельчанинов и злобно повернулся к стене.

– Ничего-с, – отозвался Павел Павлович.

Больной как-то вдруг заснул, через минуту как лег. Все неестественное напряжение его в этот день, и без того уже при сильном расстройстве здоровья за последнее время, как-то вдруг порвалось, и он обессилел, как ребенок. Но боль взяла-таки свое и победила усталость и сон; через час он проснулся и с страданием приподнялся с дивана. Гроза утихла; в комнате было накурено, бутылка стояла пустая, а Павел Павлович спал на другом диване. Он лежал навзничь, головой на диванной подушке, совсем не раздетый, и в сапогах. Его давешний лорнет, выскользнув из кармана, тянулся на снурке чуть не до полу. Шляпа валялась подле, на полу же. Вельчанинов угрюмо поглядел на него и не стал будить.

Скрючившись и шагая по комнате, потому что лежать сил уже не было, он стонал и раздумывал о своей боли.

Он боялся этой боли в груди, и не без причины. Припадки эти зародились в нем уже давно, но посещали его очень редко, – через год, через два. Он знал, что это от печени. Сначала как бы скоплялось в какой-нибудь точке груди, под ложечкой или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее вдавление. Непрестанно увеличиваясь в продолжение иногда десяти часов сряду, боль доходила, наконец, до такой силы, давление становилось до того невыносимым, что больному начинала мерещиться смерть. В последний бывший с ним назад тому с год припадок, после десятичасовой и, наконец, унявшейся боли, он до того вдруг обессилел, что, лежа в постели, едва мог двигать рукой, и доктор позволил ему в целый день всего только несколько чайных ложек слабого чаю и щепоточку размоченного в бульоне хлеба, как грудному ребенку. Появлялась эта боль от разных случайностей, но всегда при расстроенных уже прежде нервах. Странно тоже и проходила; иногда случалось захватывать ее в самом начале, в первые полчаса, простыми припарками, и все проходило разом; иногда же, как в последний припадок, ничто не помогало, и боль унялась от многочисленных и постепенных приемов рвотного. Доктор признался потом, что был уверен в отраве. Теперь до утра еще было далеко, за доктором ему не хотелось посылать ночью; да и не любил он докторов. Наконец, он не выдержал, и стал громко стонать. Стоны разбу-

дили Павла Павловича: он приподнялся на диване и некоторое время сидел, прислушиваясь со страхом и в недоумении следя глазами за Вельчаниновым, чуть не бегавшим по обеим комнатам. Выпитая бутылка, видно тоже не по-всегдашнему, сильно на него подействовала, и долго он не мог сообразиться; наконец, понял и бросился к Вельчанинову; тот что-то промямлил ему в ответ.

– Это у вас от печени-с, я это знаю! – оживился вдруг ужасно Павел Павлович, – это у Петра Кузьмича у Полосухина-с точно так же бывало, от печени-с. Это припарками бы-с. Петр Кузьмич всегда припарками… Умереть ведь можно-с! Сбегаю-ка я к Мавре, – а?

– Не надо, не надо, – раздражительно отмахивался Вельчанинов, – ничего не надо.

Но Павел Павлович, бог знает почему, был почти вне себя, как будто дело шло о спасении родного сына. Он не слушался и изо всех сил настаивал на необходимости припарок и, сверх того, двух-трех чашек слабого чаю, выпитых вдруг, – «но не просто горячих-с, а кипятку-с!» – Он побежал-таки к Мавре, не дождавшись позволения, вместе с нею разложил в кухне, всегда стоявшей пустою, огонь, вздул самовар; тем временем успел и уложить больного, снял с него верхнее платье, укутал в одеяло и всего в каких-нибудь двадцать минут состряпал и чай и первую припарку.

– Это гретые тарелки-с, раскаленные-с! – говорил он чуть не в восторге, накладывая разгоряченную и обернутую в сал-

фетку тарелку на больную грудь Вельчанинова. – Других припарок нет-с, и доставать долго-с, а тарелки, честью клянусь вам-с, даже и всего лучше будут-с; испытано на Петре Кузьмиче-с, собственными глазами и руками-с. Умереть ведь можно-с. Пейте чай, глотайте, – нужды нет, что обожжетесь; жизнь дороже… щегольства-с…

Он затормошил совсем полусонную Мавру; тарелки переменялись каждые три-четыре минуты. После третьей тарелки и второй чашки чаю-кипятка, выпитого залпом, Вельчанинов вдруг почувствовал облегчение.

– А уж если раз пошатнули боль, то и слава богу-с, и добрый знак-с! – вскричал Павел Павлович и радостно побежал за новой тарелкой и за новым чаем.

– Только бы боль-то сломить! Боль-то бы нам только назад повернуть! – повторял он поминутно.

Через полчаса боль совсем ослабела, но больной был уже до того измучен, что, как ни умолял Павел Павлович, – не согласился выдержать «еще тарелочку-с». Глаза его смыкались от слабости.

– Спать, спать, – повторил он слабым голосом.

– И то! – согласился Павел Павлович.

– Вы ночуйте… который час?

– Скоро два, без четверти-с.

– Ночуйте.

– Ночую, ночую.

Через минуту больной опять кликнул Павла Павловича.

– Вы, вы, – пробормотал он, когда тот подбежал и наклонился над ним, – вы – лучше меня! Я понимаю все, все… благодарю.

– Спите, спите, – прошептал Павел Павлович и поскорей, на цыпочках, отправился к своему дивану.

Больной, засыпая, слышал еще, как Павел Павлович потихоньку стлал себе наскоро постель, снимал с себя платье и, наконец, загасив свечи и чуть дыша, чтоб не зашуметь, протянулся на своем диване.

Без сомнения, Вельчанинов спал и заснул очень скоро после того как потушили свечи; он ясно припомнил это потом. Но во все время своего сна, до самой той минуты, когда он проснулся, он видел во сне, что он не спал и что будто бы никак не может заснуть, несмотря на всю свою слабость. Наконец, приснилось ему, что с ним будто бы начинается бред наяву и что он никак не может разогнать толпящихся около него видений, несмотря на полное сознание, что это один только бред, а не действительность. Видения всё были знакомые; комната его была будто бы вся наполнена людьми, а дверь в сени стояла отпертою; люди входили толпами и теснились на лестнице. За столом, выставленным на средину комнаты, сидел один человек – точь-в-точь как тогда, в приснившемся ему с месяц назад таком же сне. Как и тогда, этот человек сидел, облокотясь на стол, и не хотел говорить; но теперь он был в круглой шляпе с крепом. «Как? неужели это был и тогда Павел Павлович?» – подумал Вельчанинов, – но,

заглянув в лицо молчавшего человека, он убедился, что этот кто-то совсем другой. «Зачем же у него креп?» – недоумевал Вельчанинов. Шум, говор и крик людей, теснившихся у стола, были ужасны. Казалось, эти люди еще сильнее были озлоблены на Вельчанинова, чем тогда в том сне; они грозили ему руками и об чем-то изо всех сил кричали ему, но об чем именно – он никак не мог разобрать. «Да ведь это бред, ведь я знаю! – думалось ему, – я знаю, что я не мог заснуть и встал теперь, потому что не мог лежать от тоски!..» Но, однако-же, крики и люди, и жесты их, и все – было так явственно, так действительно, что иногда его брало сомнение: «Неужели же это и в самом деле бред? Чего хотят от меня эти люди, боже мой! Но если б это был не бред, то возможно ли, чтоб такой крик не разбудил до сих пор Павла Павловича? ведь вот он спит же, вот тут на диване?» Наконец, вдруг что-то случилось, опять как и тогда в том сне; все устремились на лестницу и ужасно стеснились в дверях, потому что с лестницы валила в комнату новая толпа. Эти люди что-то с собой несли, что-то большое и тяжелое; слышно было, как тяжело отдавались шаги носильщиков по ступенькам лестницы и торопливо перекликались их запыхавшиеся голоса. В комнате все закричали: «Несут, несут!», все глаза засверкали и устремились на Вельчанинова; все, грозя и торжествуя, указывали ему на лестницу. Уже нисколько не сомневаясь более в том, что все это не бред, а правда, он стал на цыпочки, чтоб разглядеть поскорее, через головы людей, – что они

такое несут? Сердце его билось – билось – билось, и вдруг – точь-в-точь, как тогда, в том сне, – раздались три сильнейшие удара в колокольчик. И опять-таки это был до того ясный, до того действительный до осязания звон, что, уж конечно, такой звон не мог присниться только во сне!.. Он закричал и проснулся.

Но он не бросился, как тогда, бежать к дверям. Какая мысль направила его первое движение и была ли у него в то мгновение хоть какая-нибудь мысль, – но как будто кто-то подсказал ему, что надо делать: он схватился с постели, бросился с простертыми вперед руками, как бы обороняясь и останавливая нападение, прямо в ту сторону, где спал Павел Павлович. Руки его разом столкнулись с другими, уже распростертыми над ним руками, и он крепко схватил их; кто-то, стало быть, уже стоял над ним, нагнувшись. Гардины были спущены, но было не совершенно темно, потому что из другой комнаты, в которой не было таких гардин, уже проходил слабый свет. Вдруг что-то ужасно больно обрезало ему ладонь и пальцы левой руки, и он мгновенно понял, что схватился за лезвие ножа или бритвы и крепко сжал его рукой. В тот же миг что-то веско и однозвучно шлепнулось на пол.

Вельчанинов был, может быть, втрое сильнее Павла Павловича, но борьба между ними продолжалась долго, минуты три полных. Он скоро пригнул его к полу и вывернул ему назад руки, но для чего-то ему непременно захотелось связать

эти вывернутые назад руки. Он стал искать ощупью, правой рукой, – придерживая раненой левой убийцу, – шнура с оконной занавески и долго не мог найти, но, наконец, захватил и сорвал с окна. Сам он удивлялся потом неестественной силе, которая для того потребовалась. Во все эти три минуты ни тот, ни другой не проговорили ни слова; только слышно было их тяжелое дыхание и глухие звуки борьбы. Наконец, скрутив и связав Павлу Павловичу руки назад, Вельчанинов бросил его на полу, встал, отдернул с окна занавеску и приподнял стору. На уединенной улице было уже светло. Отворив окно, он простоял несколько мгновений, глубоко вдыхая воздух. Был уже пятый час в начале. Затворив окно, он неторопливо пошел к шкафу, достал чистое полотенце и туго-натуго обвил им свою левую руку, чтоб унять текущую из нее кровь. Под ноги ему попалась развернутая бритва, лежавшая на ковре; он поднял ее, свернул, уложил в бритвенный ящик, забытый с утра на маленьком столике, подле самого дивана, на котором спал Павел Павлович, и запер ящик в бюро на ключ. И уже исполнив все это, он подошел к Павлу Павловичу и стал его рассматривать.

Тем временем тот успел уже привстать с усилием с ковра и усесться в кресло. Он был не одет, в одном белье, даже без сапог. Рубашка его на спине и на рукавах была смочена кровью; но кровь была не его, а из порезанной руки Вельчанинова. Конечно, это был Павел Павлович, но почти можно было не узнать его в первую минуту, если б встретить тако-

го нечаянно, – до того изменилась его физиономия. Он сидел, неловко выпрямляясь в креслах от связанных назад рук, с исказившимся и измученным, позеленевшим лицом, и изредка вздрагивал. Пристально, но каким-то темным, как бы еще не различающим всего взглядом посмотрел он на Вельчанинова. Вдруг он тупо улыбнулся и, кивнув на графин с водой, стоявший на столе, проговорил коротким полушепотом:

– Водицы бы-с.

Вельчанинов налил ему и стал его поить из своих рук. Павел Павлович накинулся с жадностию на воду; глотнув раза три, он приподнял голову, очень пристально посмотрел в лицо стоявшему перед ним со стаканом в руке Вельчанинову, но не сказал ничего и принялся допивать. Напившись, он глубоко вздохнул. Вельчанинов взял свою подушку, захватил свое верхнее платье и отправился в другую комнату, заперев Павла Павловича в первой комнате на замок.

Давешняя его боль прошла совсем, но слабость он вновь ощутил чрезвычайную после теперешнего, мгновенного напряжения бог знает откуда пришедшей к нему силы. Он попытался было сообразить происшествие, но мысли его еще плохо вязались; толчок был слишком силен. Глаза его то смыкались, иногда даже минут на десять, то вдруг он вздрагивал, просыпался, вспоминал все, приподнимал свою болевшую и обернутую в мокрое от крови полотенце руку, и принимался жадно и лихорадочно думать. Он решил ясно

только одно: что Павел Павлович действительно хотел его зарезать, но что, может быть, еще за четверть часа сам не знал, что зарежет. Бритвенный ящик, может, только с вечера скользнул мимо его глаз, не возбудив никакой при этом мысли, и остался лишь у него в памяти. (Бритвы же и всегда лежали в бюро, на замке, и только в вчерашнее утро Вельчанинов их вынул, чтоб подбрить лишние волосы около усов и бакенбард, что иногда делывал.)

«Если б он давно уже намеревался меня убить, то наверно бы приготовил заранее нож или пистолет, а не рассчитывал бы на мои бритвы, которых никогда и не видал, до вчерашнего вечера», – придумалось ему между прочим.

Пробило, наконец, шесть часов утра. Вельчанинов очнулся, оделся и пошел к Павлу Павловичу. Отпирая двери, он не мог понять: для чего он запирал Павла Павловича и зачем не выпустил его тогда же из дому? К удивлению его, арестант был уже совсем одет; вероятно, нашел как-нибудь случай распутаться. Он сидел в креслах, но тотчас же встал, как вошел Вельчанинов. Шляпа была уже у него в руках. Тревожный взгляд его, как бы спеша, проговорил:

«Не начинай говорить; нечего начинать; не за чем говорить…»

– Ступайте! – сказал Вельчанинов. – Возьмите ваш футляр, – прибавил он ему вслед.

Павел Павлович воротился уже от дверей, захватил со стола футляр с браслетом, сунул его в карман и вышел на лест-

ницу. Вельчанинов стоял в дверях, чтоб запереть за ним. Взгляды их в последний раз встретились; Павел Павлович вдруг приостановился, оба секунд с пять поглядели друг другу в глаза – точно колебались; наконец, Вельчанинов слабо махнул на него рукой.

– Ну ступайте! – сказал он вполголоса и запер дверь на замок.

XVI
Анализ

Чувство необычайной, огромной радости овладело им; что-то кончилось, развязалось; какая-то ужасная тоска отошла и рассеялась совсем. Так ему казалось. Пять недель продолжалась она. Он поднимал руку, смотрел на смоченное кровью полотенце и бормотал про себя: «Нет, уж теперь совершенно все кончилось!» И во все это утро, в первый раз в эти три недели, он почти и не подумал о Лизе, – как будто эта кровь из порезанных пальцев могла «поквитать» его даже и с этой тоской.

Он сознал ясно, что миновал страшную опасность. «Эти люди, – думалось ему, – вот эти-то самые люди, которые еще за минуту не знают, зарежут они или нет, – уж как возьмут раз нож в свои дрожащие руки и как почувствуют первый брызг горячей крови на своих пальцах, то мало того что зарежут, – голову совсем отрежут «напрочь», как выражаются

каторжные. Это так».

Он не мог оставаться дома и вышел на улицу в убеждении, что необходимо сейчас что-то сделать или что непременно сейчас что-то с ним само собой сделается; он ходил по улицам и ждал. Ужасно захотелось ему с кем-нибудь встретиться, с кем-нибудь заговорить, хоть с незнакомым, и только это навело его, наконец, на мысль о докторе и о том, что руку надо бы перевязать как следует. Доктор, прежний его знакомый, осмотрев рану, с любопытством спросил: «Как это могло случиться?» Вельчанинов отшучивался, хохотал и чуть-чуть не рассказал всего, но удержался. Доктор принужден был пощупать ему пульс и, узнав о вчерашнем припадке ночью, уговорил его принять теперь же какого-то бывшего под рукой, успокоительного лекарства. Насчет пореза он тоже его успокоил: «Особенно дурных последствий быть не может». Вельчанинов захохотал и стал уверять его, что уже оказались превосходные последствия. Неудержимое желание рассказать все повторилось с ним в этот день еще раза два, – однажды даже с совсем незнакомым человеком, с которым сам он первый завел разговор в кондитерской. Он терпеть не мог до сих пор заводить разговоры с людьми незнакомыми в публичных местах.

Он заходил в магазины, купил газету, зашел к своему портному и заказал себе платье. Мысль посетить Погорельцевых продолжала быть ему неприятною, и он не думал о них, да и не мог он ехать на дачу: он как бы все чего-то ожи-

дал здесь в городе. Обедал с наслаждением, заговорил с слугой и с обедавшим соседом и выпил полбутылки вина. О возможности возвращения вчерашнего припадка он и не думал; он был убежден, что болезнь прошла совершенно в ту самую минуту, когда он, заснув вчера в таком бессилии, через полтора часа вскочил с постели и с такою силою бросил своего убийцу об пол. К вечеру, однакоже, голова его стала кружиться и как будто что-то похожее на вчерашний бред во сне стало овладевать им мгновениями. Он воротился домой уже в сумерки и почти испугался своей комнаты, войдя в нее. Страшно и жутко показалось ему в его квартире. Несколько раз прошелся он по ней и даже зашел в свою кухню, куда никогда почти не заходил. «Здесь они вчера грели тарелки», – подумалось ему. Двери он накрепко запер и раньше обыкновенного зажег свечи. Запирая двери, он вспомнил, что полчаса тому, проходя мимо дворницкой, он вызвал Мавру и спросил ее: «Не заходил ли без него Павел Павлович?» – точно и в самом деле тот мог зайти.

Запершись тщательно, он отпер бюро, вынул ящик с бритвами и развернул «вчерашнюю» бритву, чтоб посмотреть на нее. На белом костяном черенке остались чуть ошные следы крови. Он положил бритву опять в ящик и опять запер его в бюро. Ему хотелось спать; он чувствовал, что необходимо сейчас же лечь, – иначе он назавтра никуда не будет годиться. Завтрашний день представлялся ему почему-то как роковой и «окончательный» день. Но всё те же мысли, которые

его и на улице, весь день, ни на мгновение не покидали, толпились и стучали в его больной голове и теперь, неустанно и неотразимо, и он все думал-думал-думал, и долго еще ему не пришлось заснуть…

«Если уж решено, что он встал меня резать *нечаянно*, – все думал и думал он, – то вспадала ли ему эта мысль на ум хоть раз прежде, хотя бы только в виде мечты в злобную минуту?»

Он решил вопрос странно, – тем, что Павел Павлович хотел его убить, но что мысль об убийстве ни разу не вспадала будущему убийце на ум. Короче: «Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить. Это бессмысленно, но это так, – думал Вельчанинов. – Не места искать и не для Багаутова он приехал сюда – хотя и искал здесь места и забегал к Багаутову, и взбесился, когда тот помер; Багаутова он презирал как щепку. Он для меня сюда поехал и приехал с Лизой…»

«А ожидал ли я сам, что он… зарежет меня?» Он решил, что да, ожидал, именно с той самой минуты, как увидел его в карете, за гробом Багаутова, «я чего-то как бы стал ожидать… но, разумеется, не этого, разумеется, не того, что зарежет!..»

«И неужели, неужели правда была все то, – восклицал он опять, вдруг подымая голову с подушки и. раскрывая глаза, – все то, что этот… сумасшедший натолковал мне вчера о своей ко мне любви, когда задрожал у него подбородок и

он стукал в грудь кулаком?

Совершенная правда! – решал он, неустанно углубляясь и анализируя. – Этот Квазимодо из Т. слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтоб влюбиться в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет *ничего* не приметил! Он уважал меня девять лет, чтил память мою и мои «изречения» запомнил, – Господи, а я-то не ведал ни о чем! Не мог он лгать вчера! Но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал: «поквитаемтесь»? Да, со злобы любил; эта любовь самая сильная…

А ведь могло быть, а ведь было наверно так, что я произвел на него колоссальное впечатление в Т., именно колоссальное и «отрадное», и именно с таким Шиллером, в образе Квазимодо, и могло это произойти! Он преувеличил меня во сто раз, потому что я слишком уж поразил его в его философском уединении… Любопытно бы знать, чем именно поразил? Право, может быть, свежими перчатками и умением их надевать. Квазимоды любят эстетику, ух любят! Перчаток слишком достаточно для иной благороднейшей души, да еще из «вечных мужей». Остальное они сами дополнят раз в тысячу и подерутся даже за вас, если вы того захотите. Средства-то обольщения мои как высоко он ставит! Может быть, именно средства обольщения и поразили его всего более. А крик-то его тогда: «Если уж и этот, так в кого же после этого верить!» После этакого крика зверем сделаешься!..

Гм! Он приехал сюда, чтоб «обняться со мной и запла-

кать», как он сам подлейшим образом выразился, то есть он ехал, чтоб зарезать меня, а думал, что едет «обняться и заплакать»… Он и Лизу привез. А что: если б я с ним заплакал, он, может, и в самом бы деле простил меня, потому что ужасно ему хотелось простить!.. Все это обратилось, при первом столкновении, в пьяное ломание и в карикатуру, и в гадкое бабье вытье об обиде. (Рога-то, рога-то над лбом себе сделал!) Для того и пьяный приходил, чтоб хоть ломаясь да высказать; непьяный он бы не смог… А любил-таки поломаться, ух любил! Ух, как был рад, когда заставил поцеловаться с собой! Только не знал тогда, чем он кончит: обнимется или зарежет? Вышло, конечно, что всего лучше и то и другое, вместе. Самое естественное решение! Да-с, природа не любит уродов и добивает их «естественными решеньями». Самый уродливый урод – это урод с благородными чувствами: я это по собственному опыту знаю, Павел Павлович! Природа для урода не нежная мать, а мачеха. Природа родит урода, да вместо того чтоб пожалеть его, его ж и казнит, – да и дельно. Объятия и слезы всепрощения даже и порядочным людям, в наш век, даром с рук не сходят, а не то что уж таким, как мы с вами, Павел Павлович!

Да, он был достаточно глуп, чтоб повезти меня и к невесте, – Господи! Невеста! Только у такого Квазимодо и могла зародиться мысль о «воскресении в новую жизнь» – посредством невинности мадемуазель Захлебининой! Но вы не виноваты, Павел Павлович, не виноваты: вы урод, а потому и

все у вас должно быть уродливо – и мечты и надежды ваши. Но хоть и урод, а усумнился же в мечте, почему и потребовалась высокая санкция Вельчанинова, с благоговением уважаемого. Надо было одобрение Вельчанинова, подтверждение от него, что мечта не мечта, а настоящая вещь.

Он меня из благоговейного уважения ко мне повез и в благородство чувств моих веруя, – веруя, может быть, что мы там под кустом обнимемся и заплачем, неподалеку от невинности. Да! должен же был, обязан же был, наконец, этот «вечный муж» хоть когда-нибудь да наказать себя за все окончательно, и чтоб наказать себя, он и схватился за бритву, – правда, нечаянно, но все-таки схватился! «Все-таки пырнул же ножом, все-таки ведь кончил же тем, что пырнул, в присутствии губернатора!» А кстати, была ли у него хоть какая-нибудь мысль в этом роде, когда он мне рассказывал свой анекдот про шафера? А было ли в самом деле что-нибудь тогда ночью, когда он вставал с постели и стоял среди комнаты? Гм. Нет, он *в шутку* тогда стоял. Он встал за своим делом, а как увидел, что я его струсил, он и не отвечал мне десять минут, потому что очень уж приятно было ему, что я струсил его… Тут-то, может быть, ему и в самом деле что-нибудь в первый раз померещилось, когда он стоял тогда в темноте…

А все-таки, не забудь я вчера на столе эти бритвы, – ничего бы, пожалуй, и не было. Так ли? Так ли? Ведь избегал же он меня прежде, ведь не ходил же ко мне по две недели;

ведь прятался же он от меня, меня *жалеючи!* Ведь выбрал же вначале Багаутова, а не меня! Ведь вскочил же ночью тарелки греть, думая сделать диверсию – от ножа к умилению!.. И себя и меня спасти хотел – гретыми тарелками!..»

И долго еще работала в этом роде больная голова этого бывшего «светского человека», пересыпая из пустого в порожнее, пока он успокоился. Он проснулся на другой день с тою же больною головою, но с совершенно *новым* и уже совершенно неожиданным ужасом.

Этот новый ужас происходил от непременного убеждения, в нем неожиданно укрепившегося, в том, что он, Вельчанинов (и светский человек), сегодня же, сам, своей волей, кончит все тем, что пойдет к Павлу Павловичу, – зачем? для чего? – ничего он этого не знал и с отвращением знать не хотел, а знал только то, что зачем-то потащится.

Сумасшествие это – иначе он и назвать не мог – развилось, однакоже, до того, что получило, насколько можно, разумный вид и довольно законный предлог: ему еще как бы грезилось, что Павел Павлович воротится в свой номер, запрется накрепко и – повесится, как тот казначей, про которого рассказывала Марья Сысоевна. Эта вчерашняя мечта перешла в нем мало-помалу в бессмысленное, но неотразимое убеждение. «Зачем этому дураку вешаться?» – перебивал он себя поминутно. Ему вспоминались давнишние слова Лизы… «А впрочем, я на его месте, может, и повесился бы…» – придумалось ему один раз.

Кончилось тем, что он, вместо того чтоб идти обедать, направился-таки к Павлу Павловичу. «Я только у Марьи Сысоевны спрошу», – решил он. Но, еще не успев выйти на улицу, он вдруг остановился под воротами.

– Неужели ж, неужели ж, – вскрикнул он, побагровев от стыда, – неужели ж я плетусь туда, чтоб «обняться и заплакать»? Неужели только этой бессмысленной мерзости недоставало ко всему сраму?

Но от «бессмысленной мерзости» спасло его провидение всех порядочных и приличных людей. Только что он вышел на улицу, с ним вдруг столкнулся Александр Лобов. Юноша был впопыхах и в волнении.

– А я к вам! Приятель-то ваш, Павел Павлович, каково?

– Повесился? – дико пробормотал Вельчанинов.

– Кто повесился? Зачем? – вытаращил глаза Лобов.

– Ничего… я так; продолжайте!

– Фу, черт, какой, однакоже, у вас смешной оборот мыслей! Совсем-таки не повесился (почему повесился?). Напротив – уехал. Я только что сейчас его в вагон посадил и отправил. Фу, как он пьет, я вам скажу! Мы три бутылки выпили, Предпосылов тоже, – но как он пьет, как он пьет! Песни пел в вагоне, об вас вспоминал, ручкой делал, кланяться вам велел. А подлец он, как вы думаете, – а?

Молодой человек был действительно хмелен; раскрасневшееся лицо, блиставшие глаза и плохо слушавшийся язык сильно об этом свидетельствовали. Вельчанинов захохотал

во все горло:

– Так они кончили-таки, наконец, брудершафтом! – ха-ха! Обнялись и заплакали! Ах вы, Шиллеры-поэты!

– Не ругайтесь, пожалуйста. Знаете, он *там* совсем отказался. Вчера там был и сегодня был. Нафискалил ужасно. Надю заперли, – сидит в антресолях. Крик, слезы, но мы не уступим! Но как он пьет, я вам скажу, как он пьет! И знаете, какой он моветон[19], то есть не моветон, а как это?.. И все про вас вспоминал, но какое сравнение с вами! Вы все-таки порядочный человек и в самом деле принадлежали когда-то к высшему обществу и только теперь принуждены уклониться, – по бедности, что ли… Черт знает, я его плохо разобрал.

– А, так это он вам в таких выражениях про меня рассказывал?

– Он, он, не сердитесь. Быть гражданином – лучше высшего общества. Я к тому, что в наш век в России не знаешь, кого уважать. Согласитесь, что это сильная болезнь века, когда не знаешь, кого уважать, – не правда ли?

– Правда, правда, что ж он?

– Он? Кто? Ах, да! Почему он все говорил «пятидесятилетний, *но* промотавшийся Вельчанинов»? Почему «*но* промотавшийся», а не «*и* промотавшийся»! Смеется, тысячу раз повторил. В вагон сел, песню запел и заплакал – просто отвратительно; так даже жалко, – спьяну. Ах, не люблю дураков! Нищим пустился деньги раскидывать, за упокой души

---

[19] Моветон (*фр.* – mauvais ton) – человек дурного тона.

Лизаветы – жена, что ль, его?

– Дочь.

– Что это у вас рука?

– Порезал.

– Ничего, пройдет. Знаете, черт с ним, хорошо, что уехал, но бьюсь об заклад, что он там, куда приедет, тотчас же опять женится, – не правда ли?

– Да ведь и вы хотите жениться?

– Я? Я другое дело, – какой вы, право! Если вы пятидесятилетний, так уж он, наверно, шестидесятилетний; тут нужна логика, батюшка! И знаете, прежде, давно уже, я был чистый славянофил по убеждениям, но теперь мы ждем зари с запада… Ну, до свидания; хорошо, что столкнулся с вами не заходя; не зайду, не просите, некогда!..

И он бросился было бежать.

– Ах, да что ж я, – воротился он вдруг, – ведь он меня с письмом к вам прислал! Вот письмо. Зачем вы не пришли провожать?

Вельчанинов воротился домой и распечатал адресованный на его имя конверт.

В конверте ни одной строчки не было от Павла Павловича, но находилось какое-то другое письмо. Вельчанинов узнал эту руку. Письмо было старое, на пожелтевшей от времени бумаге, с выцветшими чернилами, писанное лет десять назад к нему к Петербург, два месяца спустя после того, как он выехал тогда из Т. Но письмо это не пошло к нему; вместо него

он получил тогда другое; это ясно было по смыслу пожелтевшего письма. В этом письме Наталья Васильевна, прощаясь с ним навеки, – точно так же, как и в полученном тогда письме – и признаваясь ему, что любит другого, не скрывала, однакоже, о своей беременности. Напротив, в утешение ему сулила, что она найдет случай передать ему будущего ребенка, уверяла, что отныне у них другие обязанности, что дружба их теперь навеки закреплена, – одним словом, логики было мало, но цель была все та же: чтоб он избавил ее от любви своей. Она даже позволяла ему заехать в Т. через год – взглянуть на дитя. Бог знает почему она раздумала и выслала другое письмо вместо этого.

Вельчанинов, читая, был бледен, но представил себе и Павла Павловича, нашедшего это письмо и читавшего его в первый раз перед раскрытым фамильным ящичком черного дерева с перламутровой инкрустацией.

«Должно быть, тоже побледнел, как мертвец, – подумал он, заметив свое лицо нечаянно в зеркале, – должно быть, читал и закрывал глаза, и вдруг опять открывал в надежде, что письмо обратится в простую белую бумагу… Наверно, раза три повторил опыт!..»

XVII
Вечный муж

Прошло почти ровно два года после описанного нами при-

ключения. Мы встречаем господина Вельчанинова в один прекрасный летний день в вагоне одной из вновь открывшихся наших железных дорог. Он ехал в Одессу, чтоб повидаться, для развлечения, с одним приятелем, а вместе с тем и по другому, тоже довольно приятному обстоятельству; через этого приятеля он надеялся уладить себе встречу с одною из чрезвычайно интересных женщин, с которою ему давно уже желалось познакомиться. Не вдаваясь в подробности, ограничимся лишь замечанием, что он сильно переродился, или, лучше сказать, исправился в эти последние два года. От прежней ипохондрии почти и следов не осталось. От разных «воспоминаний» и тревог – последствий болезни, – начавших было осаждать его два года назад в Петербурге, во время неудававшегося процесса. – уцелел в нем лишь некоторый потаенный стыд от сознания бывшего малодушия. Его вознаграждала отчасти уверенность, что этого уже больше не будет и что об этом никто и никогда не узнает. Правда, он тогда бросил общество, стал даже плохо одеваться, куда-то от всех спрятался, – и это, конечно, было *всеми* замечено. Но он так скоро явился с повинною, а вместе с тем и с таким вновь возрожденным и самоуверенным видом, что «все» тотчас же ему простили его минутное отпадение; даже те из них, с которыми он перестал было кланяться, первые же и узнали его и протянули ему руку, и притом без всяких докучных вопросов, – как будто он все время был где-то далеко в отлучке по своим домашним делам, до которых никому из них нет де-

ла, и только сейчас воротился. Причиною всех этих выгодных и здравых перемен к лучшему был, разумеется, выигранный процесс. Вельчанинову досталось всего шестьдесят тысяч рублей, – дело бесспорно невеликое, но для него очень важное: во-первых, он тотчас же почувствовал себя опять на твердой почве, – стало быть, утолился нравственно; он знал теперь уже наверно, что этих последних денег своих не промотает «как дурак», как промотал свои первые два состояния, и что ему хватит на всю жизнь. «Как бы там ни трещало у них общественное здание и что бы они там ни трубили, – думал он иногда, приглядываясь и прислушиваясь ко всему чудесному и невероятному, совершающемуся кругом него и по всей России, – во что бы там ни перерождались люди и мысли, у меня все-таки всегда будет хоть этот тонкий и вкусный обед, за который я теперь сажусь, а стало быть, я ко всему приготовлен». Эта нежная до сладострастия мысль мало-помалу овладевала им совершенно и произвела в нем переворот даже физический, не говоря уже о нравственном: он смотрел теперь совсем другим человеком в сравнении с тем «хомяком», которого мы описывали за два года назад и с которым уже начинали случаться такие неприличные истории, – смотрел весело, ясно, важно. Даже злокачественные морщинки, начинавшие скопляться около его глаз и на лбу, почти разгладились; даже цвет его лица изменился, – он стал белее, румянее. В настоящую минуту он сидел на комфортном месте в вагоне первого класса, и в уме его наклевыва-

лась одна милая мысль: на следующей станции предстояло разветвление пути, и шла новая дорога вправо. «Если б бросить, на минутку, прямую дорогу и увлечься вправо, то не более как через две станции можно бы было посетить еще одну знакомую даму, только что возвратившуюся из-за границы и находящуюся теперь в приятном для него, но весьма скучном для нее уездном уединении; а стало быть, являлась возможность употребить время не менее интересно, чем и в Одессе, тем более что и там не уйдет…» Но он все еще колебался и не решался окончательно; он «ждал толчка». Между тем станция приближалась; толчок тоже не замедлил.

На этой станции поезд останавливался на сорок минут и предлагался обед пассажирам. У самого входа в залу для пассажиров первого и второго классов столпилось, как водится, множество нетерпеливой и торопившейся публики и, – может быть, тоже как водится, – произошел скандал. Одна дама, вышедшая из вагона второго класса и замечательно хорошенькая, но что-то уж слишком пышно разодетая для путешественницы, почти тащила обеими руками за собою улана, очень молоденького и красивого офицерика, который вырывался у нее из рук. Молоденький офицерик был сильно хмелен, а дама, по всей вероятности, его старшая родственница, не отпускала его от себя, должно быть из опасения, что он прямо так и бросится к буфету с напитками. Между тем с уланом, в тесноте, столкнулся купчик, тоже закутивший, и даже до безобразия. Этот купчик застрял на станции

второй уже день, пил и сыпал деньгами, окруженный разным товариществом, и все не успевал попасть в поезд, чтоб отправиться далее. Вышла ссора, офицер кричал, купчик бранился, дама была в отчаянии и, увлекая улана от ссоры, восклицала ему умоляющим голосом: «Митенька! Митенька!» Купчику показалось это слишком уже скандальным; правда, и все смеялись, но купчик обиделся уже более за оскорбленную, как показалось ему почему-то, нравственность.

– Вишь, «Митенька!» – произнес он укорительно, передразнив тоненький голосок барыни. – И в публике уже не стыдятся!

И, подойдя, качаясь, к бросившейся на первый стул даме, успевшей усадить рядом с собой и улана, он презрительно осмотрел обоих и протянул нараспев:

– Шлюха ты, шлюха, хвост отшлепала!

Дама взвизгнула и жалостно осматривалась, ожидая избавления. Ей и стыдно-то было, и боялась-то она, а к довершению всего офицер сорвался со стула и, завопив, ринулся было на купчика, но поскользнулся и шлепнулся назад на стул. Хохот кругом усиливался, а помочь никто и не думал; но помог Вельчанинов: он вдруг схватил купчика за шиворот и, повернув, оттолкнул его шагов на пять от испуганной женщины. Тем скандал и кончился; купчик был сильно опешен и толчком и внушительной фигурой Вельчанинова; его тотчас же увели товарищи. Осанистая физиономия изящно одетого барина возымела внушительное влияние и на насмешни-

ков: смех прекратился. Дама, краснея и чуть не со слезами, начала изливаться в уверениях о своей благодарности. Улан бормотал: «Балдарю, балдарю!» – и хотел было протянуть Вельчанинову руку, но вместо того вдруг вздумал улечься на стульях и протянулся на них с ногами.

– Митенька! – укоризненно простонала дама, всплеснув руками.

Вельчанинов был доволен и приключением и его обстановкой. Дама интересовала его; это была, как видно, богатенькая провинциалочка, хотя и пышно, но безвкусно одетая и с манерами несколько смешными, – именно соединяла в себе все, гарантирующее успех столичному фату при известных целях на женщину. Завязался разговор; дама горячо рассказывала и жаловалась на своего мужа, который «вдруг из вагона куда-то скрылся, и от этого все и произошло, потому что он вечно, когда надо тут быть, куда-то и скроется…»

– По надобности… – пробормотал улан.

– Ах, Митенька! – всплеснула опять она руками.

«Ну достанется же мужу!» – подумал Вельчанинов.

– Как его зовут? я пойду и отыщу его, – предложил он.

– Пал Палыч, – отозвался улан.

– Вашего супруга зовут Павлом Павловичем? – с любопытством спросил Вельчанинов, и вдруг знакомая ему лысая голова просунулась между ним и дамой. В одно мгновение представился ему сад у Захлебининых, невинные игры и докучливая лысая голова, беспрерывно просовывавшаяся

между ним и Надеждой Федосеевной.

– Вот вы, наконец! – истерически вскричала супруга.

Это был сам Павел Павлович; в удивлении и страхе глядел он на Вельчанинова, оторопев перед ним, как перед привидением. Столбняк его был таков, что некоторое время, он, по-видимому, не понимал ничего из того, что толковала ему раздражительной и быстрой скороговоркой оскорбленная супруга. Наконец, он вздрогнул и сообразил разом весь свой ужас: и свою вину, и о Митеньке, и об том, что этот «мсьё» – дама почему-то так назвала Вельчанинова – «был для нас ангелом-хранителем и спасителем, а вы – вы вечно уйдете, когда вам надо тут быть…»

Вельчанинов вдруг захохотал.

– Да ведь мы с ним друзья, друзья с детства! – восклицал он удивленной даме, фамильярно и покровительственно обхватив правой рукой плечи улыбавшегося бледной улыбкой Павла Павловича. – Не говорил он вам об Вельчанинове?

– Нет, никогда не говорил, – оторопела несколько супруга.

– Так представьте же меня, вероломный друг, вашей супруге!

– Это, Липочка, действительно господин Вельчанинов-с, вот-с… – начал было и постыдно оборвался Павел Павлович. Супруга вспыхнула и злобно сверкнула на него глазами, очевидно за «Липочку».

– И представьте, и не уведомил, что женился, и на свадьбу не позвал, но вы, Олимпиада…

– Семеновна, – подсказал Павел Павлович.

– Семеновна! – отозвался вдруг заснувший было улан.

– Вы уж простите его, Олимпиада Семеновна, для меня, ради встречи друзей… Он – добрый муж!

И Вельчанинов дружески хлопнул Павла Павловича по плечу.

– Я, душенька, я только на минутку… отстал… – начал было оправдываться Павел Павлович.

– И бросили жену на позор! – тотчас же подхватила Липочка. – Когда надо, вас нет, где не надо – вы тут…

– Где не надо – тут, где не надо… где не надо… – поддакивал улан.

Липочка почти задыхалась от волнения; она и сама знала, что это нехорошо при Вельчанинове, и краснела, но не могла совладать.

– Где не надо, вы слишком уж осторожны, слишком осторожны! – вырвалось у ней.

– Под кроватью… любовников ищет… под кроватью – где не надо… где не надо… – ужасно разгорячился вдруг и Митенька.

Но с Митенькой уже нечего было делать. Все кончилось, впрочем, приятно; последовало полное знакомство. Павла Павловича услали за кофеем и за бульоном. Олимпиада Семеновна объяснила Вельчанинову, что они едут теперь из О., где служит ее муж, на два месяца в их деревню, что это недалеко, от этой станции всего сорок верст, что у них там пре-

красный дом и сад, что к ним приедут гости, что у них есть и соседи, и если б Алексей Иванович был так добр и захотел их посетить «в их уединении», то она бы встретила его «как ангела-хранителя», потому что она не может вспомнить без ужасу, что бы было, если б… и так далее, и так далее, – одним словом, «как ангела-хранителя…»

– И спасителя, и спасителя, – с жаром настаивал улан.

Вельчанинов вежливо поблагодарил и ответил, что он всегда готов, что он совершенно праздный и незанятой человек и что приглашение Олимпиады Семеновны ему слишком лестно. Затем тотчас же завел веселенький разговор, в который удачно вставил два или три комплимента. Липочка покраснела от удовольствия и, только что воротился Павел Павлович, восторженно объявила ему, что Алексей Иванович так добр, что принял ее приглашение прогостить у них в деревне весь месяц и обещался приехать через неделю. Павел Павлович улыбнулся потерянно и промолчал. Олимпиада Семеновна вскинула на него плечиками и возвела глаза к небу. Наконец, расстались: еще раз благодарность, опять «ангел-хранитель», опять «Митенька», и Павел Павлович увел, наконец, усаживать супругу и улана в вагон. Вельчанинов закурил сигару и стал прохаживаться по галерее перед воксалом; он знал, что Павел Павлович сейчас опять прибежит к нему поговорить до звонка. Так и случилось. Павел Павлович немедленно явился перед ним с тревожным вопросом в глазах и во всей физиономии. Вельчанинов засме-

ялся: «дружески» взял его за локоть и, притянув к ближайшей скамейке, сел и усадил его с собою рядом. Сам он молчал, ему хотелось, чтоб заговорил Павел Павлович первый.

– Так вы к нам-с? – пролепетал тот, совершенно откровенно приступая к делу.

– Так я и знал! Не переменился нисколько! – расхохотался Вельчанинов. – Ну неужели же вы, – хлопнул он его опять по плечу, – неужели же вы хоть минуту могли подумать серьезно, что я в самом деле могу к вам приехать в гости, да еще на месяц – ха-ха!

Павел Павлович весь так и встрепенулся.

– Так вы – не приедете-с! – вскричал он, нисколько не скрывая своей радости.

– Не приеду, не приеду! – самодовольно смеялся Вельчанинов. Впрочем, он и сам не понимал, почему ему так уж особенно смешно, но чем дальше, тем ему становилось смешнее.

– Неужели… неужели вы в самом деле говорите-с? – И, сказав это, Павел Павлович даже привскочил с места, в трепетном ожидании.

– Да уж сказал, что не приеду, – ну чудак же вы человек!

– Как же мне… если так-с, как же сказать-то Олимпиаде Семеновне, когда вы через неделю не пожалуете, а она будет ждать-с?

– Экая трудность! Скажите, что я ногу сломал или в этом роде.

– Не поверят-с, – жалостным голоском протянул Павел Павлович.

– И вам достанется? – все смеялся Вельчанинов. – Но я замечаю, мой бедный друг, что вы-таки трепещете перед вашей прекрасной супругой, а?

Павел Павлович попробовал улыбнуться, но не вышло. Что Вельчанинов отказывался приехать, – это, конечно, было хорошо, но что он фамильярничает насчет супруги, – это было уже дурно. Павел Павлович покоробился; Вельчанинов это заметил. Между тем прозвонил уже второй звонок; в отдалении послышался тонкий голосок из вагона, тревожно вызывавший Павла Павловича. Тот засуетился на месте, но не побежал на призыв, видимо ожидая еще чего-то от Вельчанинова, – конечно, еще раз заверения, что он к ним не приедет.

– Как бывшая фамилия вашей супруги? – осведомился Вельчанинов, как бы не замечая совсем тревоги Павла Павловича.

– У нашего благочинного взял-с, – ответил тот, в смятении посматривая на вагоны и прислушиваясь.

– А, понимаю, за красоту.

Павел Павлович опять покоробился.

– А кто же у вас этот Митенька?

– А это так-с; дальний наш родственник один, то есть мой-с, сын двоюродной моей сестры, покойницы-с, Голубчиков-с, за непорядки разжаловали, а теперь опять произведен;

мы его и экипировали… Несчастный молодой человек-с…

«Ну так-так, все в порядке; полная обстановка!» – подумал Вельчанинов.

– Павел Павлович! – раздался опять отдаленный призыв из вагона и уже с слишком раздражительной ноткой в голосе.

– Пал Палыч! – послышался другой, сиплый, голос. Павел Павлович опять засуетился и заметался, но Вельчанинов крепко прихватил его за локоть и остановил.

– А хотите, я сейчас пойду и расскажу вашей супруге, как вы меня зарезать хотели – а?

– Что вы, что вы-с! – испугался ужасно Павел Павлович. – Да Боже вас сохрани-с.

– Павел Павлович! Павел Павлович! – послышались опять голоса.

– Ну уж ступайте! – выпустил его, наконец, Вельчанинов, продолжая благодушно смеяться.

– Так не приедете-с? – чуть не в отчаянии в последний раз шептал Павел Павлович и даже руки сложил перед ним, как в старину, ладошками.

– Да клянусь же вам, не приеду! Бегите, беда ведь будет!

И он размашисто протянул ему руку, – протянул и вздрогнул: Павел Павлович не взял руки, даже отдернул свою.

Раздался третий звонок.

В одно мгновение произошло что-то странное с обоими; оба точно преобразились. Что-то как бы дрогнуло и вдруг порвалось в Вельчанинове, еще только за минуту так смеяв-

шемся. Он крепко и яростно схватил Павла Павловича за плечо.

– Уж если я, я протягиваю вам вот эту руку, – показал он ему ладонь своей левой руки, на которой явственно остался крупный шрам от пореза, – так уж вы-то могли бы взять ее! – прошептал он дрожавшими и побледневшими губами.

Павел Павлович тоже побледнел, и у него тоже губы дрогнули. Какие-то конвульсии вдруг пробежали по лицу его.

– А Лиза-то-с? – пролепетал он быстрым шепотом, – и вдруг запрыгали его губы, щеки и подбородок, и слезы хлынули из глаз. Вельчанинов стоял перед ним как столб.

– Павел Павлович! Павел Павлович! – вопили из вагона, точно там кого резали, – и вдруг раздался свисток.

Павел Павлович очнулся, всплеснул руками и бросился бежать сломя голову; поезд уже тронулся, но он как-то успел уцепиться и вскочил-таки в свой вагон на лету. Вельчанинов остался на станции и только к вечеру отправился в дорогу, дождавшись нового поезда и по прежнему пути. Вправо, к уездной знакомке, он не поехал, – слишком уж был не в духе. И как жалел потом!

Бобок. Записки одного лица

На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:

– Да будешь ли ты, Иван Иваныч, когда-нибудь трезв, скажи на милость?

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Всё-таки ты, говорит, литератор. Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо».

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное; идеалов надо, а тут…

Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть – не напечатали. Написал фельетон – отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у вас нет».

– Какой же тебе соли, – спрашиваю с насмешкою, – аттической?

Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: «Редкость! Красненький, дескать, чай, с собственных плантаций…» За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безвозмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Всё увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки, – живые! Это они реализмом зовут.

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте… и вот что под самый конец оказалось… впрочем, давно уже надо было предвидеть…» Это еще довольно хитро; так что с точки чистого искусства

даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет, – способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя сумасшедший дом: «Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные. Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошел, значит, теперь мы умные». Нет, еще не значит.

Впрочем, черт… и что я с своим умом развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель: «У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь – и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь…»

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!»

Какой такой бобок? Надо развлечься.

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется! Покойник добывал, ну а теперь – пенсионишка. Подожмут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хо-

ронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки – ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая… ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить и всё. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим… или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности, а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал. Я горд, и если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки, а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об «удивлении» я вот что вывел:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удив-

ляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего не уважать. Да глупый человек и не может уважать».

– Да я прежде всего желаю уважать. Я *жажду* уважать, – сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И боже, подумал я, что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина.

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу – звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные, очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

– Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.

– Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

– Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.

– Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преференс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике.

«Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова… таких-то и таких орденов кавалера». Гм. «Скончался в августе сего года… пятидесяти семи… Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник.

– Ох-хо-хо-хо! – послышался совсем уже новый голос, саженях в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки, – голос мужской и простонародный, но расслабленный на благоговейно-умиленный манер.

– Ох-хо-хо-хо!

– Ах, опять он икает! – раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света. – Наказание мне подле этого лавочника!

– Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь мое естество. И всё-то вы, барыня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.

– Так зачем вы сюда легли?

– Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

– Накопил; людей обсчитывал?

– Чем вас обсчитаешь-то, коли с января почитай никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется.

– Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.

– Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предела и пред судом Божиим во гресех равны.

– Во гресех! – презрительно передразнила покойница. – И не смейте совсем со мной говорить!

– Ох-хо-хо-хо!

– Однако лавочник-то барыни слушается, ваше превосходительство.

– Почему же бы ему не слушаться?

– Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.

– Какой же это новый порядок?

– Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство.

– Ах, да! Ну всё же порядок…

Ну одолжили; нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.

– Нет, я бы пожил! Нет… я, знаете… я бы пожил! – раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

– Слышите, ваше превосходительство, наш опять за то же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

– И с легкомыслием.

– Пронимает его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает с апреля ведь здесь, и вдруг: «Я бы пожил!»

– Скучновато, однако, – заметил его превосходительство.

– Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

– Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.

– А я, напротив, вас обоих терпеть не могу, – брезгливо откликнулась крикса. – Оба вы самые прескучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про вас, ваше превосходительство, – не чваньтесь, пожалуйста, – одну историйку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.

– Скверная женщина! – сквозь зубы проворчал генерал.

– Матушка, Авдотья Игнатьевна, – возопил вдруг опять лавочник, – барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж по мытарствам это хожу, али что иное деется?..

– Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается!

– Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись, – потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу.

– Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.

– Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скорее пристигли: слезные гласы их над собой услышу, супруги вопль и детей тихий плач.

– Ну, вот об чем плачет: нажрутся кутьи и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!

– Авдотья Игнатьевна, – заговорил льстивый чиновник. – Подождите капельку, новенькие заговорят.

– А молодые люди есть между ними?

– И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.

– Ах, как бы кстати!

– А что, не начинали еще? – осведомился его превосходительство.

– Даже и третьёводнишние еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажен на десять почти все у нас прошлогодние.

– Да, интересно.

– Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.

– Гм, где же он тут?

– Да шагах в пяти от вас, ваше превосходительство, влево. Почти в самых ваших ногах-с… Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться.

– Гм, нет уж… мне что же первому.

– Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен, поручите мне, ваше превосходительство, и я…

– Ах, ах… ах, что же это со мной? – закряхтел вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

– Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

– Ах, кажется, молодой человек! – взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

– Я… я… я от осложнения, и так внезапно! – залепетал опять юноша. – Мне Щульц еще накануне: у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

– Ну, нечего делать, молодой человек, – милостиво и очевидно радуясь новичку заметил генерал, – надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к вашим услугам.

– Ах, нет! нет, это я никак! Я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп… и вот совсем неожиданно… главное, совсем неожиданно.

– Вы говорите, сначала грудь, – мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.

– Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу… и знаете…

– Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.

– А я, знаете, всё собирался к Боткину… и вдруг…

– Ну, Боткин кусается, – заметил генерал.

– Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и всё предскажет вперед.

– Его превосходительство заметил насчет цены, – поправил чиновник.

– Ах, что вы, всего три целковых, и он так осматривает, и рецепт… и я непременно хотел, потому что мне говорили… Что же, господа, как мне, к Эку или к Боткину?

– Что? Куда? – приятно хохоча, заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой.

– Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! – восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. – Вот если б этакого подле положили!

Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать еще и не спешить заключениями. Этот сопляк новичок – я его давеча в гробу помню – выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.

Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве – дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать всей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного во-

одушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая… мерзко и плотоядно хихикавшая.

– Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! – возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.

– А? что? – брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче – соблазнительное и тревожное в высшей степени.

– Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

– Чего просите и что вам угодно?

– Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с… Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются…

– Не слыхал.

– Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич…

– Вы генерал Первоедов?

– Нет-с, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к вашим услугам, а генерал Первоедов…

– Вздор! И прошу оставить меня в покое.

– Оставьте, – с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.

– Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с…

– Оставьте, – повторил генерал.

– Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство! – вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос – голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальною его скандировкою, – я вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали.

– Как, граф, Петр Петрович… да неужели же вы… и в таких молодых годах… Как сожалею!

– Да я и сам сожалею, но только мне всё равно, и я хочу

отовсюду извлечь всё возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «милым полисоном». Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu[20]. Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой Юлька Charpentier de Iusignan увезла в Бордо. И представьте, я уже совсем был помолвлен – Шевелевская, трех месяцев до шестнадцати недоставало, еще в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня, лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом, развратили?..

– Ах, это ты, негодяй, ну хоть тебя Бог послал, а то здесь…

– Вы напрасно вашего соседа негоцианта заподозрили в дурном запахе… Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.

– Ах, какой мерзкий! Только я все-таки рада; вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

– Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство, – я не вас, Первоедов, – ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который вас к Фюри постом возил, слышите?

---

[20] В высших сферах (*фр.*).

– Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверьте…

– Ни на грош не верю, и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава Богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-pére[21] сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казенного недочету оставил. Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и – и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты – да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тутто я на него, на святой и налег по-приятельски: «Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют»; так, представьте, у него только тридцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Grand-pére, grand-pére слышите?

– Chèr Клиневич, я совершенно с вами согласен, и напрасно вы… пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия… я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда всё…

---

[21] Дедушка (*фр.*).

– Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катишь Берестову!

– Какую?.. Какую Катишь? – плотоядно задрожал голос старца.

– А-а, какую Катишь? А вот здесь налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, grand-pere, что это за мерзавочка… хорошего дома, воспитанна и – монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я и знал… Катишь, откликнись!

– Хи-хи-хи! – откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки. – Хи-хи-хи!

– И блон-ди-ночка? – обрывисто в три звука пролепетал grand-pere.

– Хи-хи-хи!

– Мне… мне давно уже, – залепетал, задыхаясь, старец, – нравилась мечта о блондиночке… лет пятнадцати… и именно при такой обстановке…

– Ах, чудовище! – воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– Довольно! – порешил Клиневич, – я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что вас так звали!

– Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к

вашим услугам и очень-очень-очень рад.

– Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь всё знаете. Скажите, во-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?

– Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.

– Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.

– Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу.

– К делу, к делу!..

– Он объясняет всё самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это – не умею вам выразить – продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три… иногда даже полгода… Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», – но и в нем, зна-

чит, жизнь всё еще теплится незаметной искрой…

– Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

– Это… хе-хе… Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная – хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться… и что это, так сказать, последнее милосердие… Только мне кажется, барон, всё это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении…

– Довольно, и далее, я уверен, всё вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – послышались многие голоса, и, странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

– Ах, как я хочу ничего не стыдиться! – с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться…

– Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там сты-

дилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться.

– Я понимаю, Клиневич, – пробасил инженер, – что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.

– Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вам все объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас все само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там наверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса.

– Я ужасно, ужасно хочу обнажиться, – взвизгивала Авдотья Игнатьевна.

– Ах… ах… Ах, я вижу, что здесь будет весело; я не хочу к Эку!

– Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!

– Хи-хи-хи, – хихикала Катишь.

– Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня всё-таки не достанет. Grand-pere, вы согласны?

– Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнет первая свою би-о-графию.

– Протестую! протестую изо всех сил, – с твердостью произнес генерал Первоедов.

– Ваше превосходительство! – в торопливом волнении и понизив голос лепетал и убеждал негодяй Лебезятников, – ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка… и, наконец, все эти разные штучки…

– Положим, девочка, но…

– Выгоднее, ваше превосходительство, ей-богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем…

– Даже и в могиле не дадут успокоиться!

– Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас на-пле-вать, – проскандировал Клиневич.

– Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.

– Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это он там был генерал, а здесь пшик!

– Нет, не пшик… я и здесь…

– Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть медных пуговиц.

– Браво, Клиневич, ха-ха-ха! – заревели голоса.

– Я служил государю моему… я имею шпагу…

– Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали.

– Все равно-с; я составлял часть целого.

– Мало ли какие есть части целого.

– Браво, Клиневич, браво, ха-ха-ха!

– Я не понимаю, что такое шпага, – провозгласил инженер.

– Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! – прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга.

– Шпага, сударь, есть честь! – крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.

– Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!

– Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит! – раздался было голос простолюдина, и…

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: всё смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились: решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут пять и – ни слова, ни

звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию; ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что всё-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

«Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу» – и с сим словом оставил кладбище.

Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, Бобок-то, и оказался).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и… А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить…

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное.

А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непременно пойду; дело совести!

Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.

Два самоубийства

Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом. Я именно заметил ему перед этим, что я, чуть не сорок лет знающий «Горе от ума», только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина, и понял именно, когда он же, то есть этот самый писатель, с которым я говорил, разъяснил мне Молчалина, вдруг выведя его в одном из своих сатирических очерков. (Об Молчалине я еще когда-нибудь поговорю, тема знатная.)

– А знаете ли вы, – вдруг сказал мне мой собеседник, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей, – знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении, – никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили – всё выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, – ничуть! Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы и еще и не предлагали и превышающий всё, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!..

Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может

быть и раньше, – и факт этот не раз поражал меня и ставил меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, – и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: *на чей глаз и кто в силах*? Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) – не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, – он прибегает к другого рода упрощению и *просто-запросто* сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противуположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по-наглядке, а концы и начала – это всё еще пока для человека фантастическое.

Кстати, один из уважаемых моих корреспондентов сообщил мне еще летом об одном странном и неразгаданном са-

моубийстве, и я всё хотел говорить о нем. В этом самоубийстве всё, и снаружи и внутри, – загадка. Эту загадку я, по свойству человеческой природы, конечно, постарался как-нибудь разгадать, чтоб на чем-нибудь «остановиться и успокоиться». Самоубийца – молодая девушка лет двадцати трех или четырех не больше, дочь одного слишком известного русского эмигранта и родившаяся за границей, русская по крови, но почти уже совсем не русская по воспитанию. В газетах, кажется, смутно упоминалось о ней в свое время, но очень любопытны подробности: «Она намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать… Так и умерла. Перед смертью написала следующую записку:

«Je m'en vais entreprendre un long voyage. Si cela ne réussit pas qu'on se rassemble pour fêter ma résurrection avec du Cliquot. Si *cela réussit*, je prie qu'on ne me laisse enterrer que tout à fait morte, puisqu'il est très désagréable de se réveiller dans un cercueil sous terre. *Ce n'est pas chic!*»

То есть по-русски:

«Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами Клико. *А если удастся*, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в

гробу под землею. *Очень даже не шикарно выйдет!*»

В этом гадком, грубом шике, по-моему, слышится вызов, может быть негодование, злоба, – но на что же? Просто грубые натуры истребляют себя самоубийством лишь от материальной, видимой, внешней причины, а по тону записки видно, что у нее не могло быть такой причины. На что же могло быть негодование?.. на простоту представляющегося, на бессодержательность жизни? Это те, слишком известные, судьи и отрицатели жизни, негодующие на «глупость» появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которою нельзя помириться? Тут слышится душа именно возмутившаяся против «прямолинейности» явлений, не вынесшая этой прямолинейности, сообщившейся ей в доме отца еще с детства. И безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчетливого сомнения. Сознательного сомнения, так называемых вопросов, вероятнее всего, не было в душе ее; всему она, чему научена была с детства, верила прямо, на слово, и это вернее всего. Значит, просто умерла от «холодного мрака и скуки», с страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить, вроде того, как бы воздуху недостало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего-нибудь более сложного…

С месяц тому назад, во всех петербургских газетах по-

явилось несколько коротеньких строчек мелким шрифтом об одном петербургском самоубийстве: выбросилась из окна, из четвертого этажа, одна бедная молодая девушка, швея, – «потому что никак не могла приискать себе для пропитания работы». Прибавлялось, что выбросилась она и упала на землю, *держа в руках образ*. Этот образ в руках – странная и неслыханная еще в самоубийстве черта! Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто – стало нельзя жить, «Бог не захотел» и – умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду ни *просты*, долго не перестается думать, както мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль. Вот эта-то смерть и напомнила мне о сообщенном мне еще летом самоубийстве дочери эмигранта. Но какие, однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет! И какие две разные смерти! А которая из этих душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос?

Кроткая

От автора

Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз, вместо «Дневника» в обычной его форме, даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Во всяком случае прошу снисхождения читателей.

Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно.

Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, «собрать свои мысли в точку». Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, *уясняет* себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противоречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения:

тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно *уясняет* себе дело и собирает «мысли в точку». Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к *правде*; правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого.

Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемежками, и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго, например, в своем шедевре: «Последний день приговоренного к смертной казни», употребил почти такой же прием, и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и

буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения, – самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных.

Глава первая

I
Кто был я и кто была она

…Вот пока она здесь – еще все хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и – как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ломберных, а гроб будет завтра, белый, белый гроденапль, а впрочем, не про то… Я все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и все не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу… Это вот как было. Я просто расскажу по порядку (порядок!). Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я все понимаю!

Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она, просто-запросто, приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтобы оплатить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и проч., и проч. Это было в самом

начале, и я, конечно, не различал ее от других: приходит как все, ну и прочее. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средневысокого роста; со мной всегда мешковата, как будто конфузилась (я думаю, и со всеми чужими была такая же, а я, разумеется, ей был все равно что тот, что другой, то есть если брать как не закладчика, а как человека). Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И все молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтобы больше дали; эта нет, что дадут… Мне кажется, я все путаюсь… Да; меня прежде всего поразили ее вещи: серебряные позолоченные сережечки, дрянненький медальончик – вещи в двугривенный. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для нее драгоценность, – и действительно это все, что оставалось у ней от папаши и мамаши, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю, у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. «Строго, строго и строго». Но она вдруг позволила себе принести остатки (то есть буквально) старой заячьей куцавейки, – и я не удержался и вдруг сказал ей что-то, вроде как бы остроты. Батюшки, как вспыхнула! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но – как загорелись! Но ни слова не выронила, взяла свои «остатки» и – вышла. Тут-то я и заметил ее в первый раз *особенно* и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да: помню и еще впечатление, то есть, если

хотите, самое главное впечатление, синтез всего: именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трех месяцев шестнадцать. А впрочем, я не то хотел сказать, вовсе не в том был синтез. Назавтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добронравова и у Мозера с этой куцавейкой была, но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей (так, дрянненький) – и, осмыслив, потом удивился: я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль об ней тогда была, это я помню.

В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук – вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки ничего не стоящая, потому что мы – только золото. Так как она приходила уже после вчерашнего *бунта*, то я встретил ее строго. Строгость у меня – это сухость. Однакоже, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением: «Я ведь это только *для вас*, а такую вещь у вас Мозер не примет». Слово: *для вас* я особенно подчеркнул, и именно в *некотором смысле*. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это *для вас*, но смолчала, не бросила денег, приняла, – то-то бедность! А как вспыхнула! Я понял, что уколол. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя: так неужели же это торжество над ней стоит двух рублей? Хе, хе, хе! Помню, что задал именно этот вопрос два раза: «Стоит ли? стоит ли?» И смеясь разрешил его про се-

бя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я с умыслом, с намерением; я ее испытать хотел, потому что у меня вдруг забродили некоторые на ее счет мысли. Это была третья *особенная* моя мысль об ней.

…Ну вот с тех пор все и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайною вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. Гм. Тут-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют: отвечают скупо, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про «Голос» и про все я узнал. Она тогда из последних сил публиковалась, сначала, разумеется, заносчиво: «дескать, гувернантка, согласна в отъезд, и условия присылать в пакетах», а потом: «согласна на все, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за больной ходить, и шить умею», и т. д., и т. д., все известное! Разумеется, все это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и «без жалованья, из хлеба». Нет, не нашла места! Я решился ее тогда в последний раз испытать: вдруг беру сегодняшний «Голос» и пока-

зываю ей объявление: «Молодая особа, круглая сирота, ищет места гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве».

– Вот, видите, эта сегодня утром публиковалась, а к вечеру наверно место нашла. Вот как надо публиковаться!

Опять вспыхнула, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станет. А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть, на третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная, – я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ (решилась принести)… Ах, слушайте! слушайте! Вот теперь уже началось, а то я все путался… Дело в том, что я теперь все это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу в точку мысли собрать и – не могу, а вот эти черточки, черточки…

Образ Богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая – стоит – ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей, лучше бы ризу снять, а образ унесите; а то образ все-таки как-то того.

– А разве вам запрещено?

– Нет, не то что запрещено, а так, может быть, вам са-

мим…

– Ну, снимите.

– Знаете что, я не буду снимать, а поставлю вон туда в киот, – сказал я, подумав, – с другими образами, под лампадкой (у меня всегда, как открыл кассу, лампадка горела), и просто-запросто возьмите десять рублей.

– Мне не надо десяти, дайте мне пять, я непременно выкуплю.

– А десять не хотите? Образ стоит, – прибавил я, заметив, что опять глазки сверкнули. Она смолчала. Я вынес ей пять рублей.

– Не презирайте никого, я сам был в этих тисках, да еще похуже-с, и если теперь вы видите меня за таким занятием… то ведь это после всего, что я вынес…

– Вы мстите обществу? Да? – перебила она меня вдруг с довольно едкой насмешкой, в которой было, впрочем, много невинного (то есть общего, потому что меня она решительно тогда от других не отличала, так что почти безобидно сказала). «Ага! – подумал я, – вот ты какая, характер объявляется, нового направления».

– Видите, – заметил я тотчас же полушутливо-полутаинственно. – «Я – я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро…»

Она быстро и с большим любопытством, в котором, впрочем, было много детского, посмотрела на меня:

– Постойте… Что это за мысль? Откуда это? Я где-то слы-

шала…

– Не ломайте головы, в этих выражениях Мефистофель рекомендуется Фаусту. «Фауста» читали?

– Не… невнимательно.

– То есть не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочем, я вижу опять на ваших губах насмешливую складку. Пожалуйста, не предположите во мне так мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотел отрекомендоваться вам Мефистофелем. Закладчик закладчиком и останется. Знаем-с.

– Вы какой-то странный… Я вовсе не хотела вам сказать что-нибудь такое…

Ей хотелось сказать: я не ожидала, что вы человек образованный, но она не сказала, зато я знал, что она это подумала; ужасно я угодил ей.

– Видите, – заметил я, – на всяком поприще можно делать хорошее. Я конечно не про себя, я, кроме дурного, положим, ничего не делаю, но…

– Конечно, можно делать и на всяком месте хорошее, – сказала она, быстрым и проникнутым взглядом смотря на меня. – Именно на всяком месте, – вдруг прибавила она. О, я помню, я все эти мгновения помню! И еще хочу прибавить, что когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочет сказать что-нибудь такое умное и проникнутое, то вдруг слишком искренно и наивно покажет лицом, что «вот, дескать, я говорю тебе теперь умное и проникнутое», – и не то чтоб из тще-

славия, как наш брат, а так и видишь, что она сама ужасно ценит все это, и верует, и уважает, и думает, что и вы всё это точно так же, как она, уважаете. О, искренность! Вот тем-то и побеждают. А в ней как было прелестно!

Помню, ничего не забыл! Когда она вышла, я разом порешил. В тот же день я пошел на последние поиски и узнал об ней всю остальную, уже текущую подноготную; прежнюю подноготную я знал уже всю от Лукерьи, которая тогда служила у них и которую я уже несколько дней тому подкупил. Эта подноготная была так ужасна, что я и не понимаю, как еще можно было смеяться, как она давеча, и любопытствовать о словах Мефистофеля, сама будучи под таким ужасом. Но – молодежь! Именно это подумал тогда об ней с гордостью и с радостью, потому что тут ведь и великодушие: дескать, хоть и на краю гибели, а великие слова Гете сияют. Молодость всегда хоть капельку и хоть в кривую сторону, да великодушна. То есть я ведь про нее, про нее одну. И главное, я тогда смотрел уж на нее как на *мою* и не сомневался в моем могуществе. Знаете, пресладострастная это мысль, когда уж не сомневаешься-то.

Но что со мной. Если я так буду, то когда я соберу все в точку? Скорей, скорей – дело совсем не в том, о боже!

II
Брачное предложение

«Подноготную», которую я узнал об ней, объясню в одном слове: отец и мать померли, давно уже, три года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток. То есть их мало назвать беспорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, шесть человек детей, мал мала меньше, другая в девках, старая, скверная. Обе скверные. Отец ее был чиновник, но из писарей, и всего лишь личный дворянин – одним словом: все мне на руку. Я являлся как бы из высшего мира: все же отставной штабс-капитан блестящего полка, родовой дворянин, независим и проч., а что касса ссуд, то тетки на это только с уважением могли смотреть. У теток три года была в рабстве, но все-таки где-то экзамен выдержала, – успела выдержать, урвалась выдержать, из-под поденной безжалостной работы, – а это значило же что-нибудь в стремлении к высшему и благородному с ее стороны! Я ведь для чего хотел жениться? А впрочем, обо мне наплевать, это потом… И в этом ли дело! Детей теткиных учила, белье шила, а под конец не только белье, а, с ее грудью, и полы мыла. Попросту они даже ее били, попрекали куском. Кончили тем, что намеревались продать. Тьфу! опускаю грязь подробностей. Потом она мне все подробно передала. Все это наблюдал целый год соседний толстый лавочник, но не простой лавоч-

ник, а с двумя бакалейными. Он уж двух жен усахарил и искал третью, вот и наглядел ее: «тихая, дескать, росла в бедности, а я для сирот женюсь». Действительно, у него были сироты. Присватался, стал сговариваться с тетками, к тому же – пятьдесят лет ему; она в ужасе. Вот тут-то и зачастила ко мне для публикаций в «Голосе». Наконец, стала просить теток, чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заели: «Сами не знаем, что жрать и без лишнего рта». Я уж это все знал, а в тот день после утрешнего и порешил. Тогда вечером приехал купец, привез из лавки фунт конфет в полтинник; она с ним сидит, а я вызвал из кухни Лукерью и велел сходить к ней шепнуть, что я у ворот и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Я собою остался доволен. И вообще я весь тот день был ужасно доволен.

Тут же у ворот, ей, изумленной уже тем, что я ее вызвал, при Лукерье, я объяснил, что сочту за счастье и за честь… Во-вторых: чтоб не удивлялась моей манере и что у ворот: «человек, дескать, прямой и изучил обстоятельства дела». И я не врал, что прямой. Ну, наплевать. Говорил же я не только прилично, то есть выказав человека с воспитанием, но и оригинально, а это главное. Что ж, разве в этом грешно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я должен говорить pro и contra[22] и говорю. Я и после вспомнил про то с наслаждением, хоть это и глупо: я прямо объявил тогда, без всякого

[22] За и против (*лат.*).

смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, может быть даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист (я помню это выражение, я его, дорогой идя, тогда сочинил и остался доволен) и что очень, очень может быть заключаю в себе много неприятного и в других отношениях. Все это сказано было с особенного рода гордостью – известно, как это говорится. Конечно, я имел настолько вкуса, что, объявив благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствах: «но, дескать, взамен того имею то-то, то-то и это-то». Я видел, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчил ничего, мало того, видя, что боится, нарочно усилил: прямо сказал, что сыта будет, ну а нарядов, театров, балов – этого ничего не будет, разве впоследствии, когда цели достигну. Этот строгий тон решительно увлекал меня. Я прибавил, и тоже как можно вскользь, что если я и взял такое занятие, то есть держу эту кассу, то имею одну лишь цель, есть, дескать, такое одно обстоятельство… Но ведь я имел право так говорить: я действительно имел такую цель и такое обстоятельство. Постойте, господа, я всю жизнь ненавидел эту кассу ссуд первый, но ведь в сущности, хоть и смешно говорить самому себе таинственными фразами, а я ведь «мстил же обществу», действительно, действительно, действительно! Так что острота ее утром насчет того, что я «мщу», была несправедлива. То есть, видите ли, скажи я ей прямо словами: «Да, я мщу обществу», и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом деле смешно.

Ну, а косвенным намеком, пустив таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображение. К тому же я тогда уже ничего не боялся: я ведь знал, что толстый лавочник во всяком случае ей гаже меня и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем. Понимал же ведь я это. О, подлости человек особенно хорошо понимает! Но подлости ли? Как ведь тут судить человека? Разве не любил я ее даже тогда уже?

Постойте: разумеется, я ей о благодеянии тогда ни полслова; напротив, о напротив: «это я, дескать, остаюсь облагодетельствован, а не *вы*». Так что я это даже словами выразил, не удержался, и вышло, может быть, глупо, потому что заметил беглую складку в лице. Но в целом решительно выиграл. Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припомню и последнее свинство: я стоял, а в голове шевелилось: ты высок, строен, воспитан и – и, наконец, говоря без фанфаронства, ты недурен собой. Вот что играло в моем уме. Разумеется, она, тут же у ворот, сказала мне *да*. Но… но я должен прибавить: она тут же у ворот долго думала, прежде чем сказала *да*. Так задумалась, так задумалась, что я уже спросил было: «Ну что ж?» – и даже не удержался, с этаким шиком спросил: «Ну что же-с?» – с слово-ерсом.

– Подождите, я думаю.

И такое у ней было серьезное личико, такое – что уж тогда бы я мог прочесть! А я-то обижался: «Неужели, думаю, она между мной и купцом выбирает?» О, тогда я еще не понимал! Я ничего, ничего еще тогда не понимал! До сегодня

не понимал! Помню, Лукерья выбежала за мною вслед, когда я уже уходил, остановила на дороге и сказала впопыхах: «Бог вам заплатит, сударь, что нашу барышню милую берете, только вы ей это не говорите, она гордая».

Ну, гордая! Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда… ну, когда уж не сомневаешься в своем над ними могуществе, а? О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен! Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла задумавшись, чтоб сказать мне да, а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая мысль: «Если уж несчастье и там и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти!» А? Как вы думаете, могла быть такая мысль?

Да и теперь не понимаю, и теперь ничего не понимаю! Я сейчас только что сказал, что она могла иметь эту мысль: что из двух несчастий выбрать худшее, то есть купца? А кто был для нее тогда хуже – я аль купец? Купец или закладчик, цитующий Гете? Это еще вопрос! Какой вопрос? И этого не понимаешь: ответ на столе лежит, а ты говоришь вопрос! Да и наплевать на меня! Не во мне совсем дело… А кстати, что для меня теперь – во мне или не во мне дело? Вот этого так уж совсем решить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болит…

III
Благороднейший из людей, но сам же и не верю

Не заснул. Да и где ж, стучит какой-то пульс в голове. Хочется все это усвоить, всю эту грязь. О, грязь! О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это понимать, оценить мой поступок! Нравились мне тоже разные мысли, например, что мне сорок один, а ей только что шестнадцать. Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сладостно это, очень сладостно.

Я, например, хотел сделать свадьбу a l'anglaise[23], то есть решительно вдвоем, при двух разве свидетелях, из коих одна Лукерья, и потом тотчас в вагон, например хоть в Москву (там у меня кстати же случилось дело), в гостиницу, недели на две. Она воспротивилась, она не позволила, и я принужден был ездить к теткам с почтением, как к родственницам, от которых беру ее. Я уступил, и теткам оказано было надлежащее. Я даже подарил этим тварям по сту рублей и еще обещал, ей, разумеется, про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки. Тетки тотчас же стали шелковые. Был спор и о приданом: у ней ничего не было, почти буквально, но она ничего и не хотела. Мне, однакоже, удалось доказать ей, что совсем ничего – нельзя, и приданое сделал

[23] По-английски (*фр.*).

я, потому что кто же бы ей что сделал? Ну, да наплевать обо мне. Разные мои идеи, однакоже, я ей все-таки успел тогда передать, чтобы знала по крайней мере. Поспешил даже, может быть. Главное, она с самого начала, как ни крепилась, а бросилась ко мне с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала своим лепетом (очаровательным лепетом невинности!) все свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и мать. Но я все это упоение тут же обдал сразу холодной водой. Вот в том-то и была моя идея. На восторги я отвечал молчанием, благосклонным, конечно… но все же она быстро увидала, что мы разница и что я – загадка. А я, главное, и бил на загадку! Ведь для того, чтобы загадать загадку, я, может быть, и всю эту глупость сделал! Во-первых, строгость – так под строгостью и в дом ее ввел. Одним словом, тогда, хотя и будучи доволен, я создал целую систему. О, без всякой натуги сама собой вылилась. Да и нельзя было иначе, я должен был создать эту систему по неотразимому обстоятельству, – что ж я, в самом деле, клевещу-то на себя! Система была истинная. Нет, послушайте, если уж судить человека, то судить, зная дело… Слушайте!

Как бы это начать, потому что это очень трудно. Когда начнешь оправдываться, – вот и трудно. Видите ли: молодежь презирает, например, деньги, – я тотчас же налег на деньги; я напер на деньги. И так налег, что она все больше и больше начала умолкать. Раскрывала большие глаза, слуша-

ла, смотрела и умолкала. Видите ли: молодежь великодушна, то есть хорошая молодежь, великодушна и порывиста, но мало терпимости, чуть что не так – и презрение. А я хотел широкости, я хотел привить широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду, не так ли? Возьму пошлый пример: как бы я, например, объяснил мою кассу ссуд такому характеру? Разумеется, я не прямо заговорил, иначе вышло бы, что я прошу прощения за кассу ссуд, а я, так сказать, действовал гордостью, говорил почти молча. А я мастер молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча. О, ведь и я же был несчастлив! Я был выброшен всеми, выброшен и забыт, и никто-то, никто этого не знает! И вдруг эта шестнадцатилетняя нахватала обо мне потом подробностей от подлых людей и думала, что все знает, а сокровенное между тем оставалось лишь в груди этого человека! Я все молчал, и особенно, особенно с ней молчал, до самого вчерашнего дня, – почему молчал? А как гордый человек. Я хотел, чтоб она узнала сама, без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы *сама догадалась* об этом человеке и постигла его! Принимая ее в дом свой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтоб она стояла предо мной в мольбе за мои страдания – и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего или ничего! Вот именно потому, что я не половинщик в счастье, а всего захотел, именно потому я и вынужден был так поступить тогда: «дескать, сама догадайся и оцени!» Потому что, согласитесь, ведь если б

я сам начал ей объяснять и подсказывать, вилять и уважения просить, – так ведь я все равно что просил бы милостыни… А впрочем… а впрочем, что ж я об этом говорю!

Глупо, глупо, глупо и глупо! Я прямо и безжалостно (и я напираю на то, что безжалостно) объяснил ей тогда, в двух словах, что великодушие молодежи прелестно, но – гроша не стоит. Почему не стоит? Потому что дешево ей достается, получилось не живши, все это, так сказать, «первые впечатления бытия», а вот посмотрим-ка вас на труде! Дешевое великодушие всегда легко, и даже отдать жизнь – и это дешево, потому что тут только кровь кипит и сил избыток, красоты страстно хочется! Нет, возьмите-ка подвиг великодушия трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, – где вы, сияющий человек, пред всеми выставлены подлецом, тогда как вы честнее всех людей на земле, – ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг, нет-с, откажетесь! А я, – я только всю жизнь и делал, что носил этот подвиг. Сначала спорила, ух как, а потом начала примолкать, совсем даже, только глаза ужасно открывала, слушая, большие, большие такие глаза, внимательные. И… и кроме того, я вдруг увидал улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом. Правда и то, что ей уж некуда было идти…

IV
Все планы и планы

Кто у нас тогда первый начал?

Никто. Само началось с первого шага. Я сказал, что я ввел ее в дом под строгостью, однако с первого же шага смягчил. Еще невесте, ей было объяснено, что она займется приемом закладов и выдачей денег, и она ведь тогда ничего не сказала (это заметьте). Мало того – принялась за дело даже с усердием. Ну, конечно, квартира, мебель – все осталось по-прежнему. Квартира – две комнаты: одна – большая зала, где отгорожена и касса, а другая – тоже большая, наша комната, общая, тут и спальня. Мебель у меня скудная; даже у теток была лучше. Киот мой с лампадкой – это в зале, где касса; у меня же в комнате мой шкаф и в нем несколько книг, и укладка, ключи у меня; ну, там постель, столы, стулья. Еще невесте сказал, что на наше содержание, то есть на пищу, мне, ей и Лукерье, которую я переманил, определяется в день рубль и не больше: «Мне, дескать, нужно тридцать тысяч в три года, а иначе денег не наживешь». Она не препятствовала, но я сам возвысил содержание на тридцать копеек. Тоже и театр. Я сказал невесте, что не будет театра, и, однакож, положил раз в месяц театру быть, и прилично, в креслах. Ходили вместе, были три раза, смотрели «Погоню за счастьем» и «Птицы певчие», кажется. (О, наплевать, наплевать!) Молча

ходили и молча возвращались. Почему, почему мы с самого начала принялись молчать? Сначала ведь ссор не было, а тоже молчание. Она все как-то, помню, тогда исподтишка на меня глядела; я, как заметил это, и усилил молчание. Правда, это я на молчание напер, а не она. С ее стороны раз или два были порывы, бросалась обнимать меня; но так как порывы были болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья, с уважением от нее, то я принял холодно. Да и прав был: каждый раз после порывов на другой день была ссора.

То есть ссор не было опять-таки, но было молчание и – и все больше и больше дерзкий вид с ее стороны. «Бунт и независимость» – вот что было, только она не умела. Да, это кроткое лицо становилось все дерзче и дерзче. Верите ли, я ей становился поган, я ведь изучил это. А в том, что она выходила порывами из себя, в этом не было сомнения. Ну как, например, выйдя из такой грязи и нищеты, после мытья-то полов, начать вдруг фыркать на нашу бедность! Видите-с: была не бедность, а была экономия, а в чем надо – так и роскошь, в белье, например, в чистоте. Я всегда и прежде мечтал, что чистота в муже прельщает жену. Впрочем, она не на бедность, а на мое будто бы скаредство в экономии: «цели, дескать, имеет, твердый характер показывает». От театра вдруг сама отказалась. И все пуще и пуще насмешливая складка… а я усиливаю молчание, а я усиливаю молчание.

Не оправдываться же? Тут главное – эта касса ссуд. Позвольте-с: я знал, что женщина, да еще шестнадцати лет, не

может не подчиниться мужчине вполне. В женщинах нет оригинальности, это – это аксиома, даже и теперь для меня аксиома! Что ж такое, что там в зале лежит: истина есть истина, и тут сам Милль ничего не поделает! А женщина любящая, о, женщина любящая – даже пороки, даже злодейства любимого существа обоготворит. Он сам не подыщет своим злодействам таких оправданий, какие она ему найдет. Это великодушно, но не оригинально. Женщину погубила одна лишь неоригинальность. И что ж, повторяю, что вы мне указываете там на столе? Да разве это оригинально, что там на столе? О-о!

Слушайте: в любви ее я был тогда уверен. Ведь бросалась же она ко мне и тогда на шею. Любила, значит, вернее – желала любить. Да, вот так это и было: желала любить, искала любить. А главное ведь в том, что тут и злодейств никаких таких не было, которым бы ей пришлось подыскивать оправдания. Вы говорите: закладчик, и все говорят. А что ж что закладчик? Значит, есть же причины, коли великодушнейший из людей стал закладчиком. Видите, господа, есть идеи… то есть, видите, если иную идею произнести, выговорить словами, то выйдет ужасно глупо. Выйдет стыдно самому. А почему? Нипочему. Потому, что мы все дрянь и правды не выносим, или уж я не знаю. Я сказал сейчас «великодушнейший из людей». Это смешно, а между тем ведь это так и было. Ведь это правда, то есть самая, самая правденская правда! Да, я *имел право* захотеть себя тогда обеспечить

и открыть эту кассу: «Вы отвергли меня, вы, люди то есть, вы прогнали меня с презрительным молчанием. На мой страстный порыв к вам вы ответили мне обидой на всю мою жизнь. Теперь я, стало быть, вправе был оградиться от вас стеной, собрать эти тридцать тысяч рублей и окончить жизнь где-нибудь в Крыму, на Южном берегу, в горах и виноградниках, в своем имении, купленном на эти тридцать тысяч, а главное, вдали от всех вас, но без злобы на вас, с идеалом в душе, с любимой у сердца женщиной, с семьей, если Бог пошлет, и – помогая окрестным поселянам». Разумеется, хорошо, что я это сам теперь про себя говорю, а то что могло быть глупее, если б я тогда ей это вслух расписал. Вот почему и гордое молчание, вот почему и сидели молча. Потому, что ж бы она поняла? Шестнадцать-то лет, первая-то молодость, – да что могла она понять из моих оправданий, из моих страданий? Тут прямолинейность, незнание жизни, юные дешевые убеждения, слепота куриная «прекрасных сердец», а главное тут – касса ссуд и – баста (а разве я был злодей в кассе ссуд, разве не видела она, как я поступал и брал ли я лишнее?)! О, как ужасна правда на земле! Эта прелесть, эта кроткая, это небо – она была тиран, нестерпимый тиран души моей и мучитель! Ведь я наклевещу на себя, если этого не скажу! Вы думаете, я ее не любил? Кто может сказать, что я ее не любил? Видите ли: тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! (Моя, в частности!) Я ведь понимаю же теперь, что я в

чем-то тут ошибся! Тут что-то вышло не так. Все было ясно, план мой был ясен, как небо: «Суров, горд и в нравственных утешениях ни в чьих не нуждается, страдает молча». Так оно и было, не лгал, не лгал! «Увидит потом сама, что тут было великодушие, но только она не сумела заметить, – и как догадается об этом когда-нибудь, то оценит вдесятеро и падет в прах, сложа в мольбе руки». Вот план. Но тут я что-то забыл или упустил из виду. Не сумел я что-то тут сделать. Но довольно, довольно. И у кого теперь прощения просить? Кончено, так кончено. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..

Что ж, я скажу правду, я не побоюсь стать пред правдой лицом к лицу: она виновата, она виновата!..

V
Кроткая бунтует

Ссоры начались с того, что она вдруг вздумала выдавать деньги по-своему, ценить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тему в спор. Я не согласился. Но тут подвернулась эта капитанша.

Пришла старуха капитанша с медальоном – покойного мужа подарок, ну, известно, сувенир. Я выдал тридцать рублей. Принялась жалобно ныть, просить, чтоб сохранили вещь, – разумеется, сохраним. Ну, одним словом, вдруг через пять дней приходит обменять на браслет, который не стоил и

восьми рублей; я, разумеется, отказал. Должно быть, она тогда же угадала что-нибудь по глазам жены, но только она пришла без меня, и та обменяла ей медальон.

Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твердо и резонно. Она сидела на постели, смотрела в землю, щелкая правым носком по коврику (ее жест); дурная улыбка стояла на ее губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь *моими* глазами, и – что когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее.

Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась и – что бы вы думали – вдруг затопала на меня ногами; это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления; такой выходки я никогда не ожидал. Но не потерялся, я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры.

Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда, таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась; я ни слова.

Назавтра тоже с утра ушла, напослезавтра опять. Я запер кассу и направился к теткам. С ними я с самой свадьбы прервал – ни их к себе, ни сам к ним. Теперь оказалось, что она у них не была. Выслушали меня с любопытством и мне же насмеялись в глаза: «Так вам, говорят, и надо». Но я и ждал их смеха. Тут же младшую тетку, девицу, за сто руб-

лей подкупил и двадцать пять дал вперед. Через два дня она приходит ко мне: «Тут, говорит, офицер, Ефимович, поручик, бывший ваш прежний товарищ в полку, замешан». Я был очень изумлен. Этот Ефимович более всего зла мне нанес в полку, а с месяц назад, раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу под видом закладов и, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошел и сказал ему, чтоб он не осмеливался ко мне приходить, вспомня наши отношения; но и мысли об чем-нибудь таком у меня в голове не было, а так просто подумал, что нахал. Теперь же вдруг тетка сообщает, что с ним у ней уже назначено свидание и что всем делом орудует одна прежняя знакомая теток, Юлия Самсоновна, вдова, да еще полковница, – «к ней-то, дескать, ваша супруга и ходит теперь».

Эту картину я сокращу. Всего мне стоило это дело рублей до трехсот, но в двое суток устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате, за притворенными дверями, и слышать первый rendes-vous[24] наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же, накануне, произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена.

Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо и ножкой бьет о коврик. Мне вдруг, смотря на нее, влетела тогда в голову идея, что весь этот последний месяц или, лучше, две последние перед сим недели она была совсем не в своем характере, можно даже сказать

[24] Свидание (фр.).

– в обратном характере: являлось существо буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятения. Напрашивающееся на смятение. Кротость, однакоже, мешала. Когда этакая забуйствует, то хотя бы и перескочила меру, а все видно, что она сама себя только ломит, сама себя подгоняет, и что с целомудрием и стыдом своим ей самой первой справиться невозможно. Оттого-то этакие и выскакивают порой слишком уж не в мерку, так что не веришь собственному наблюдающему уму. Привычная же к разврату душа, напротив, всегда смягчит, сделает гаже, но в виде порядка и приличия, который над вами же имеет претензию превосходствовать.

– А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили? – вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза ее засверкали.

– Правда; меня, по приговору офицеров, попросили из полка удалиться, хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку.

– Выгнали как труса?

– Да, они присудили как труса. Но я отказался от дуэли не как трус, а потому, что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды. Знаете, – не удержался я тут, – что восстать действием против такой тирании и принять все последствия – значило выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли.

Я не сдержался, я этой фразой как бы пустился в оправдание себя; а ей только этого и надо было, этого нового моего унижения. Она злобно рассмеялась.

– А правда, что вы три года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили и по гривеннику просили, и под биллиардами ночевали?

– Я и на Сенной в доме Вяземского ночевывал. Да, правда; в моей жизни было потом, после полка, много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума и было вызвано лишь отчаянием моего положения. Но это прошло…

– О, теперь вы лицо – финансист!

То есть это намек на кассу ссуд. Но я уже успел сдержать себя. Я видел, что она жаждет унизительных для меня объяснений и – не дал их. Кстати же позвонил закладчик, и я вышел к нему в залу. После, уже через час, когда она вдруг оделась, чтоб выйти, остановилась предо мной и сказала:

– Вы, однакож, мне об этом ничего не сказали до свадьбы?

Я не ответил, и она ушла.

Итак, назавтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя, а в кармане моем был револьвер. Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед нею ломался. И что ж: вышло то (я к чести моей говорю это), вышло точь-в-точь то, что я предчувствовал и предполагал, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это.

Не знаю, понятно ли выражаюсь.

Вот что вышло. Я слушал целый час и целый час присутствовал при поединке женщины, благороднейшей и возвышенной, с светской развратной, тупой тварью, с пресмыкающеюся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословесная знает все это? Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках; какая острота в быстрых ответах, какая правда в ее осуждении! И в то же время столько девического почти простодушия. Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Приехав с грубым приступом к делу и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней просто кокетство – «кокетство хоть и развратного, но остроумного существа, чтоб дороже себя выставить». Но нет, правда засияла, как солнце, и сомневаться было нельзя. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание, но как дошло до дела – то у ней тотчас открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесло беспорядка. И ее ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович или кто хотите из этих великосветских тварей? Напротив, он возбудил лишь смех. Вся

правда поднялась из ее души, и негодование вызвало из ее сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая, так что я даже стал бояться, чтоб не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю: к чести моей, эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто встретил одно знакомое. Я как будто шел затем, чтоб это встретить. Я шел, ничему не веря, никакому обвинению, хотя и взял револьвер в карман, – вот правда! И мог разве я вообразить ее другою? Из-за чего ж я любил, из-за чего ж я ценил ее, из-за чего ж женился на ней? О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда ненавидела, но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену вдруг, отворив двери. Ефимович вскочил, я взял ее за руку и пригласил со мной выйти. Ефимович нашелся и вдруг звонко и раскатисто расхохотался:

– О, против священных супружеских прав я не возражаю, уводите, уводите! И знаете, – крикнул он мне вслед, – хоть с вами и нельзя драться порядочному человеку, но, из уважения к вашей даме, я к вашим услугам… Если вы, впрочем, сами рискнете…

– Слышите! – остановил я ее на секунду на пороге.

Затем всю дорогу до дома ни слова. Я вел ее за руку, и она не сопротивлялась. Напротив, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна; губы хоть и сложились тотчас же в насмешку, но смотрела она уже с тор-

жественным и суровым вызовом и, кажется, серьезно убеждена была в первые минуты, что я убью ее из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она смотрела на меня и на револьвер. (Заметьте: револьвер этот был ей знаком. Заведен он был у меня и заряжен с самого открытия кассы. Открывая кассу, я порешил не держать ни огромных собак, ни сильного лакея, как, например, держит Мозер. У меня посетителям отворяет кухарка. Но занимающимся нашим ремеслом невозможно лишить себя, на всякий случай, самозащиты, и я завел заряженный револьвер. Она, в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером, расспрашивала, и я объяснил даже ей устройство и систему, кроме того, убедил раз выстрелить в цель. Заметьте все это.) Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я, полураздетый, лег на постель. Я был очень обессилен; было уже около одиннадцати часов. Она продолжала сидеть на том же месте, не шевелясь, еще около часа, затем потушила свечу и легла, тоже одетая, у стены, на диване. В первый раз не легла со мной, – это тоже заметьте…

VI
Страшное воспоминание

Теперь это страшное воспоминание…

Я проснулся утром, я думаю, в восьмом часу, и в комнате было уже почти совсем светло. Я проснулся разом с полным

сознанием и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. Она не видела, что я проснулся и гляжу. И вдруг я вижу, что она стала подвигаться ко мне с револьвером в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим.

Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышал все; хоть и настала мертвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение, – и я вдруг, неудержимо, открыл глаза против воли. Она смотрела на меня, прямо мне в глаза, и револьвер уже был у моего виска. Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения. Я с силой закрыл глаза опять, и в то же мгновение решил изо всей силы моей души, что более уже не шевельнусь и не открою глаз, что бы ни ожидало меня.

В самом деле, бывает, что и глубоко спящий человек вдруг открывает глаза, даже приподымает на секунду голову и оглядывает комнату, затем, через мгновение, без сознания кладет опять голову на подушку и засыпает, ничего не помня.

Когда я, встретившись с ее взглядом и ощутив револьвер у виска, вдруг закрыл опять глаза и не шевельнулся, как глубоко спящий, – она решительно могла предположить, что я в самом деле сплю и что ничего не видал, тем более что совсем невероятно, увидав то, что я увидел, закрыть в *такое* мгновение опять глаза.

Да, невероятно. Но она все-таки могла угадать и правду, –

это-то и блеснуло в уме моем вдруг, все в то же мгновение. О, какой вихрь мыслей, ощущений пронесся менее чем в мгновение в уме моем, и да здравствует электричество человеческой мысли! В таком случае (почувствовалось мне), если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил ее моею готовностью принять смерть, и у ней теперь может дрогнуть рука. Прежняя решимость может разбиться о новое чрезвычайное впечатление. Говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами книзу, в бездну. Я думаю, много самоубийств и убийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки. Тут тоже бездна, тут покатость в сорок пять градусов, о которую нельзя не скользнуть, и вас что-то вызывает непобедимо спустить курок. Но сознание, что я все видел, все знаю и жду от нее смерти молча, – могло удержать ее на покатости.

Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих, холодное прикосновение железа. Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед Богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть? А я спрошу: на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал всей силой моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба, страшный поединок на жизнь и смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она это знала, если только угадала правду,

что я не сплю.

Может быть, этого и не было, может быть, я этого и не мыслил тогда, но это все же должно было быть, хоть без мысли, потому что я только и делал, что об этом думал потом каждый час моей жизни.

Но вы зададите опять вопрос: зачем же ее не спас от злодейства? О, я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос – каждый раз, когда, с холодом в спине, припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии: я погибал, я сам погибал, так кого ж бы я мог спасти? И почем вы знаете, хотел ли бы еще я тогда кого спасти? Почем знать, что я тогда мог чувствовать?

Сознание, однакож, кипело; секунды шли, тишина была мертвая; она все стояла надо мной, – и вдруг я вздрогнул от надежды! Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате. Я встал с постели: я победил, – и она была навеки побеждена!

Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг – и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами, с робким вопросом в глазах. «Стало быть, все еще сомневается и спрашивает себя: знает он иль не знает, видел он иль не видел?» Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Воз-

вратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова. И без слов поняла, через эту кровать, что я «все видел и все знаю» и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер как всегда на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель: брак был расторгнут, «побеждена, но не прощена». Ночью с нею сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала шесть недель.

Глава вторая

I
Сон гордости

Лукерья сейчас объявила, что жить у меня не станет и, как похоронят барыню, – сойдет. Молился на коленях пять минут, а хотел молиться час, но все думаю, думаю, и все больные мысли, и больная голова, – чего ж тут молиться – один грех! Странно тоже, что мне спать не хочется: в большом, в слишком большом горе, после первых сильнейших взрывов, всегда спать хочется. Приговоренные к смертной казни чрезвычайно, говорят, крепко спят в последнюю ночь. Да так и надо, это по природе, а то силы бы не вынесли… Я лег на диван, но не заснул…

…Шесть недель болезни мы ходили тогда за ней день и

ночь – я, Лукерья и ученая сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел, и мне даже хотелось на нее тратить. Доктора я позвал Шредера и платил ему по десяти рублей за визит. Когда она пришла в сознание, я стал меньше являться на глаза. А впрочем, что ж я описываю. Когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для нее в это время… Да, это правда, мы совершенно молчали; то есть мы начали потом говорить, но – все обычное. Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны: «Она слишком потрясена и слишком побеждена, – думал я, – и, уж конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть». Таким образом мы и молчали, но я каждую минуту приготовлялся про себя к будущему. Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать: об чем именно она теперь про себя думает?

Еще скажу: о, конечно, никто не ведает, сколько я вынес, стеная над ней в ее болезни. Но я стенал про себя, и стоны давил в груди даже от Лукерьи. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтоб она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я решил *отложить наше будущее* как можно на долгое время, а оставить пока все в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать:

я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно. Вот так и прошла вся зима. О, я был доволен, как никогда не бывал, и это всю зиму.

Видите: в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до тех пор, то есть до самой катастрофы с женой, каждый день и каждый час давило меня, а именно – потеря репутации и тот выход из полка. В двух словах: была тираническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер, хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами, в то же время смешит почему-то толпу ваших товарищей. О, меня не любили никогда даже в школе. Меня всегда и везде не любили. Меня и Лукерья не может любить. Случай же в полку был хоть и следствием нелюбви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и несноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унизительно. Случай был следующий.

В антракте, в театре, я вышел в буфет. Гусар А – в, вдруг войдя, громко при всех бывших тут офицерах и публике, заговорил с двумя своими же гусарами об том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу «и, кажется, пьяный». Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был, и

скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кончилось, но назавтра анекдот проник в наш полк и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один, и когда гусар А – в дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел к А – ву и не остановил его замечанием. Но с какой же бы стати? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное, и мне чего ж ввязываться? Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка, а так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам и публике, что в полку нашем могут быть офицеры не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А – м. Я этого не захотел и так как был раздражен, то отказался с гордостью. Затем тотчас же подал в отставку, – вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял: после блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. Итак – стыд так стыд, позор так позор, падение так падение и чем хуже, тем лучше, – вот что я выбрал. Тут три года мрачных воспоминаний и даже дом Вяземского. Полтора года назад умерла в

Москве богатая старуха, моя крестная мать, и неожиданно, в числе прочих, оставила мне по завещанию три тысячи. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу ссуд, не прося у людей прощения: деньги, затем угол и – новая жизнь вдали от прежних воспоминаний, – вот план. Тем не менее мрачное прошлое и навеки испорченная репутация моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился. Случайно или нет – не знаю. Но, вводя ее в дом, я думал, что ввожу друга, мне же слишком был надобен друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой шестнадцатилетней и предубежденной? Например, как мог бы я, без случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с револьвером, уверить ее, что я не трус и что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но катастрофа подоспела кстати. Выдержав револьвер, я отмстил всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узнал, но узнала *она*, а это было все для меня, потому что она сама была все для меня, вся надежда моего будущего в мечтах моих! Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было, – и вот она все узнала; она узнала по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть подлецом, а разве лишь странным человеком, но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилась: странность не порок,

напротив, иногда завлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку: того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия и заключало слишком много картин и матерьяла для мечтаний моих. В том-то и скверность, что я мечтатель: с меня хватило матерьяла, а об ней я думал, что *подождет*.

Так прошла вся зима, в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой, когда она сидит, бывало, за своим столиком. Она занималась работой, бельем, а по вечерам иногда читала книги, которые брала из моего шкафа. Выбор книг в шкафе тоже должен был свидетельствовать в мою пользу. Не выходила она почти никуда. Перед сумерками, после обеда, я выводил ее каждый день гулять, и мы делали моцион; но не совершенно молча, как прежде. Я именно старался делать вид, что мы не молчим и говорим согласно, но, как я сказал уже, сами мы оба так делали, что не распространялись. Я делал нарочно, а ей, думал я, необходимо «дать время». Конечно странно, что мне ни разу, почти до конца зимы, не пришло в голову, что я вот исподтишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе! Я думал, что в ней это робость. К тому же она имела вид такой робкой кротости, такого бессилия после болезни. Нет, лучше выжди и – «и она вдруг сама подойдет к тебе…»

Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно, иногда я как будто нарочно разжигал себя самого и действи-

тельно доводил свой ум и дух до того, что как будто впадал на нее в обиду. И так продолжалось по нескольку времени. Но ненависть моя никогда не могла созреть и укрепиться в душе моей. Да и сам я чувствовал, что как будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвал я брак, купив кровать и ширмы, но никогда, никогда не мог я видеть в ней преступницу. И не потому, что судил о преступлении ее легкомысленно, а потому, что имел смысл совершенно простить ее, с самого первого дня, еще прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась…

Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада. И жене я не сказал про это, и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал; но женщина сама пришла благодарить, и чуть не на коленях. Таким образом огласилось; мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием.

Но подвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела предо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена! Как это слу-

чилось, что все это вдруг упало с глаз, и я вдруг прозрел и все понял! Случай ли это был, день ли пришел такой срочный, солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут, а тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая было жилка, затряслась и ожила и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно. Это случилось перед вечером, часов в пять после обеда.

II
Пелена вдруг упала

Два слова прежде того. Еще за месяц я заметил в ней странную задумчивость, не то что молчание, а уже задумчивость. Это тоже я заметил вдруг. Она тогда сидела за работой, наклонив голову к шитью, и не видала, что я гляжу на нее. И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели, – меня все это, в целом, вместе с задумчивостью, чрезвычайно и разом фраппировало. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно. Я тотчас встал и отправился просить ко мне Шредера, ей ничего не сказавши.

Шредер прибыл на другой день. Она была очень удивлена и смотрела то на Шредера, то на меня.

– Да я здорова, – сказала она, неопределенно усмехнув-

шись.

Шредер ее не очень осматривал (эти медики бывают иногда свысока небрежны), а только сказал мне в другой комнате, что это осталось после болезни и что с весной не дурно куда-нибудь съездить к морю, или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Одним словом, ничего не сказал, кроме того, что есть слабость или там что-то. Когда Шредер вышел, она вдруг сказала мне опять, ужасно серьезно смотря на меня:

– Я совсем, совсем здорова.

Но сказавши, тут же вдруг покраснела, видимо от стыда. Видимо, это был стыд. О, теперь я понимаю: ей было стыдно, что я *еще муж ее*, забочусь об ней, все еще будто бы настоящий муж. Но тогда я не понял и краску приписал смирению (пелена!).

И вот, месяц после того, в пятом часу, в апреле, в яркий солнечный день я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она, в нашей комнате, за своим столом, за работой, тихо-тихо… запела. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти никогда не слыхал ее поющую, разве в самые первые дни, когда ввел ее в дом и когда еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка была такая слабенькая – о, не то чтобы заунывная (это был какой-то романс), но как

будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела вполголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался, – такой бедненький голосок, так он оборвался жалко; она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запела…

Моим волненьям засмеются, но никогда никто не поймет, почему я взволновался! Нет, мне еще не было ее жаль, а это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере в первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное: «Поет, и при мне! *Забыла она про меня, что ли?*»

Весь потрясенный, я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто.

– Она поет? – сказал я Лукерье невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать; впрочем, я был действительно непонятен.

– Это она в первый раз поет?

– Нет; без вас иногда поет, – ответила Лукерья.

Я помню все. Я сошел лестницу, вышел на улицу и пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к Полицейскому мосту, не знаю зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему двугривенный:

– Это за то, что тебя потревожил, – сказал я, бессмыслен-

но смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг.

Я поворотил домой, учащая шаг. Надтреснутая, бедненькая, порвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало. Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня позабыла, – вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх.

О ирония судьбы! Ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе, всю зиму, кроме этого же восторга, но я сам-то где был всю зиму? был ли я-то при моей душе? Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошел. Помню только, что весь пол как бы волновался и я как бы плыл по реке. Я вошел в комнату, она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Бегло и нелюбопытно глянула было на меня, но не взгляд это был, а так только жест, обычный и равнодушный, когда в комнату входит кто-нибудь.

Я прямо подошел и сел подле на стул, вплоть, как помешанный. Она быстро на меня посмотрела, как бы испугавшись: я взял ее за руку и не помню, что сказал ей, то есть хотел сказать, потому что я даже и не мог говорить правильно. Голос мой срывался и не слушался. Да я и не знал, что сказать, а только задыхался.

– Поговорим… знаешь… скажи что-нибудь! – вдруг пролепетал я что-то глупое – о, до ума ли было? Она опять вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое

лицо, но вдруг – *строгое удивление* выразилось в глазах ее. Да, удивление, и *строгое*. Она смотрела на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивление разом так и размозжили меня: «Так тебе еще любви? любви?» – как будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала. Но я все прочел, все. Все во мне сотряслось, и я так и рухнул к ногам ее. Да, я свалился ей в ноги. Она быстро вскочила, но я с чрезвычайною силою удержал ее за обе руки.

И я понимал вполне мое отчаяние, о, понимал! Но верите ли, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния! Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. Испуг и удивление сменились в ней вдруг какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайным вопросом, и она странно смотрела на меня, дико даже, она хотела что-то поскорее понять, и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда (знаете это, когда смеются от стыда). Наступала истерика, я это видел, руки ее вздрагивали, – я об этом не думал и все бормотал ей, что я ее люблю, что не встану, «дай мне целовать твое платье… так всю жизнь на тебя молиться…» Не знаю, не помню, – и вдруг она зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее.

Я перенес ее на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она с страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться: «Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!» – и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я все ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море, теперь, сейчас, через две недели, что у ней такой надтреснутый голосок, я слышал давеча; что я закрою кассу, продам Добронравову; что начнется все новое, а главное, в Булонь, в Булонь! Она слушала и все боялась. Все больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в том, что мне все более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и – «больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, – повторял я поминутно, – не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку…» Она плакала.

– *А я думала, что вы меня оставите так,* – вдруг вырвалось у ней невольно, так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала, а между тем – о, это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер, и как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу! Все оно объяснило мне, все, но пока она была подле, перед моими глазами, я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил ее в тот вечер, и понимал это, но беспрерывно думал, что все сейчас пере-

делаю! Наконец, к ночи, она совсем обессилела, я уговорил ее заснуть, и она заснула тотчас, крепко. Я ждал бреда, бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее. Я ломал руки над ней, смотря на это больное существо на этой бедной коечке, железной кроватке, которую я ей купил тогда за три рубля. Я становился на колени, но не смел целовать ее ног у спящей (без ее-то воли!). Я становился молиться Богу, но вскакивал опять. Лукерья присматривалась ко мне и все выходила из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она ложилась и что завтра начнется «совсем другое».

И я в это слепо, безумно, ужасно верил. О, восторг, восторг заливал меня! Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену, и долго, долго не возвращался, – о, до сегодня, до самого сегодня!! Да и как, как он мог тогда возвратиться: ведь она тогда была еще жива, ведь она была тут же передо мной, а я перед ней: «Она завтра проснется, и я ей все это скажу, и она все увидит». Вот мое тогдашнее рассуждение, просто и ясно, потому и восторг! Главное, тут эта поездка в Булонь. Я почему-то все думал, что Булонь – это все, что в Булони что-то заключается окончательное. «В Булонь, в Булонь!..» Я с безумием ждал утра.

III
Слишком понимаю

А ведь это было всего только несколько дней назад, пять дней, всего только пять дней, в прошлый вторник! Нет, нет, еще бы только немного времени, только бы капельку подождала и – и я бы развеял мрак! Да разве она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже с улыбкою, несмотря на замешательство… Главное, все это время, все пять дней, в ней было замешательство или стыд. Боялась тоже, очень боялась. Я не спорю, я не буду противоречить, подобно безумному: страх был, но ведь как же было ей не бояться? Ведь мы так давно стали друг другу чужды, так отучились один от другого, и вдруг все это… Но я не смотрел на ее страх, сияло новое!.. Правда, несомненная правда, что я сделал ошибку. И даже было, может быть, много ошибок. Я, и как проснулись на другой день, еще с утра (это в среду было), тотчас вдруг сделал ошибку: я вдруг сделал ее моим другом. Я поспешил, слишком, слишком, но исповедь была нужна, необходима – куда, более чем исповедь! Я не скрыл даже того, что и от себя всю жизнь скрывал. Я прямо высказал, что целую зиму только и делал, что уверен был в ее любви. Я ей разъяснил, что касса ссуд была лишь падением моей воли и ума, личная идея самобичевания и самовосхваления. Я ей объяснил, что я тогда в буфете действительно струсил,

от моего характера, от мнительности: поразила обстановка, буфет поразил; поразило то: как это я вдруг выйду, и не выйдет ли глупо? Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо… А потом уж не хотел сознаться и мучил всех, и ее за то мучил, и на ней затем женился, чтобы ее за то мучить. Вообще я говорил большею частью как в горячке. Она сама брала меня за руки и просила перестать: «Вы преувеличиваете… вы себя мучаете», – и опять начинались слезы, опять чуть не припадки! Она все просила, чтобы я ничего этого не говорил и не вспоминал.

Я не смотрел на просьбы или мало смотрел: весна, Булонь! Там солнце, там новое наше солнце, я только это и говорил! Я запер кассу, дела передал Добронравову. Я предложил ей вдруг раздать все бедным, кроме основных трех тысяч, полученных от крестной матери, на которые и съездили бы в Булонь, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Так и положили, потому что она ничего не сказала… она только улыбнулась. И, кажется, более из деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видел ведь, что я ей в тягость, не думайте, что я был так глуп и такой эгоист, что этого не видел. Я все видел, все до последней черты, видел и знал лучше всех; все мое отчаяние стояло на виду!

Я ей все про меня и про нее рассказывал. И про Лукерью. Я говорил, что я плакал… О, я ведь и переменял разговор, я тоже старался отнюдь не напоминать про некоторые вещи. И даже ведь она оживилась, раз или два, ведь я помню, пом-

ню! Зачем вы говорите, что я смотрел и ничего не видел? И если бы только это не случилось, то все бы воскресло. Ведь рассказывала же она мне еще третьего дня, когда разговор зашел о чтении и о том, что она в эту зиму прочитала – ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену Жиль-Блаза с архиепископом Гренадским. И каким детским смехом, милым, точно как прежде в невестах (миг! миг!); как я был рад! Меня это ужасно поразило, впрочем, про архиепископа; ведь нашла же она, стало быть, столько спокойствия духа и счастья, чтобы смеяться шедевру, когда сидела зимой. Стало быть, уже вполне начала успокоиваться, вполне начала уже верить, что я оставлю ее так. «Я думала, что вы меня оставите так», – вот ведь что она произнесла тогда во вторник! О, десятилетней девочки мысль! И ведь верила, верила, что и в самом деле все останется так: она за своим столом, а я за своим, и так мы оба, до шестидесяти лет. И вдруг – я тут подхожу, муж, и мужу надо любви! О недоразумение, о слепота моя!

Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом; надо было скрепиться, а то восторг пугал. Но ведь и скрепился же я, я не целовал уже более ее ног. Я ни разу не показал виду, что… ну, что я муж, – о, и в уме моем этого не было, я только молился! Но ведь нельзя же было совсем молчать, ведь нельзя же было не говорить вовсе! Я ей вдруг высказал, что наслаждаюсь ее разговором и что считаю ее несравненно, несравненно образованнее и развитее меня. Она очень

покраснела и конфузясь сказала, что я преувеличиваю. Тут я, сдуру-то, не сдержавшись, рассказал, в каком я был восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединок, поединок невинности с той тварью, и как наслаждался ее умом, блеском остроумия и при таком детском простодушии. Она как бы вся вздрогнула, пролепетала было опять, что я преувеличиваю, но вдруг все лицо ее омрачилось, она закрылась руками и зарыдала… Тут уж и я не выдержал: опять упал перед нею, опять стал целовать ее ноги, и опять кончилось припадком, так же как во вторник. Это было вчера вечером, а наутро…

Наутро?! Безумец, да ведь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча!

Слушайте и вникните: ведь когда мы сошлись давеча у самовара (это после вчерашнего-то припадка), то она даже сама поразила меня своим спокойствием, вот ведь что было! А я-то всю ночь трепетал от страху за вчерашнее. Но вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и, сложив руки (давеча, давеча!), начала говорить мне, что она – преступница, что она это знает, что преступление ее мучило всю зиму, мучает и теперь… что она слишком ценит мое великодушие… «я буду вашей верной женой, я вас буду уважать…» Тут я вскочил и как безумный обнял ее! Я целовал ее, целовал ее лицо, в губы, как муж, в первый раз после долгой разлуки. И зачем только я давеча ушел, всего только на два часа… наши заграничные паспорты… О боже! Только

бы пять минут, пять минут раньше воротиться?.. А тут эта толпа в наших воротах, эти взгляды на меня… о господи!

Лукерья говорит (о, я теперь Лукерью ни за что не отпущу, она все знает, она всю зиму была, она мне все рассказывать будет), она говорит, что когда я вышел из дому, и всего-то минут за двадцать каких-нибудь до моего прихода, – она вдруг вошла к барыне в нашу комнату что-то спросить, не помню, и увидала, что образ ее (тот самый образ Богородицы) у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. «Что вы, барыня?» – «Ничего. Лукерья, ступай… Постой, Лукерья», – подошла к ней и поцеловала ее. «Счастливы вы, говорю, барыня?» – «Да, Лукерья». – «Давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти прощения попросить… Слава богу, что вы помирились». – «Хорошо, говорит, Лукерья, уйди, Лукерья», – и улыбнулась этак, да странно так. Так странно, что Лукерья вдруг через десять минут воротилась посмотреть на нее: «Стоит она у стены, у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижала голову, стоит этак и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что и не слыхала, как я стою и смотрю на нее из той комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрела я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдруг слышу, отворили окошко. Я тотчас пошла сказать, что «свежо, барыня, не простудились бы вы», и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворенном ок-

не, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: «Барыня, барыня!» Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и бросилась из окошка!»

Я только помню, что, когда я в ворота вошел, она была еще теплая. Главное, они все глядят на меня. Сначала кричали, а тут вдруг замолчали и все передо мной расступаются и… и она лежит с образом. Я помню, как во мраке, что я подошел молча и долго глядел, и все обступили и что-то говорят мне. Лукерья тут была, а я не видал. Говорит, что говорила со мной. Помню только того мещанина: он все кричал мне, что «с горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку!», и указывал мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, тронул кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец (это помню), а он мне все: «С горстку, с горстку!»

– Да что такое с горстку? – завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него…

О, дико, дико! Недоразумение! Неправдоподобие! Невозможность!

IV
Всего только пять минут опоздал

А разве нет? Разве это правдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Для чего, зачем умерла эта женщина?

О, поверьте, понимаю; но для чего она умерла – все-таки вопрос. Испугалась любви моей, спросила себя серьезно: принять или не принять, и не вынесла вопроса, и лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать: обещаний слишком много надавала, испугалась, что сдержать нельзя, – ясно. Тут есть несколько обстоятельств совершенно ужасных.

Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит, у меня в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только *так*, если б ей захотелось, чтоб осталось *так*. Она тому не поверила, вот что! Нет – нет, я вру, вовсе не это. Просто потому, что со мной надо было честно; любить, так всецело любить, а не так, как любила бы купца. А так как она была слишком целомудренна, слишком чиста, чтоб согласиться на такую любовь, какой надо купцу, то и не захотела меня обманывать. Не захотела обманывать полулюбовью под видом любви, или четверть-любовью. Честны уж очень, вот что-с! Широкость сердца-то хотел тогда привить, помните? Странная мысль.

Ужасно любопытно: уважала ли она меня? Я не знаю, презирала ли она меня, или нет? Не думаю, чтоб презирала. Странно ужасно: почему мне ни разу не пришло в голову, во всю зиму, что она меня презирает? Я в высшей степени был уверен в противном до самой той минуты, когда она поглядела на меня тогда с *строгим удивлением*. С строгим, именно. Тут-то я сразу и понял, что она презирает меня. Понял безвозвратно, навеки! Ах, пусть, пусть презирала бы, хоть

всю жизнь, но – пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка! И как бы мог я предположить даже за пять минут? Я позвал Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу, ни за что!

О, нам еще можно было сговориться. Мы только страшно отвыкли в зиму друг от друга, но разве нельзя было опять приучиться? Почему, почему мы бы не могли сойтиться и начать опять новую жизнь? Я великодушен, она тоже – вот и точка соединения! Еще бы несколько слов, два дня, не больше, и она бы все поняла.

Главное, обидно то, что все это случай – простой, варварский, косный случай. Вот обида! Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал! Приди я за пять минут – и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову. И кончилось бы тем, что она бы все поняла. А теперь опять пустые комнаты, опять я один. Вон маятник стучит, ему дела нет, ему ничего не жаль. Нет никого – вот беда!

Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте: вам смешно, что я жалуюсь на случай и на пять минут? Но ведь тут очевидность. Рассудите одно: она даже записки не оставила, что вот, дескать, «не вините никого в моей смерти», как все оставляют. Неужто она не могла рассудить, что могут потревожить даже Лукерью: «одна, дескать, с ней была, так ты и толкнула ее». По крайней мере, затаскали бы без вины, если бы только на дворе четверо человек не видали из око-

шек из флигеля и со двора, как стояла с образом в руках и сама кинулась. Но ведь и это случай, что люди стояли и видели. Нет, все это – мгновение, одно лишь безотчетное мгновение. Внезапность и фантазия! Что ж такое, что перед образом молилась? Это не значит, что перед смертью. Все мгновение продолжалось, может быть, всего только каких-нибудь десять минут, все решение – именно когда у стены стояла, прислонившись головой к руке, и улыбалась. Влетела в голову мысль, закружилась. И – и не могла устоять перед нею.

Тут явное недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить. А что если малокровие? Просто от малокровия, от истощения жизненной энергии? Устала она в зиму, вот что…

Опоздал!!!

Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала – ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта «горстка крови». Десертная ложка то есть. Внутреннее сотрясение. Странная мысль: если бы можно было не хоронить? Потому что если ее унесут, то… о нет, унести почти невозможно! О, я ведь знаю, что ее должны унести, я не безумный и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, – но как же так опять никого в доме, опять две комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред, вот где бред! Измучил я ее – вот что!

Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в

ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет: «Молчите, офицер!» А я закричу ему: «Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь». О, мне все равно!

Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя! Ну, ты бы меня не любила, – и пусть, ну что же? Все и было бы *так*, все бы и оставалось *так*. Рассказывала бы только мне, как другу, – вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если б и другого полюбила – ну и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы… О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой! О, в одном бы взгляде все поняла!

Косность! О, природа! Люди на земле одни – вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» – кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и – посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание – вот земля! «Люди, любите друг друга» – кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее… Нет, серьезно, ко-

гда ее завтра унесут, что ж я буду?

Мужик Марей

Но все эти professions de foi[25], я думаю, очень скучно читать, а потому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот; так, одно лишь далекое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь девять лет от роду… но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду.

Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «теплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали крепкого острожного тына, но считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, – всё это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В

[25] Исповедания веры (*фр.*).

эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: «Je hais ces brigands!»[26] – проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я приметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, «но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек». Я пробрался на свое место, против окна с железной решеткой, и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось неспокойно, а в ушах звучали слова М-цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет

[26] «Ненавижу этих разбойников!» (*фр.*)

снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге; «Записки же из Мертвого дома» написал пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал беспрерывно всё мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, – мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать

деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в *Лоск* – так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и всё равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их сбираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя,

но его все звали Мареем, – мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

– Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

– Где волк?

– Закричал… Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»… – пролепетал я.

– Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть! – бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

– Ишь ведь испужался, ай-ай! – качал он головой. – Полно, родный. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

– Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. – Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

– Ишь ведь, ай, – улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, – господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит» – померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюсинации прошли.)

– Ну, я пойду, – сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

– Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, всё так же матерински мне улыбаясь, – ну, Христос с тобой, ну ступай, – и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, всё стоял с своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, всё еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марею; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он всё точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

– Ну-ну! – послышался опять отдаленный окрик его, и ко-

быленка потянула опять свою соху.

Всё это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительною точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марея, никому не рассказал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что

ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?

И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз и М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!». Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего!

Мальчик у Христа на елке

I
Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике

под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

> …и в рот мне водку скверную
> Безжалостно вливал…

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет,

ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однакоже, всё факты.

II
Мальчик у Христа на елке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать.

Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво

пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и лю-

ди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и суну-

ла ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от

страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, – но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых

там нет своей елки… – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Сон смешного человека

I

Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной – и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, – не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут.

А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете, и что же – чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось

во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому, что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно – это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде *все равно*. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне *все равно* было бы, существовал ли бы мир, или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что *ничего при мне не было*. Сначала мне все казалось, что зато

было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей, и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало *все равно*, и вопросы все удалились.

И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не

обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека и просто потому, что мне было все равно. Они и увидели, что мне все равно, и им стало весело.

Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике; но мне было до того все равно, что захотелось, наконец, улучить минуту, когда будет не так все равно, для чего так – не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет *непременно* уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль – не знаю.

И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за

локоть эта девочка. Улица уже была пуста и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки, и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но както отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!..», но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видимо, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердач-

ное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости – человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страху какой-то припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, – мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, – до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета, и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю

я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом – этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка.

II

Видите ли: хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно, и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже

странной боли, и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за столом, и я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением.

Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас *совершенно* не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет». Верите ли, что потому закричал? я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас, как

призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди – я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне, или на Марсе, и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, – было бы мне *все равно* или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что это будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало тоже все утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно.

Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во все продолжение сна знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает все это? Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, – о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III

Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце, – в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову, и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, – и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я ско-

ро мирюсь с этим и по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору.

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно, – ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, – час, или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее и так далее, всё через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль. «Это рана моя, – подумал я, – это выстрел, там пуля…» А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною:

– Кто бы ты ни был, но если ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое безобразием и нелепостью дальнейшего

бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества!..

Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» – спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», – отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал

глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно не человеческого, но которое есть, существует: «А, стало быть, есть и за гробом жизнь!» – подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо *быть* снова, – подумал я, – и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» – «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», – сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня и что путь наш имеет цель неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть *наше* солнце, породившее

нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

– Но если это – солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, – вскричал я, – то где же земля? – И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

– И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша… совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. – вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

– Увидишь все, – ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу

любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..»

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного, как рай, дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле греческий Архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому Архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в

воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, – о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не осквернённая грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы всё уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смот-

рели они и на всю природу – на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и

рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того *жестокого* сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям, как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хотя и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но видимо были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с

радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез… Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали

меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то я и не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил, проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было – боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом

подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я… развратил их всех!

V

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться – не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и

познали красоту лжи. О, это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность – жестокость… О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав

его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И, однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? – то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно, знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтоб те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведни-

ки, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят, наконец, человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось – к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание – есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и

когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один; что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут… ну вот тут я и проснулся.

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и крутом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, на-

пример, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, – вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, – но я в один миг оттолкнул его от себя. О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь и – проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и уж, конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, – что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того – люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так – не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить

на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, – не то что изобрел умом, а видел, видел, и *живой образ* ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть, вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка – вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я *лгу*, и охранила меня и направила. Но как устроить рай – я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюсинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!) – ну? а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, *в один бы час* – все бы сразу устроилось! Главное – люби других как себя, вот что

главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только – старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья» – вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится.

А ту маленькую девочку я отыскал… И пойду! И пойду!

Домовой

… – Д а как же, Астафий Иванович, ты, такой храбрый человек, домового видел?.. Что ж это, брат, за история?

– То есть видеть-то, по правде, не видал, сударь, – заметил Астафий Иванович, поставив свой стакан на стол и утерев платком пот с лица. – Глаз человеческий его никогда не увидит, как старые бабы да кучера-мошенники говорят; а слышать слышал его. Проказил, сударь, и он надо мной.

– Да что ты, не смеешься, Астафий Иванович; после твоего уж и я, пожалуй, начну домовым верить.

– Какой тут смех, сударь, – отвечал улыбнувшись Астафий Иванович. – А впрочем, история была совсем не смешливая. Это было, сударь, лет тому десять, а может и боле, назад. Я еще был молоденек. Случись, сударь, мне на одном месте заболеть. Я тогда на фабрике жил, экономским помощником. Ну, и вышел в больницу. Лежал я там месяца три; да наскучило. Как стал мало-мальски оправляться, прикинулся совсем здоровым, лекаря обманул и выписался. Сунулся было на фабрику; а фабрика-то и сгори без меня; только черные стены нашел; да и фабрикант в Москву на целый год выехал. Ну, места нет. Сосчитался с деньжонками – вижу, с бережью еще на три месяца хватит. Да руки есть, думаю; начну-ка платье на господ чиновников строить. Да не расчелся я

хорошо. Время-то[27] было на ту пору раннее, весеннее, холодное. Ветры дули такие, – ну, известно, Петербург! А я вдобавок совсем еще нездоров, еле на ногах стою. Думаю: угораздит еще меня как-нибудь простудиться; вот одолжусь-то! Хорошо еще, что одежа была знатная, теплая. Бараний тулуп славный был; это Эмиль Вильмович, братец хозяйской, когда еще из Саратова приезжали, мне подарили. Наконец отыскал квартиренку, в Коломне нашел. Смотрю: указывает дворник в деревянной избушке, в светелке, наверху, угол, говорит, отдается. Э, говорю, да тут и приют нашинскому человеку, особенно как в кармане[28] дыра завелась. Вхожу: квартира вся из одной комнаты, и живут в ней хозяева, муж да жена, да детей человек пять небось, – всё мал мала меньше. Мне-то за перегородкой пришлось. Начал толковать с хозяином да вижу: чудной такой, словно не понимает меня. Я к хозяйке: и та тоже женщина[29] совсем простая, невинная; так на вид лет тридцати пяти будет. Сдала мне угол, т. е. всё[30], что было комнаты за перегородкой, и лежанка[31] тут, и за всё за это два с полтиной в месяц пришлось. Знатно, думаю, и переехал.

Весь-то следующий день я на лежанке лежал, совсем разломало, и уж бредить начал, и как будто впросонках слышу,

---

[27] Далее было начато*: сударь(ь) – Здесь и далее примеч. ред.*

[28] Далее было начато*: ну(сто).*

[29] Далее было начато*: проста(я).*

[30] Было*: всю.*

[31] Было*: печка.*

что в хозяйской комнате делается. А доселева я и разглядеть моих хозяев не успел хорошенько[32]. И узнал в тот день спросонья, что дети больны, что дворник за квартиру деньги спрашивать приходил да что есть какой-то Клим Федорыч, благодетельный человек. На второе утро вышел я дельце справить одно. Ан тот Федорович[33], княжеский камардин, место обещались найти;[34] приказал побывать к себе справиться. Уж я, сударь, шел назад по Сенной, как вдруг, вижу, человек подле меня бежит, увязался за мной. И такой странный человек: длинный сам такой, нескладный, сухой и, несмотря на дождь и время холодное, в одном фраке идет и со мной всё говорит, да такое нескладное, что я и понять не могу. Спрашиваю, чего тебе, добрый человек? Смотрю ему в лицо, да ба! что-то знакомое и недавнушко видел. Глаза у него красные, заплывшие, пухлые, наветрило в них, губа нижняя толстая, отвислая – такой глупый вид!.. Ах, думаю, вспомнил, да ведь это хозяин мой новый, вот не узнал. Начал я его допрашивать – ну, ничего не понимаю; догадался только, что он в Медицинскую академию, что ли, куда-то ходил, что глаза у него разболелись, что шинель он с плеч среди бела дня потерял да что Клим Федорович бумагу дать изволили. Смотрю, наконец: совсем шатается, идти не может, бедный человек; а увязался за мной затем, что меня признал.

---

[32] Вместо*: не успел хорошенько – было: хорошенько не мог.*

[33] Было*: Прохор Степанович.*

[34] Далее было*: справиться*

Довел я его; жена так и ахнула. Уж он больной совсем, обессилен и говорить здраво не может, одурел совсем. Положили мы его под образа. Он всё стонет да кричит про Клим Федорыча.

И узнал я, сударь, потом от хозяйки всю их историю. Жили они до тех пор в Обломове-городе, губернском. Он-то в писцах, что ли, был каких, – растолковать мне она не умела хорошо. Только узнал, что до четырнадцатого дослужился и пошел по своим делам. Честный человек и способный, да глупый, и она тоже, на него глядя, глупая; детей у них куча – а не удается ничего, хоть ты тресни поди. То есть вот как, сударь: поступил он на контору какую-то. А с конторы-то и пропади две тысячи рублев. Начали его таскать, да вор отыскался; отпустили. Только, говорят, такого конторщика,[35] что воровству попускает быть, не нужно. Он сударь, мыкался-мыкался, на другую контору поступил, и трех недель не прошло – хозяина-купца под суд взяли. Ну, и контора разрушилась. Он к другим: его гонят. Вы-де с хозяином, верно, вместе мошенничали. А злы все были на того купца: всех утеснял, благо, богат слишком был. Он туды да сюды – и взяли его в деревню, в приказчики, – малолетних каких-то наследство. Да в первый год половина вотчины[36] и погори. Ну, говорят, не надо тебя, коль такому[37] быть попустил. Ну,

---

[35] Далее было*: нам*

[36] Было*: деревни*

[37] Было*: тому*

что делать человеку; он было на службу опять; а там начальство переменилось, на прежнее ревизор донес; стали всё новые люди. Нет, говорят, знать, и ты человек подозрительный, да и мест таких нету, куда тебя посадить. Ну, погибать совсем приходится; только…

Столетняя

«В это утро я слишком запоздала, – рассказывала мне на днях одна дама, – и вышла из дому почти уже в полдень, а у меня, как нарочно, скопилось много дела. Как раз в Николаевской улице надо было зайти в два места, одно от другого недалеко. Во-первых, в контору, и у самых ворот дома встречаю эту самую старушку, и такая она мне показалась старенькая, согнутая, с палочкой, только все же я не угадала ее лет; дошла она до ворот и тут в уголку у ворот присела на дворницкую скамеечку отдохнуть. Впрочем, я прошла мимо, а она мне только так мелькнула.

Минут через десять я из конторы выхожу, а тут через два дома магазин, и в нем у меня еще с прошлой недели заказаны для Сони ботинки, я и пошла их захватить кстати, только смотрю, а та старушка теперь уж у этого дома сидит, и опять на скамеечке у ворот, сидит, да на меня и смотрит; я на нее улыбнулась, зашла, взяла ботинки. Ну, пока минуты три-четыре прошло – пошла дальше к Невскому, ан смотрю – моя старушка уже у третьего дома, тоже у ворот, только не на скамеечке, а на выступе приютилась, а скамейки в этих воротах не было. Я вдруг перед ней остановилась невольно: что это, думаю, она у всякого дома садится?

– Устала, – говорю, – старушка?

– Устаю, родненькая, всё устаю. Думаю: тепло, солнышко

светит, дай пойду к внучкам пообедать.

– Это ты, бабушка, пообедать идешь?

– Пообедать, милая, пообедать.

– Да ты этак не дойдешь.

– Нет, дойду, вот пройду сколь и отдохну, а там опять встану да пойду.

Смотрю я на нее, и ужасно мне стало любопытно. Старушка маленькая, чистенькая, одежда ветхая, должно быть из мещанства, с палочкой, лицо бледное, желтое, к костям присохшее, губы бесцветные, – мумия какая-то, а сидит – улыбается, солнышко прямо на нее светит.

– Ты, должно быть, бабушка, очень стара, – спрашиваю я, шутя разумеется.

– Сто четыре года, милая, сто четыре мне годика, *только всего* (это она пошутила)… А ты-то сама куда идешь?

И глядит на меня – смеется, обрадовалась она, что ли, поговорить с кем, только странною мне показалась у столетней такая забота – куда я иду, точно ей это так уж надо.

– Да вот, бабушка, – смеюсь и я, – ботиночки девочке моей в магазине взяла, домой несу.

– Ишь махонькие, башмачки-то, маленькая девочка-то у тебя? Это хорошо у тебя. И другие детки есть?

И опять всё смеется, глядит. Глаза тусклые, почти мертвые, а как будто луч какой-то из них светит теплый.

– Бабушка, хочешь, возьми у меня пятачок, купи себе булочку, – и подаю я ей этот пятачок.

– Чтой-то ты мне пятачок? Что ж, спасибо, я и возьму твой пятачок.

– Так на, бабушка, не взыщи. – Она взяла. Видно, что не просит, не доведена до того, но взяла она у меня так хорошо, совсем не как милостыню, а так, как будто из вежливости или из доброты своего сердца. А впрочем, может, ей и очень понравилось это, потому что кто же с ней, с старушкой, заговорит, а тут еще с ней не только говорят, да еще об ней с любовью заботятся.

– Ну, прощай, – говорю, – бабушка. Дойди на здоровье.

– Дойду, родненькая, дойду. Я дойду. А ты к своей внучке ступай, – сбилась старушка, забыв, что у меня дочка, а не внучка, думала, видно, что уж и у всех внучки. Пошла я и оглянулась на нее в последний раз, вижу, она поднялась, медленно, с трудом, стукнула палочкой и поплелась по улице. Может, еще раз десять отдохнет дорогой, пока дойдет к своим «пообедать». И куда это она ходит обедать? Странная такая старушка».

Выслушал я в то же утро этот рассказ, – да, правда, и не рассказ, а так, какое-то впечатление при встрече с столетней (в самом деле, когда встретишь столетнюю, да еще такую полную душевной жизни?), – и позабыл об нем совсем, и уже поздно ночью, прочтя одну статью в журнале и отложив журнал, вдруг вспомнил про эту старушку и почему-то мигом дорисовал себе продолжение о том, как она дошла к своим пообедать: вышла другая, может быть, очень правдо-

подобная маленькая картинка.

Внучки ее, а может, и правнучки, да уж так зовет их она заодно внучками, вероятно, какие-нибудь цеховые, семейные, разумеется, люди, не то она не ходила бы к ним обедать, живут в подвале, а может, и цирюльню какую-нибудь снимают, люди, конечно, бедные, но все же, может, питаются и наблюдают порядок. Добрела она к ним, вероятно, уже часу во втором. Ее и не ждали, но встретили, может быть, довольно приветливо.

– А вот и она, Марья Максимовна, входи, входи, милости просим, раба Божия!

Старушка входит, посмеиваясь, колокольчик у входа еще долго, резко и тонко звенит. Внучка-то ее, должно быть, жена этого цирюльника, а сам он еще человек нестарый, лет этак тридцати пяти, по ремеслу своему степенен, хотя ремесло и легкомысленное, и, уж разумеется, в засаленном, как блин, сюртуке, от помады, что ль, не знаю, но иначе я никогда не видал «цирюльников», равно как воротник на сюртуке всегда у них точно в муке вывалян. Трое маленьких деточек – мальчик и две девочки – мигом подбежали к прабабушке. Обыкновенно такие уж слишком старенькие старушки всегда как-то очень сходятся с детьми: сами-то уж очень они похожи на детей становятся душевно, иногда даже точь-в-точь. Села старушка; у хозяина не то гость, не то по делу, один тоже, лет сорока, знакомый его, уже уходить собирался. Да племянник к тому же гостит, сын сестры его, парень

лет семнадцати, в типографию хочет определиться. Старушка перекрестилась и садится, глядит на гостя:

– Ох, устала! Это кто же такой у вас?

– Это я-то? – отвечает гость, посмеиваясь, – что ж, Марья Максимовна, неужто нас не признали? Третьего-то года по опенки в лес всё собирались вместе с вами сходить.

– Ох, уж ты, знаю тебя, надсмешник. Помню тебя, вот только назвать как тебя не припомню, кто ты таков, а помню. Ох, устала я чтой-то.

– Да что ж вы, Марья Максимовна, старушка почтенная, не растете нимало, вот что я тебя спросить хотел, – шутит гость.

– И, ну тебя, – смеется бабушка, видимо, впрочем, довольная.

– Я, Марья Максимовна, человек добрый.

– А с добрым и поговорить любопытно. Ох, всё-то я задыхаюсь, мать. Пальтецо-то Сереженьке видно уж состроили?

Она указывает на племянника.

Племянник, бутузоватый и здоровый паренек, улыбается во весь рот и надвигается ближе; на нем новенькое серое пальтецо, и он еще не может равнодушно надевать его. Равнодушие придет разве только еще через неделю, а теперь он поминутно смотрит себе на обшлага, на лацканы и вообще на всего себя в зеркало и чувствует к себе особенное уважение.

– Да ты поди, повернись, – стрекочет жена цирюльника. – Смотри-ка, Максимовна, какое построили; ведь шесть руб-

лей как одна копеечка, дешевле, говорят нам у Прохорыча, теперь и начинать не стоит, сами, говорят, потом слезьми заплачете, а уж эдакому износу нет. Вишь материя-то! Да ты повернись! Подкладка-то какая, крепость-то, крепость-то, да ты повернись! Так-то вот и уходят денежки, Максимовна, умылась наша копеечка.

– Ах, мать, уж так теперь дорого стало на свете, что и ни с чем не совместно, лучше б и не говорила ты мне и не расстроивала меня, – с чувством замечает Максимовна, а всё еще дух не может перевести.

– Ну, да и довольно, – замечает хозяин, – закусить бы надо. Что это ты, должно быть, уж очень, вижу я это, пристала, Марья Максимовна?

– Ох, умник, устала, денек-то теплый, солнышко; дай, думаю, их проведаю… что лежать-то. Ох! А дорогой барыньку встретила, молодую, башмачки деткам купила: «Что это ты, старушка, говорит, устала? на-ка тебе пятачок: купи себе булочку…» А я, знаешь, и взяла пятачок-то…

– Да ты, бабушка, всё же отдохни маленечко сперва-наперво, что это сегодня так задыхаешься? – как-то вдруг особенно заботливо проговорил хозяин.

Все на нее смотрят; уж очень бледна она вдруг стала, губы совсем побелели. Она тоже всех оглядывает, но как-то тускло.

– Вот, думаю… пряничков деткам… пятачок-то…

И опять остановилась, опять переводит дух. Все вдруг

примолкли, секунд этак на пять.

– Что, бабушка? – наклонился к ней хозяин.

Но бабушка не ответила; опять молчание, и опять секунд на пять. Старушка еще как бы белее стала, а лицо как бы вдруг всё осунулось. Глаза остановились, улыбка застыла на губах; смотрит прямо, а как будто уж и не видит.

– За попом бы!.. – как-то вдруг и торопливо проговорил сзади вполголоса гость.

– Да… не… поздно ли… – бормочет хозяин.

– Бабушка, а бабушка? – окликает старушку жена цирюльника, вдруг вся всполохнувшись; но бабушка неподвижна, только голова клонится набок; в правой руке, что на столе лежит, держит свой пятачок, а левая так и осталась на плече старшего правнучка Миши, мальчика лет шести. Он стоит не шелохнется и большими удивленными глазами разглядывает прабабушку.

– Отошла! – мерно и важно произносит, восклонившись, хозяин и слегка крестится.

– Ведь вот оно! То-то, я вижу, вся клонится, – умиленно и отрывисто произносит гость; он ужасно поражен и на всех оглядывается.

– Ах, господи! Вот ведь! Как же теперь быть-то, Макарыч? Туда, что ль, ее? – щебечет хозяйка торопливо и вся растерявшись.

– Куда туды? – степенно откликается хозяин, – сами здесь справим; родная ты ей аль нет? А пойтить дать знать надо.

– Сто четыре годика, а! – толчется на месте гость, умиляясь все больше и больше. Он даже весь покраснел как-то.

– Да, забывать стала жисть-то в последние годы, – еще важнее и степеннее замечает хозяин, ища фуражку и снимая шинель.

– А ведь за минуту смеялась, как веселилась! Ишь пятачок-то в руке! Пряничков, говорит, о-ох, жисть-то наша!

– Ну, пойдем, что ли, Петр Степаныч, – прерывает гостя хозяин, и оба выходят. По такой, конечно, не плачут. Сто четыре года, «отошла без болезни и непостыдно». Хозяйка послала к соседкам за подмогой. Те прибежали мигом, почти с удовольствием выслушав весть, охая и вскрикивая. Первым делом поставили, разумеется, самоварчик. Дети с удивленным видом забились в угол и издали смотрят на мертвую бабушку. Миша, сколько ни проживет, всё запомнит старушку, как умерла, забыв руку у него на плече, ну а когда он умрет, никто-то на всей земле не вспомнит и не узнает, что жила-была когда-то такая старушка и прожила сто четыре года, для чего и как – неизвестно. Да и зачем помнить: ведь всё равно. Так отходят миллионы людей: живут незаметно и умирают незаметно. Только разве в самой минуте смерти этих столетних стариков и старух заключается как бы нечто умилительное и тихое, как бы нечто даже важное и миротворное: сто лет как-то странно действуют до сих пор на человека. Благослови Бог жизнь и смерть простых добрых людей!

А впрочем, так, легкая и бессюжетная картинка. Право, наметишь пересказать из слышанного за месяц что-нибудь позанимательнее, а как приступишь, то как раз или нельзя, или нейдет к делу, или «не всё то говори, что знаешь», а в конце концов остаются всё только самые бессюжетные вещи…